

Ю. Б. Гиппенрейтер

Родителям: как быть ребенком

Всем детям, живущим с нами и внутри нас

Предисловие

Эта книга составлена из живых историй — воспоминаний различных людей о своем детстве, в которых авторам удалось мысленно вернуться в то время, снова глубоко пережить его и проникновенно о нем рассказать. Дети, как правило, не могут открыть нам всю сложность своего внутреннего мира. Им не хватает слов, а иногда и веры в наше понимание. И вот эту труднейшую задачу взволнованно-открытого сообщения о себе за всех детей и от имени всех детей талантливо решают авторы воспоминаний!

Читая эти воспоминания, с удивлением узнаешь, как порой далеки от истины наши представления о том, что значит быть ребенком. Они дают возможность побывать в «коже» ребенка, услышать его внутренний голос, увидеть мир его глазами, узнать о его проблемах и радостях.

Цель этой хрестоматии и состоит в том, чтобы помочь нам, взрослым, глубже, лучше, сочувственнее понять детей.

Надеюсь, что такое понимание даст возможность читателям совсем иначе взглянуть на общение с собственным ребенком, увидеть свои промахи и, наоборот, удаchi в его воспитании. Тем более что в текстах воспоминаний мы знакомимся также с образцами поведения некоторых родителей и учителей и имеем возможность заимствовать блестящий опыт этих взрослых.

Эта хрестоматия образует единый ряд с первыми двумя моими книгами для родителей: «Общаться с ребенком. Как?» и «Продолжаем общаться с ребенком. Так?». Она продолжает темы этих книг и общий гуманистический подход к воспитанию ребенка.

В упомянутых книгах мне уже приходилось использовать примеры и жизненные истории, в том числе взятые из мемуарной литературы. Но жанр тех книг не позволял приводить большие выдержки из сочинений других авторов, как бы того мне ни хотелось. Тогда и возникла идея хрестоматии. В ней читатель встретится и с уже знакомыми по моим книгам именами и историями, изложенными, однако, в более широком контексте, и с многими новыми известными и менее известными авторами.

Помимо воспоминаний, в книге есть несколько текстов талантливых ученых и педагогов, в которых они делятся своими размышлениями и практическим опытом на ту же тему: как понять ребенка и как сделать его жизнь более счастливой.

Все тексты даются с сокращениями. Они сопровождаются моими комментариями¹. Комментарии писались с целью помочь читателю осознать психологический смысл многих фактов, подробностей и условий детской жизни.

Особую проблему составила структура хрестоматии. Казалось необходимым выделить несколько общих глав, в которых освещались бы значимые моменты жизни ребенка. Эту задачу помогли решить сами авторы воспоминаний. В их рассказах чаще всего звучат такие темы, как особенное детское восприятие мира, мечты и увлечения, родители и семья, учеба и школа. В результате определились четыре главы книги, названия которых отражают эти темы: «Глазами ребенка» (глава 1); «От увлечения к призванию» (глава 2); «Значимый близкий взрослый» (глава 3); «Занятия, учеба, школа» (глава 4).

У некоторых авторов в воспоминаниях больше звучит какая-нибудь одна из упомянутых тем, у других — две и больше. В результате имя одного и того же автора

¹ выделено цитатами

повторяется в разных главах, но случается несколько тем раскрываются в одном и том же рассказе, делая невозможным разбиение его по разным главам.

Хочется поблагодарить всех друзей и коллег, горячо отозвавшихся на саму идею хрестоматии и на мои просьбы рекомендовать известные им интересные воспоминания о детстве. Искренняя признательность Марии Петровой за иллюстрации, в которых ей удалось успешно решить нелегкую задачу искусной передачи смысла авторских текстов и учета пожеланий составителя.

Особая благодарность моему мужу, Алексею Николаевичу Рудакову, постоянному сочувствующему собеседнику и первому строгому редактору моих текстов.

Профессор Ю. Б. Гиппенрейтер

Глава 1 Мир глазами ребенка

М. В. Осорина Два мира: Этот и Тот
Павел Флоренский Впечатления таинственного
Агата Кристи Волнующий мир детства
Марина Цветаева «Памятник-Пушкина»
Взрослый в мире ребенка, ребенок в мире взрослого

«Глаза ребенка» — это особое видение мира. Дети удивляются вещам и событиям, мимо которых мы проходим не замечая; завораживаются цветами, звуками и словами, в которых мы не находим ничего особенного. У них другие масштабы, другие ценности, другое понимание того, что важно и неважно.

Многие воспоминания детства приоткрывают удивительное своеобразие и богатство внутреннего мира ребенка. Одновременно они показывают, с какой деликатностью взрослым следует обращаться с этим миром. Ведь ребенок живет в нем по-настоящему, всерьез. Через его призму он воспринимает внешний мир, других людей и самого себя. И если мы не всегда понимаем скрытую жизнь ребенка, то, во всяком случае, можем уважать и оберегать ее вместе с ее заветными «тайнами», фантазиями и мечтами.

Эта глава открывается выдержками из книги **М. Осориной** — талантливого исследователя детства. За ними следуют тексты из воспоминаний **П. Флоренского**, **А. Кристи**, **М. Цветаевой** и **Л. Чуковской**. Хотя название «Мир глазами ребенка» можно отнести ко всей книге, здесь отобраны те эпизоды, которые обнаруживают своеобразие и «непохожесть» мироощущения ребенка на наше, взрослое, восприятие. Будем надеяться, что эти талантливые описания помогут нам вспомнить свое детство и глубже понять наших детей.

М. В. Осорина **Два мира: Этот и Тот²**

Мария Владимировна Осорина (род. 6 декабря 1950 г.) — российский психолог, доцент факультета психологии СПбГУ, вице-президент Санкт-Петербургского психологического общества, автор многочисленных оригинальных исследований в области детской субкультуры, детского рисунка и творчества.

Выдержками из ее книги «Секретный мир детей...» мы открываем этот раздел. Материалы книги — результат большого опыта автора — мастера

² Осорина М. В. Секретный мир детей в пространстве мира взрослых. СПб: «Питер», 1999, 2004. «Речь» (с сокращениями).

внимательного наблюдения за детьми и сочувствующего общения с ними. Можно видеть, как много узнает «понимающий» взрослый, вступая в доверительный контакт с ребенком.

Для годовалого важно доползти, дотянуться, дойти до намеченной цели. Двух-трехлетний открывает для себя множество вещей, их названия, возможность использования, их доступность и запретность. Между двумя и пятью годами по нарастающей развивается у ребенка способность образно представлять в уме и фантазировать.

Это качественно новое событие в интеллектуальной жизни ребенка, которое революционно преобразует многие стороны его жизни.

Раньше ребенок был пленником той конкретной ситуации, где он находился. На него воздействовало только то, что он непосредственно видел, слышал, ощущал.

Теперь же он обнаруживает, что получил новую способность *удваивать мир*, представляя воображаемые образы на внутреннем психическом экране. Это дает ему возможность одновременно пребывать в мире *внешне видимом (здесь и сейчас)* и в *воображаемом* мире своих фантазий (*там и тогда*), возникающих по поводу реальных событий и вещей. Удивительным свойством детского мироощущения в этот период (как и несколькими годами позже) оказывается то, что большинство значимых предметов, окружающих ребенка в обыденной жизни, представляются в его фантазиях героями множества событий. Вокруг них разыгрываются драматические ситуации, они становятся участниками странных сериалов, изо дня в день создаваемых ребенком.

Мама даже не подозревает, что, рассматривая суп в тарелке, ребенок видит подводный мир с водорослями и затонувшими кораблями, а проделывая ложкой бороздки в каше, представляет, что это ущелья среди гор, по которым пробираются герои его сюжета.

Иногда поутру родители не знают, кто сидит перед ними в образе их родного дитяти: то ли это их дочка Настя, то ли Лисичка, которая аккуратно раскладывает свой пушистый хвост и требует на завтрак только то, что едят лисы. Чтобы не попасть впросак, бедным взрослым бывает полезно заранее спросить ребенка, с кем они имеют дело сегодня.

Эта новая способность к воображению дает ребенку совершенно новые степени свободы. Она позволяет ему быть чрезвычайно активным и самовластным в удивительном внутреннем мире психики, который начинает у ребенка формироваться. Внутренний психический экран, на котором разворачиваются воображаемые события, в чем-то подобен экрану компьютера. В принципе на нем с легкостью можно вызвать любой образ (было бы умение!), изменить его как хочешь, представить события, которые невозможны в реальности, заставить действие разворачиваться так стремительно, как это не бывает в реальном мире с обычным течением времени. Все эти умения ребенок осваивает постепенно. Но появление такой психической способности имеет огромное значение для его личности. Ведь все эти поразительные возможности, которые ребенок *взхлеб* начинает использовать, дают ощущение собственной силы, дееспособности, хозяйского отношения к воображаемым ситуациям. Это находится в резком контрасте с невысокой до поры до времени способностью ребенка управляться с предметами и событиями реального физического мира, где вещи его мало слушаются.

Кстати, если не развивать контакты ребенка с реальными предметами и людьми, не поощрять его действовать «в миру», он может спастись перед трудностями жизни. В этом сопротивляющемся нам, не всегда подчиняющемся нашим хотениям, требующем умений мире физической реальности человеку важно иногда подавить соблазн нырнуть и спрятаться в иллюзорный мир фантазий, где все легко получается. Психологически особым классом вещей для ребенка являются игрушки. По своей природе они предназначены для того, чтобы воплощать, «опредмечивать» детские фантазии. Вообще, детскому мышлению свойствен *анимизм* — склонность наделять неживые предметы душой, внутренней силой и способностью к самостоятельной потаенной жизни. Именно эту струну детской психики всегда затрагивают самодвижущиеся игрушки: механические курочки, способные клевать,

куклы, закрывающие глаза и говорящие «мама», шагающие медвежата и т. п. У зачарованного ребенка (а иногда — и взрослого) такие игрушки всегда находят отклик, поскольку в душе он внутренне знает, что так и должно быть — они живые, но скрывают это. Днем игрушки покорно исполняют волю своих хозяев, но в некоторые особые моменты, в частности ночью, тайное становится явным. Предоставленные самим себе игрушки начинают жить собственной, полной страстей и желаний деятельной жизнью. Эта волнующая тема, связанная с тайнами бытия предметного мира, настолько значима, что стала одним из традиционных мотивов произведений детской литературы. Ночная жизнь игрушек лежит в основе событий «Щелкунчика» Э.-Т.-А. Гофмана, «Черной курицы» А. Погорельского и многих других книг, а из произведений современных авторов — известного «Путешествия Голубой Стрелы» Дж. Родари. Русский художник Александр Бенуа в своей знаменитой «Азбуке» 1904 года выбрал именно эту тему для иллюстрации к букве «И», где изображено напряженно-таинственное оживление ночного сообщества Игрушек.

Оказывается, что практически всем детям свойственно фантазировать по поводу своего дома и почти у каждого ребенка есть любимые «объекты медитации», сосредоточиваясь на которых он погружается в свои грезы. Ложась спать, кто-то разглядывает пятно на потолке, похожее на голову бородатого дядьки, кто-то — узор на обоях, напоминающий смешных зверюшек, и что-то придумывает о них. Одна девочка рассказывала, что над ее кроватью висела шкура оленя, и каждый вечер, лежа в постели, она гладила своего оленя и сочиняла очередную историю о его приключениях.

Внутри комнаты, квартиры или дома ребенок выделяет для себя любимые места, где он играет, мечтает, куда уединяется. Если плохое настроение — можно спрятаться под вешалку с целой кучей пальто, укрыться там от всего мира и посидеть, как в домике. Или залезть под стол с длинной скатертью и прижаться спиной к теплой батарее.

Можно посмотреть для интереса в маленькое окошечко из коридора старинной квартиры, выходящее на черную лестницу, — что там видно? — и вообразить, а что можно было бы там увидеть, если бы вдруг...

Есть в квартире и пугающие места, которых ребенок старается избегать. Вот, например, маленькая коричневая дверца в нише стены на кухне, взрослые ставят туда, в прохладное место, продукты, но для пятилетнего ребенка это может быть самое страшное место: за дверцей зияет чернота, кажется, что там провал в какой-то другой мир, откуда может прийти что-то ужасное. По собственному почину ребенок не подойдет к такой дверце и ни за что не откроет.

Одна из самых больших проблем детского фантазирования связана с неразвитостью самоосознания у ребенка. Из-за этого он часто не может различить, что является реальностью, а что — его собственными переживаниями и фантазиями, окутавшими этот предмет, склеившимися с ним. Вообще такая проблема есть и у взрослых людей. Но у детей такая слитость реального и фантазийного может быть очень сильной и доставляет ребенку много трудностей.

Дома ребенок может одновременно сосуществовать в двух разных реальностях — в привычном мире окружающих предметов, где распоряжаются и оберегают ребенка взрослые, и в воображаемом собственном мире, наложенном поверх обыденности. Он тоже реален для ребенка, но невидим для других людей. Соответственно, для взрослых он недоступен. Хотя одни и те же предметы могут быть в обоих мирах сразу, имея, однако, там разные сущности. Вот вроде бы просто черное пальто висит, а посмотришь — как будто кто-то страшный.

В *Этом* мире ребенка защитят взрослые, в *Том* — они помочь не могут, так как туда не вхожи. Поэтому если в *Том* мире становится страшно, надо быстрее бежать в *Этом*, да еще и громко кричать: «Мама!». Иногда ребенок сам не знает, в какой момент переменятся декорации и он попадет в воображаемое пространство другого мира — это бывает

неожиданно и мгновенно. Конечно, чаще так случается, когда взрослых нет поблизости, когда они не удерживают ребенка в обыденной реальности своим присутствием, разговором.

Для большинства детей отсутствие родителей дома — трудный момент. Они чувствуют себя оставленными, беззащитными, а привычные комнаты и вещи без взрослых как бы начинают жить своей особой жизнью, становятся другими. Так бывает ночью, в темноте, когда приоткрываются темные, потаенные стороны жизни занавесок и шкафов, одежды на вешалке и странных, неопознаваемых предметов, которых ребенок раньше не замечал.

Если мама ушла в магазин, то некоторым детям даже днем страшно пошевелиться в кресле, пока она не придет. Другие дети особенно боятся портретов и плакатов с изображениями людей. Одна девочка одиннадцати лет рассказывала подругам, как она боится плаката с Майклом Джексонем, висящего на внутренней стороне двери ее комнаты. Если мама уходила из дома, а девочка не успевала выйти из этой комнаты, то ей оставалось только сидеть, сжавшись, на диване до прихода матери. Девочке казалось, что Майкл Джексон сейчас сойдет с плаката и ее задушит. Подруги сочувственно кивали — ее тревога была понятна и близка. Девочка не смела снять плакат или открыться в своих страхах родителям — это они его повесили. Майкл Джексон им очень нравился, а девочка — «большая и не должна бояться».

Ребенок чувствует себя беззащитным, если его, как ему кажется, недостаточно любят, часто порицают и отвергают, оставляют надолго в одиночестве, со случайными или неприятными людьми, бросают одного в квартире, где есть чем-то опасные соседи.

Даже взрослый человек с неизжитыми детскими страхами подобного рода иногда больше боится быть один у себя дома, чем идти в одиночестве по темной улице.

Всякое ослабление родительского защитного поля, которое должно надежно окутывать ребенка, вызывает в нем тревогу и ощущение того, что надвигающаяся опасность легко прорвет тонкую оболочку физического дома и достигнет его. Получается, что для ребенка присутствие любящих родителей кажется более прочным укрытием, чем все двери с замками.

Поскольку тема защищенности дома и страшные фантазии актуальны практически для всех детей определенного возраста, они находят свое отражение в детском фольклоре, в традиционных страшных историях, изустно передающихся от поколения к поколению детей.

В одном из самых распространенных по всей территории России сюжетов рассказывается о том, как некая семья с детьми живет в комнате, где на потолке, стене или на полу есть подозрительное пятно — красное, черное или желтое. Иногда его обнаруживают при переезде на новую квартиру, иногда кто-то из членов семьи его случайно поставит, — например, мама-учительница капнула на пол красными чернилами. Обычно герои страшилки пытаются оттереть или отмыть это пятно, но у них ничего не получается. Ночью, когда все члены семьи засыпают, пятно обнаруживает свою зловещую сущность. В полночь оно начинает медленно расти, становясь большим, как люк. Потом пятно открывается, оттуда высовывается огромная красная, черная или желтая (в соответствии с цветом пятна) рука...

Правда, эти ужасы происходят в страшилках только в том случае, если родители ушли — в кино, в гости, работать в ночную смену или заснули, что равно лишает их детей защиты и открывает доступ злу.

...Для детского сознания существуют и другие места потенциальных прорывов довольно тонкой защитной оболочки дома в пространство другого мира. Как показали наши опросы, чаще всего дети боятся дома стенных шкафов, кладовок, каминов, антресолей, различных дверок в стенах, необычных маленьких окон, картин, пятен и трещин. Устрашают детей и дырки унитаза, а еще больше — дощатые «очки» деревенских уборных.

Итак, для индивидуальных детских страшных фантазий характерен мотив уноса или выпадения ребенка из мира Дома в Иное Пространство через некий магический проем. Этот мотив разнообразно отражен в продуктах коллективного творчества детей — текстах

детского фольклора. Но он также широко встречается и в литературе для детей. Например, как сюжет об уходе ребенка внутрь картины, висящей на стене его комнаты (аналог — внутрь зеркала; вспомним Алису в Зазеркалье). Как известно, у кого что болит, тот о том и говорит. Добавим к этому — и с интересом про это слушает.

Страх провала в другой мир, который метафорически представлен в этих художественных текстах, имеет под собой реальные основания в психологии детей. Мы помним, что это — раннедетская проблема слитости двух миров в восприятии ребенка: мира видимого и спроецированного на него как на экран мира психических событий. Возрастная причина этой проблемы (не рассматриваем патологию) — недостаток психической саморегуляции, несформированность механизмов самоосознания, остранения, по-старинному — трезвения, позволяющих отличить одно от другого и совладать с ситуацией. Поэтому здоровым и несколько приземленным существом, возвращающим ребенка к реальности, обычно является взрослый.

В этом смысле, как литературный пример, для нас будет интересна глава «Тяжелый день» из знаменитой книги англичанки П. Л. Трэверс «Мэри Поппинс».

В тот нехороший день у Джейн — маленькой героини книги — не ладилось абсолютно все. Она так расплевалась со всеми домашними, что родной брат, тоже ставший ее жертвой, посоветовал Джейн уйти из дома, чтобы ее кто-нибудь усыновил. За грехи Джейн была оставлена дома одна. А так как она пылала негодованием против своих домашних, ее легко соблазнили войти в их компанию три мальчика, нарисованные на старинном блюде, висевшем на стене комнаты. Отметим, что уходу Джейн на зеленую лужайку к мальчикам способствовали два важных момента: нежелание Джейн быть в домашнем мире и трещина на середине блюда, образовавшаяся от случайного удара, нанесенного девочкой. То есть треснул ее домашний мир и треснул мир блюда, в результате чего образовалась щель, через которую Джейн попала в другое пространство. Мальчики зазвали Джейн уйти с лужайки через лес в старинный замок, где жил их прадедушка. И чем дальше, тем страшнее ей становилось. Наконец до нее дошло, что ее заманили, обратно не отпустят, да еще и возвращаться некуда, так как там было другое, старинное время. По отношению к нему в мире реальном ее родители еще не родились, а ее Дом Номер Семнадцать в Вишневом переулке еще не был построен.

Джейн закричала что было мочи: «Мэри Поппинс! Помогите! Мэри Поппинс!» И, несмотря на сопротивление жителей блюда, сильные руки, к счастью, оказавшиеся руками Мэри Поппинс, вытащили ее оттуда.

— Ой, это вы! — пролепетала Джейн. — А я думала, вы меня не слышали! Я думала, мне придется там навсегда остаться! Я думала...

— Некоторые люди, — сказала Мэри Поппинс, мягко опуская ее на пол, — думают слишком много. Несомненно. Вытри лицо, пожалуйста.

Она подала Джейн свой носовой платок и начала накрывать к ужину».

Итак, Мэри Поппинс выполнила свою функцию взрослого, вернула девочку в реальность. И вот Джейн уже наслаждается уютом, теплом и покоем, которым веет от знакомых домашних вещей. Пережитый ужас уходит далеко-далеко.

Но книга Трэверс никогда бы не стала любимой многими поколениями детей всего мира, если бы дело кончилось так прозаически. Рассказывая брату вечером историю своего приключения, Джейн опять посмотрела на блюдо и обнаружила там зримые следы того, что и она, и Мэри Поппинс действительно побывали в том мире. На зеленой лужайке блюда остался лежать оброненный Мэри шарф с ее инициалами, а коленка одного из нарисованных мальчиков так и осталась перевязанной носовым платком Джейн. То есть все-таки правда, что сосуществуют два мира — *Тот* и *Этот*. Надо только уметь оттуда возвращаться обратно. Пока детям — героям книги — помогает в этом Мэри Поппинс. Тем более что вместе с ней они часто бывают в очень странных ситуациях, от которых довольно трудно прийти в себя. Но Мэри Поппинс строга и дисциплинированна. Она умеет в один миг показать ребенку, где он находится.

Так как читателю в книге П. Л. Трэверс многократно сообщается о том, что Мэри Поппинс была лучшей в Англии воспитательницей, мы тоже можем воспользоваться ее педагогическим опытом.

Под пребыванием в *Том* мире в контексте книги Трэверс понимается не только мир фантазий, но и излишняя погруженность ребенка в собственные психические состояния, из которых он не может выйти сам, — в эмоции, воспоминания и т. п. Что же нужно сделать, чтобы вернуть ребенка из *Того* мира в ситуацию мира *Этого*?

Излюбленный прием Мэри Поппинс состоял в том, чтобы резко переключить внимание ребенка и зафиксировать его на каком-нибудь конкретном предмете окружающей реальности, заставив что-то быстро и ответственно делать. Чаще всего Мэри обращает внимание ребенка на его собственное телесное «Я». Так она пытается вернуть в тело витающую неизвестно где душу воспитанника: «Причешись, пожалуйста!»; «У тебя опять развязались шнурки!»; «Иди умойся!»; «Посмотри, как лежит твой воротничок!».

Этот грубоватый прием напоминает резкий шлепок массажиста, которым в конце массажа он возвращает к действительности впавшего в транс, размякшего клиента.

Хорошо бы, если бы все было так просто! Если бы можно было вот так одним шлепком или ловким приемом переключения внимания заставить зачарованную душу ребенка не «улетать» неведомо куда, научить его жить реальностью, прилично выглядеть и делать дело. Даже Мэри Поппинс это удавалось на короткий срок. Да и сама она отличалась способностью вовлекать детей в неожиданные и фантастические приключения, которые умела создавать в повседневной жизни. Поэтому с ней было всегда так интересно детям.

Чем сложнее внутренняя жизнь ребенка, чем выше его интеллект, тем многочисленнее и шире миры, которые он открывает для себя как в окружающей среде, так и в своей душе.

Постоянные, любимые детские фантазии, особенно связанные со значимыми для ребенка предметами домашнего мира, могут определить потом всю его жизнь. Повзрослев, такой человек считает, что они были посланы ему в детстве самой судьбой.

Одно из наиболее тонких психологических описаний этой темы, данной в переживании русского мальчика, мы найдем в романе В. В. Набокова «Подвиг».

«Над маленькой узкой кроватью... висела на светлой стене акварельная картина: густой лес и уходящая вглубь витая тропинка. Меж тем в одной из английских книжонок, которые мать читывала с ним... был рассказ именно о такой картине с тропинкой в лесу прямо над кроватью мальчика, который однажды, как был, в ночной рубашке, перебрался из постели в картину, на тропинку, уходящую в лес. Мартына волновала мысль, что мать может заметить сходство между акварелью на стене и картинкой в книжке: по его расчету, она, испугавшись, предотвратила бы ночное путешествие тем, что картину бы убрала, и потому всякий раз, когда он в постели молился перед сном... Мартын молился о том, чтобы она не заметила соблазнительной тропинки как раз над ним. Вспоминая в юности то время, он спрашивал себя, не случилось ли и впрямь так, что с изголовья кровати он однажды прыгнул в картину, и не было ли это началом того счастливого и мучительного путешествия, которым обернулась вся его жизнь. Он как будто помнил холодок земли, зеленые сумерки леса, излучи тропинки, пересеченной там и сям горбатым корнем, мелькание стволов, мимо которых он босиком бежал, и странный темный воздух, полный сказочных возможностей».

Нет сомнений, что многое из рассказанного здесь знакомо почти каждому. Но хочется обратить внимание на некоторые акценты, проставленные М. Осориной. Ценность ее описаний в том, что в них подчеркивается особенная, уникальная функция фантазий ребенка, которые взрослые не замечают, либо в лучшем случае называют просто «игрой». На самом деле воображение ребенка совершает огромную и сложную работу по освоению мира, осознанию себя, овладению своими эмоциями, пониманию других. Это настоящий **душевный труд**, который неизбежно проделывают дети, входя в нормальную жизнь, это и

настоящее душевное творчество, которым особенно наделены дети. Фактически, внутренняя работа воображения происходит в течение всей жизни человека, но у взрослых она «забывается» реальными событиями и заботами. У детей же она имеет большой «удельный вес» и проявляется в своеобразных, не всегда понятных нам формах. Это и «оживленные» любимые игрушки, и воображаемые события, где сам ребенок — герой, и двойная жизнь вещей — настоящая и таинственная, и страшные персонажи. Своеобразие этих образов определяется многими особенностями детской психики — недостатком опыта, незрелостью формального интеллекта, повышенной эмоциональностью. Через фантазию ребенок развивается умственно, эмоционально, социально. Он, по словам М. Осориной, открывает новые миры «как в окружающей среде, так и в своей душе», а также получает впечатления, которые порой определяют направление всей его дальнейшей жизни. Все это мы увидим в приводимых далее текстах этой и других глав.

Павел Флоренский Впечатления таинственного³

Павел Александрович Флоренский (1882–1937) — русский религиозный философ, ученый, священник. Окончил физикоматематический факультет Московского университета (1904) и Московскую Духовную академию (1908), был доцентом и профессором академии по кафедре истории философии. Свою жизненную задачу Павел Флоренский понимал как проложение путей к будущему цельному мировоззрению, синтезирующему веру и разум, интуицию и дискуссию, богословие и философию, искусство и науку.

Отрывки взяты из книги воспоминаний П. Флоренского, которую он посвятил своим детям. В них речь идет о его ранних детских годах. Можно видеть, какой тонкой и впечатлительной натурой обладал мальчик и как это выражалось в его восприятии мира, образах и фантазиях.

...Понятное дело, я не открывался взрослым. И не только потому, что свои глубочайшие восприятия дети никогда не открывают взрослым, но и еще более потому, что мои восприятия казались мне столь естественными, *общими* всем, обычными, что о них не стоило говорить; да и как найти, не говоря уж о том, — как было найти слова для выражения чувств и мыслей, охватывавших все поле внутренней жизни, а потому, при всей своей острой специфичности в силе, расплывчатых, неуловимых, невыразимых? В детстве же чувство *таинственности* было у меня господственным, это был фон моей внутренней жизни, на котором обрисовывалась нежность и ласка к родителям. Все окружающее, то, что обычно не кажется и не признается таинственным, очень многие привычные и повседневные предметы и явления имели какую-то глубину теней, словно по четвертому измерению, и выступали в рембрандтовских вещих тенях.

«Чудовище»

Мы жили в двух квартирах. В одной помещалась столовая, гостиная и еще какие-то спальни. В другой жил я с тетей Юлей — в другой, т. е. во флигеле. Сообщение между двумя помещениями было через двор, вымощенный камнями, сквозь которые прорастала трава. Обычно я ходил в сопровождении кого-нибудь из старших, а может быть, кое-когда решался

³ Флоренский П. Детям моим. Воспоминания прошлых дней. М., 2004.

пробежать и один. Но как-то раз, сидя в столовой, — это было днем, я соскучился по тете Юле или по маме, может быть, почему-то не приходившей из флигеля ко всем, — и побежал к ней или за ней. Как сейчас помню все, что было. Я отворил дверь и сразу, спустившись на 2–3 ступеньки, очутился под слегка темным навесом, образуемым около дома. Помню, что навес этот держался на деревянных некрашенных столбах с ободранной корою, посеревших от дождя... Вероятно, дело было к вечеру, или погода была бессолнечная, но у меня осталось впечатление сумеречное. И вот на каменной мостовой двора, проросшей травой, быть может, осенней уже, — я вижу эту мостовую, как сейчас, — увидел я нечто. Скорее, сперва я услышал — какойто неслыханный мною своеобразный звук. Его я уже испугался. Но любопытство и смелость победили. Я решил было прошмыгнуть мимо и добраться до своей цели. Но... побежав далее с почти зажмуренными глазами, я вдруг остолбенел. Предо мною стоял невиданный снаряд. Что-то в нем быстро вертелось, визжало, скрипело, и от колеса сыпались яркие искры. И, самое страшное, какой-то человек, мне он показался темным силуэтом на небе, вероятно, вечеряющем, — какой-то человек стоял при этом снаряде невозмутимо, бесстрастно и бесстрашно и что-то держал в руках...

Я стоял как очарованный взглядом чудовища.

Предо мною разверзались ужасные таинства природы. Я подглядел то, что смертному нельзя было видеть. Колеса Иезекииля? Огненные вихри Анаксимандра? Вечное вращение, ноуменальный огонь... Я остолбенел и пораженный ужасом, и захваченный дерзновенным любопытством, зная, что не должно мне видеть и слышать видимого и слышимого. Но мне открывалась живая действенность таинственных сил естества, бемовская первооснова, гетевские матери. И тот, кто стоял при таинственном искрометном снаряде, тот темный силуэт — это не был, конечно, человек, это не было одно из существ земли, это был дух земли, великое существо, несоизмеримое со мною. Оно меня не заметило, вероятно... Не знаю, сколько времени длилось это откровение и столбняк. Секунду ли, несколько ли секунд; но, конечно, очень недолго. И только прошел упоительный и страшный миг *слияния* с этим огненным первоявлением природы, только явилось сознание себя, как панический ужас охватил меня. И вот характерная подробность: никогда мне не изменявшее самообладание в минуту последнего ужаса появилось у меня и тогда, и это первое из памятуемых мною таинственных потрясений души. Я не растерялся. Почти прыжком очутился я снова в столовой, откуда выбежал, и тут только, как это бывало и впоследствии в таких случаях, уже в надежной пристани, на коленях у кого-то из старших, я дал волю овладевшему мной ужасу. Со мною сделалось что-то вроде нервного припадка. Поили сахарной водой, успокаивали. «Ведь это точильщик точит ножи, Павлик, — твердили старшие. — Пойдем, посмотрим». Но я, разумеется, никого не слушал, но и не спорил со старшими. Я тогда уже понимал, что они не постигнут *таинства*, которое открылось мне и ужаснуло меня. Мне предлагали проводить меня через двор. Но и на это не сдавался я. И трудно сказать, только ли от страха пред потоком ноуменальных искр или и от другой боязни — не пережить вновь пережитого, увидеть то, о чем говорили мне взрослые, — что-то обыкновенное и в самом деле не внушающее ужаса... И долго после того боялся я один проходить по двору.

Это чувство откровения тайн природы и ужаса, с ним связанного, тютчевской Бездны и влечения к ней было и есть, как мне думается, одна из наиболее внутренних складок моей душевной жизни.

Вглядываясь в себя еще пристальнее, я нахожу еще нечто, чему я научился от этого нашего обитания в двух квартирах, сообщающихся двором. Это именно твердое, органическое убеждение в *мистическом* «есть» при противоречии ему эмпирического кажется.

Искра

Искра. Нечто, кажущееся обыкновенным и простым, самым заурядным по своей

частоте, нередко привлекало в силу каких-либо особых обстоятельств мое внимание. И вдруг тогда открывалось, что оно — не просто. Воистину что-то вдруг припоминалось в этом простом и обычном явлении, и им открывалось иное, ноуменальное, стоящее выше этого мира или, точнее, глубже его. Полагаю, это — то самое чувство и восприятие, при котором возникает фетиш: обычный камень, черепица, обрубок открывают себя как вовсе не обычные и делаются окнами в иной мир. Со мною в детстве так бывало не раз. Но в то время как иные явления всегда манили к себе мою душу, никогда не давая ей насытиться, другие, напротив, открывали таинственную глубину свою лишь урывками, даже единично, раз только. Одним из таких восприятий были искры.

Мы тогда жили в Батуме, в доме Айвазова. Было же мне около четырех-пяти лет. Возбуждаясь к вечеру, я долгодолго не соглашался ложиться спать; а когда ложился, то все равно часами лежал, не засыпая, ворочаясь с боку на бок и в миллионный раз изучая рисунок обоев или одеяла. Это были часы почти что пытки, когда я вылеживал в постели без сна. И потому я очень не любил укладываться спать рано, несмотря на уговоры. Однажды я с тетей Юлей сидели в спальней комнате, что выходила на двор. Сначала тетя занимала меня, читала, рассказывала, а потом стала посылать спать. Но я чем-то особенно заупрямился и не шел. Тетя говорила, что надо идти. На дворе было темно. Тетя говорила, что если я не пойду, то сон может улететь спать и тогда я уже не засну; не знаю, говорила ли она, ипостасируя сон, или я только — так ее понял. Но посмотрел в темное окно — дело было осенью — и вижу: летят искры; вероятно, развели таган или печурку на дворе, с углями. И одна последняя, особенно яркая, летит как-то одиноко поодаль, отсталая. Я — к тете: «Смотри, что это?». А она: «Это улетает твой сон. Вот теперь ты не сумеешь заснуть». Я видел искры, как я, конечно, видывал не раз до того. Но я почувствовал, что тетя глубоко права, что это действительно летит мой сон, имеющий невидимую, но бесспорную форму ангелка, — и что, улета, он делает что-то непоправимое. Я разрыдался. Почувствовал, что что-то свершилось. Пospешил лечь, но долго-долго не смыкались веки.

Прошли с тех пор годы. Как-то недавно (1919) служил я всенощную в церкви Красного Креста. Химические угли у нас кончились, приходится разжигать кадило простыми, из плиты, и при каждом они иногда искрятся. Вот искра от кадила полетела, как-то одиноко, в темном пространстве алтаря. И мне сразу вспомнилось, как такую же искрою «улетел сон мой» в детстве. А та, детская, искра в свой черед будила воспоминание об огненном потоке искр из-под колеса точильщика, открывшем мне иной мир, полный таинственной жути и влекущий и волнующий ум. Искры перекликаются с искрами и подают весть друг о друге. Сквозь всю жизнь мою пронизывается невидимая нить искр, огненная струя золотого дождя, осеменяющая ум...

Агата Кристи **Волнующий мир детства⁴**

Агата Кристи (1890–1976) — английская писательница, автор более 70 детективных романов, переведенных на 103 языка. Ей по праву принадлежит имя «королевы детектива».

В своей «Автобиографии» А. Кристи рассказывает о счастливых годах детства, которые она провела в родном доме в городе Торквее английского графства Девон. Можно видеть, что весь уклад, распорядок, нравы и обычаи в ее

⁴ Кристи А. Автобиография. М., Эксмо, 2007. Пер. В. Чемберджи.

доме, и даже характеры некоторых его обитателей, отражают особенности Викторианской эпохи. Для современного читателя это — далекое культурное прошлое. В то же время детские переживания и игры маленькой Агаты выглядят вполне живыми и современными. Во истину, законы детства вечны!

Мои мама и папа: «Не отпускайте своего ребенка!»

Самое большое счастье, которое может выпасть в жизни, — это счастливое детство. У меня было очень счастливое детство. Милые моему сердцу дом и сад; мудрая и терпеливая Няня; мама и папа, горячо любившие друг друга, сумевшие стать счастливыми супругами и родителями.

Оглядываясь в прошлое, я понимаю, что в нашем доме, в самом деле, царило благоденствие, и главной его причиной была необыкновенная доброта моего отца.

Только позднее я поняла, как любили его окружающие. Между тем он не обладал ни какими-то особыми достоинствами, ни редкостным умом. У него было простое и любящее сердце, и он действительно любил людей. Выделяло его отменное чувство юмора, он легко мог рассмешить кого угодно. В нем не было ни мелочности, ни ревности, он отличался фантастической щедростью, вплоть до расточительности. Счастливый и безмятежный.

Совсем другой была мама. Натура загадочная, притягательная, более сильная личность, чем папа, на удивление оригинально мыслящая и в то же время робкая и неуверенная в себе, в глубине души, как мне кажется, склонная к меланхолии.

Мама была лет на десять младше папы и страстно полюбила его еще десятилетней девочкой. Пока молодой беспечный повеса курсировал между Нью-Йорком и югом Франции, мама, робкая, тихая девочка, сидела дома, погруженная в мечты о нем, писала в дневнике стихи и вышивала ему кошелек. Этот кошелек отец хранил всю жизнь.

Мама, урожденная Клара Бомер, в детстве была очень несчастлива. Ее отца, служившего в шотландском полку в Аргайле, сбросила лошадь, он разбился насмерть; моя Бабушка, юная и красивая, осталась вдовой с четырьмя детьми на руках и, кроме скудной вдовьей пенсии, без всяких средств к существованию. Ее старшая сестра, только что вышедшая замуж за богатого американского вдовца, написала Клариной матери письмо, в котором предложила взять кого-нибудь из детей на воспитание и обещала обращаться с ребенком как с родным.

Молодая вдова, не выпускавшая из пальцев иголки, чтобы как-то прокормить и воспитать четырех детей, приняла предложение. Из трех мальчиков и девочки она выбрала девочку; то ли оттого, что ей казалось, будто мальчики легче найдут дорогу в жизни, в то время как девочка нуждается в поддержке, то ли, как всегда говорила мама, потому, что она больше любила мальчиков.

Мама покинула Джерси и поселилась в незнакомом доме на севере Англии. Думаю, нанесенная ей обида, горькое чувство отринутости наложили отпечаток на всю ее жизнь. Она потеряла уверенность в себе и стала сомневаться в чувствах окружающих. Тетя, щедрая, веселая, не имела, однако, ни малейшего представления о детской психологии. Мама получила все: богатство, комфорт, уют, заботу. Но безвозвратно потеряла беспечную жизнь с братьями в своем доме.

В газетных столбцах, отведенных для писем обеспокоенных родителей, я часто наталкиваюсь на просьбы: «Хотела бы передать на воспитание в богатую семью ребенка, чтобы он получил блага, которых я не могу ему обеспечить, — прежде всего, первоклассное воспитание и образование».

Мне всегда хочется кричать: *«Не отпускайте своего ребенка!»* Дом, семья, любовь и надежность домашнего очага — разве самое лучшее образование в мире может заменить это или сравниться с этим?

Моя мать была глубоко несчастна в новом доме. Каждый вечер она засыпала в слезах, бледнела, худела. Наконец она заболела, и тете пришлось вызвать врача. Пожилой опытный доктор немножко поговорил с девочкой, потом вернулся к тете и сказал:

— Девочка тоскует по дому.

Тетя страшно удивилась и не поверила.

— О нет, — возразила она, — этого не может быть. Клара — хорошая, спокойная девочка. Она нисколько не скучает и совершенно счастлива.

Но старый доктор снова пошел к девочке и еще раз поговорил с ней. Не правда ли, у нее есть братья? Сколько? Как их зовут? В ответ девочка разрыдалась, и сомнения рассеялись.

Когда все вскрылось, наступило облегчение, *но ощущение отверженности осталось навсегда*. Думаю, мама сохранила горечь обиды на Бабушку до конца жизни. Она очень сильно привязалась к своему американскому «дяде». Уже тяжело больной, он полюбил тихую маленькую Клару и часто читал девочке вслух ее любимую книгу «Король золотой реки». Однако настоящим утешением в ее жизни были периодические визиты пасынка тети — Фреда Миллера, так называемого кузена Фреда. Фреду было около двадцати лет, и он всегда проявлял большую нежность к своей маленькой кузине. Однажды — Кларе было одиннадцать лет — Фред сказал мачехе:

— Какие у Клары красивые глаза!

Клара, твердо считавшая себя уродиной, побежала в тетину комнату, чтобы посмотреть в большое зеркало, перед которым одевалась и причесывалась тетя. Может быть, у нее и вправду красивые глаза... Клара ощутила невероятный восторг. С того момента ее сердце безвозвратно принадлежало Фреду.

В Америке старинный друг семьи как-то сказал юному бонвивану:

— Фредди, когда-нибудь ты женишься на своей маленькой кузине.

Пораженный Фред ответил:

— Она ведь совсем крошка!

Но он всегда питал особое чувство к обожавшей его девочке, хранил детские письма и стихи, которые она ему писала. После длинного ряда любовных приключений с нью-йоркскими красотками и представительницами высшего света (среди них — Дженни Джером, будущая леди Рэндолф Черчилль) он вернулся в родную Англию и попросил тихую маленькую кузину стать его женой.

Характерно для мамы, что она решительно отказала ему.

— Но почему же? — спросила я ее однажды.

— Потому что я была скучная, — ответила она.

Причина довольно-таки необычная, но для мамы совершенно достаточная.

Отец не стал спорить. Он повторил предложение, и на сей раз мама, преодолев свои опасения, согласилась выйти замуж за него, хотя с большими сомнениями, и страх разочаровать мужа по-прежнему терзал ее.

Так они поженились. У меня есть портрет мамы в свадебном платье: красивое серьезное лицо, темные волосы и большие глаза цвета ореха.

Сад!

Прекрасный, надежный и вместе с тем такой волнующий мир детства! Меня, наверное, больше всего увлекал сад. С каждым годом он значил для меня все больше и больше. Я знала в нем каждое дерево и каждому приписывала особую роль. С незапамятных времен он делился для меня на три части.

Во-первых, огород, обнесенный высокой стеной, примыкающей к дороге. Совершенно неинтересно, если не считать клубники и зеленых яблок, которые я поглощала в огромных количествах. Кухня — все ясно. Никакого волшебства.

Потом шел собственно сад — вытянутая в длину лужайка, сбегающая по склону холма, усеянная разными интересными «существами». Каменный дуб, кедр, секвойя (такая высокая, что голова кружилась). Две пихты, по неясной для меня теперь причине олицетворявшие моих брата и сестру. Я осторожно проскальзывала на третью ветку дерева Монти. Если же тихонько пробраться в глубь кроны дерева Мэдж, можно было сесть на гостеприимно изогнувшуюся ветку и оттуда никем не замеченной наблюдать за жизнью внешнего мира. И еще там было дерево — я называла его скипидарным — с густой и сильно пахнущей смолой, которую я тщательно накапливала: это был «драгоценный бальзам». И возвышался бук — самое высокое дерево в саду, щедро раскидывавший кругом орешки, которые я с наслаждением поедала. Медный бук, который тоже рос в нашем саду, я почему-то не причисляла к своим деревьям.

И наконец, лес. В моем воображении он выглядел, да и сейчас смутно вырисовывается как самый настоящий Нью-Форест. Лиственный, скорее всего, ясеневый лес, с вьющейся между деревьями тропинкой. Все, связанное с представлением о лесе, жило здесь. Тайна, опасность, запретное удовольствие, неприступность, неведомые дали... Лесная тропа выводила к крокетной площадке или теннисному корту на вершине откоса против окна гостиной. Тотчас волшебство кончалось. Вы снова оказывались в мире повседневности, где дамы, придерживая подол юбки, катили крокетные шары или в соломенных шляпках играли в теннис.

Мои Котята и другие...

Досыта насладившись игрой в сад, я возвращалась в детскую, где царила Няня — раз и навсегда, непреложно и неизменно. Может быть, оттого, что она была уже совсем немолода и страдала ревматизмом, я всегда играла рядом с Няней, но никогда — с ней самой. Больше всего я любила превращаться в кого-нибудь. Сколько себя помню, в моем воображении существовал целый набор разных придуманных мною друзей. Первая компания, о которой я ничего не помню, кроме названия, — это Котята. Кто были Котята, не знаю, — не знаю также, была ли я одним из них, — помню только их имена: Кlover, Блэки и еще трое. Их маму звали миссис Бенсон.

Няня была достаточно мудрой, чтобы не говорить со мной о них и не пытаться принять участие в беседе, тихо журчавшей у ее ног. Может быть, ее вполне устраивало, что я так легко нахожу себе развлечения.

Поэтому для меня было страшным ударом, когда однажды, поднимаясь по лестнице, я услышала, как наша горничная Сьюзен говорит:

— По-моему, ее совершенно не интересуют игрушки. Во что она играет?

И прозвучавший в ответ голос Няни:

— О, она играет, будто она котенок с другими котятами.

Почему в детской душе существует такая настоятельная потребность в секрете? Сознание, что кто-то — даже Няня — знает о Котятах, потрясло меня до основания. С этого дня я никогда больше не бормотала вслух во время игры. Это мои Котята, и никто не должен знать о них.

Разумеется, у меня были игрушки. Как младшей, мне всячески потакали и, наверное, покупали все на свете. Но я не помню ни одной, кроме, и то смутно, коробки с разноцветным бисером, который я нанизывала на нитки и делала бусы.

Из кукол помню Фебу, на которую я не слишком обращала внимание, и Розалинду, Розы. У нее были длинные золотые волосы, и я восхищалась ею невероятно, но долго играть с ней не могла, предпочитая Котят. Миссис Бенсон была ужасно бедной и печальной, — семья еле сводила концы с концами. Их отец, настоящий морской капитан Бенсон, погиб в море, поэтому они и оказались в такой нужде. Этим сюжетом сага о Котятах более или менее

исчерпывалась, если не считать, что у меня в голове смутно вырисовывался другой, счастливый конец: оказывалось, что капитан Бенсон уцелел, он возвращался, притом с солидным состоянием, как раз в тот момент, когда ситуация в доме Котят становилась уже совершенно отчаянной.

От Котят я перешла к миссис Грин. У миссис Грин было сто детей, но самыми главными всегда оставались Пудель, Белка и Дерево. Именно с ними я совершала все свои подвиги в саду. Они не олицетворяли собой точно ни детей, ни собак, а нечто неопределенно среднее между ними.

Канарейка и собака

Еще одно крупное событие произошло в моей жизни, когда мне подарили канарейку. Голди очень быстро стал ручным, летал и прыгал по детской, иногда садился даже Няне на шляпу, а когда я звала его, — мне на палец. Это была не просто моя птичка, но начало новой секретной саги. Главными персонажами были Дики и Диксмистресс. Они вместе носились верхом на конях по всей стране (сад), пускались в опасные приключения и в самый последний момент ускользали из рук грозной разбойничьей шайки.

Однажды произошло страшное несчастье: Голди исчез. Окно было открыто, и дверца его клетки отперта. Скорее всего он, конечно, просто улетел. До сих пор помню, как нескончаемо долго тянулся тот мучительный день. Он не кончался и не кончался. А я плакала, плакала и плакала. Клетку выставили за окно с кусочком сахара между прутьями. Мы с мамой обошли весь сад и все звали: «Дики! Дики! Дики!». Мама пригрозила горничной, что уволит ее за то, что та, смеясь, сказала: «Должно быть, его съела кошка», после чего я заревела в три ручья.

И только когда я уже лежала в постели, держа за руку маму и продолжая всхлипывать, где-то наверху послышался тихий веселый щебет. С карниза слетел вниз Мастер Дики. Он облетел всю детскую и потом забрался к себе в клетку. Что за немыслимое счастье! И представьте себе только, что весь этот нескончаемый горестный день Дики просидел на карнизе.

Мама не преминула извлечь из этого происшествия урок для меня.

— Смотри, Агата, — сказала она, — до чего же ты глупенькая. Сколько слез пролила впустую! Никогда не плачь заранее, если не знаешь точно, что случилось.

Я уверила маму, что никогда не буду плакать зря. Но кроме чуда возвращения Дики что-то еще случилось со мной тогда: я ощутила силу маминой любви и ее сочувствие в момент моего горя. Единственным утешением в тот миг полного отчаяния была ее рука, которую я сжимала изо всех сил. В этом прикосновении было что-то магнетическое и успокаивающее. Если кто-то заболел, маме не было равных. Только она могла придать вам силы и жизнестойкость.

В пять лет на день рождения мне подарили собаку — это было самое оглушительное событие из всех, которые мне довелось пережить до тех пор; настолько невероятное счастье, что я в прямом смысле лишилась дара речи. Встречаясь с расхожим выражением «онеметь от восторга», я понимаю, что это простая констатация факта. Я действительно онемела, — я не могла даже выдать из себя «спасибо», не смела посмотреть на мою прекрасную собаку и отвернулась от нее. Я срочно нуждалась в одиночестве, чтобы осознать это несусветное чудо. (Такая реакция осталась характерной для меня на протяжении всей жизни — и почему надо быть такой глупой?) Кажется, насколько подсказывает память, я убежала в туалет — идеальное место, чтобы прийти в себя, где никто не сможет потревожить мои размышления. Туалеты в те времена были комфортабельными, чуть ли не жилыми помещениями. Я опустила крышку унитаза, сделанную из красного дерева, села на нее, уставилась невидящими глазами на висевшую напротив карту Торки и стала думать об обрушившемся на меня счастье.

— У меня есть собака... собака... Моя собственная собака, моя собственная настоящая собака... Йоркширский терьер... моя собака, моя собственная настоящая собака...

Позднее мама рассказала мне, что папа был очень разочарован моей реакцией на подарок.

— Я думал, — сказал он, — девочка будет довольна. Но, похоже, она даже не обратила внимания на собаку.

Но мама, которая всегда все понимала, сказала, что мне нужно время.

— Она еще не может уяснить себе все до конца.

Пока я размышляла, четырехмесячный щенок печально побрел в сад и прижался к ногам нашего сварливого садовника по имени Дэйви. Щенка вырастил один из сезонных садовых рабочих. Вид заступа, погруженного в землю, напомнил ему родной дом. Он сел на дорожку и стал внимательно наблюдать за садовником, рыхлившим почву.

Именно здесь в положенный срок и состоялось наше знакомство. Мы оба робели и делали нерешительные попытки приблизиться друг к другу. Но к концу недели мы с Тони оказались неразлучны. Официальное имя, данное ему папой, Джордж Вашингтон, я тотчас для краткости предложила заменить на Тони. Тони был идеальной собакой для ребенка — покладистый, ласковый, с удовольствием откликавшийся на все мои выдумки. Няня оказалась избавленной от некоторых испытаний. Как знаки высшего отличия разные банты украшали теперь Тони, который с удовольствием поедал их заодно с тапочками. Он удостоился чести стать одним из героев моей новой тайной саги. К Дики (кенарю Голди) и Диксмистресс присоединился теперь Лорд Тони.

В гостях у Бабушки

Неотразимую привлекательность таили в себе для меня дом и сад Тетушки-Бабушки. Детскую же я разделила на несколько «территорий». Первая состояла из большой оконной ниши и постеленного перед ней на полу веселого полосатого коврика. Эту часть я окрестила Комнатой Мюриэл, вероятно, под влиянием пленившего меня слова «эркер». Другая часть, сплошь покрытая брюссельским ковром, называлась Столовой. Разные кусочки ковра и линолеума я тоже считала отдельными комнатами. С озабоченным и важным видом я переходила из одной «комнаты» в другую, перешептываясь сама с собой. По обыкновению невозмутимая Няня тихонько вязала в уголке.

Добрый друг моих детских игр, Бабушка откладывала в сторону длинное письмо, которое писала с тяжелыми вздохами, густо зачеркивая строчки, «чтобы сберечь почтовую бумагу», и с удовольствием погружалась в сладостное времяпрепровождение с «цыпленком от мистера Уайтли». Сначала Бабушка выбирала цыпленка; она «звонила» торговцу, чтобы проверить, действительно ли цыпленок молодой и нежный. Меня приносили домой, со связанными крылышками и лапками, нанизывали на вертел, чтобы цыпленок зажаривался, медленно вращаясь, ставили блюдо на стол, и вот Бабушка начинала точить большой нож, готовясь разделать птицу, когда вдруг цыпленок оживал и кричал: «Это же я!» — кульминация всего действия. Эта игра могла повторяться до бесконечности.

Игра в «Старшую сестру»

Мэдж изобрела игру, которая одновременно пугала и зачаровывала меня. Игра называлась «Старшая сестра». Идея состояла в том, что в нашей семье существовала еще одна старшая сестра, старше Мэдж.

Она сошла с ума и жила в Корбин Хед, но иногда приходила домой. Они с Мэдж были похожи как две капли воды, но говорила «старшая сестра» совершенно другим голосом

— страшным, елейным.

— Ты ведь знаешь, дорогая, кто я такая? Я твоя сестра Мэдж. Ты ведь не принимаешь меня за кого-то другого? Надеюсь, нет?

Я приходила в неопиcуемый ужас. Конечно, я понимала, что на самом деле это была Мэдж, что она притворялась, ну а если... Вдруг «старшая сестра» действительно существует? Этот голос, взгляд искоса. Это «старшая сестра»!

Обыкновенно мама очень сердилась.

— Я же просила тебя, Мэдж, не пугать ребенка своими глупыми играми.

Мэдж отвечала вполне резонно:

— Но она просит меня играть в это!

Я просила. Я спрашивала Мэдж:

— А скоро придет старшая сестра?

— Не знаю. Ты хочешь, чтобы она пришла?

— Да-да, хочу...

Хотела ли я в самом деле? Не знаю, но думаю, что хотела. Моя просьба никогда не удовлетворялась немедленно. Только дня через два в дверь детской стучали и раздавался голос:

— Можно мне войти, дорогая? Это твоя старшая сестра...

Многие годы спустя, стоило Мэдж заговорить голосом «старшей сестры», как у меня немедленно бежали мурашки по спине.

Почему мне нравилось это чувство ужаса? Какой инстинкт нуждается в удовлетворении страхом? Почему, в самом деле, дети любят сказки про медведей, волков и ведьм? Может быть, это бунт против чересчур благополучной жизни? Может быть, человек нуждается в ощущении некоторой опасности? Может быть, детская преступность в современном мире обязана своим возникновением чересчур благополучному обществу? Не нужно ли человеку бороться с чем-то, победить противника — доказать себе свою силу? Уберите из «Красной Шапочки» Серого Волка — разве хоть какому-нибудь ребенку это понравится? Короче говоря, как и во всем, что существует в жизни, вы нуждаетесь в некоторой порции страха, но не слишком большой.

В четыре года я влюбилась

Сокрушительное и сладостное переживание. Героем моего романа был курсант морского училища в Дартмуре, друг моего брата. Золотоволосый, голубоглазый, он пробудил во мне романтические чувства. Ему, конечно, и в голову не приходило, какую бурю переживаний он вызвал к жизни. Восхитительно индифферентный к младшей сестре своего друга Монти, он наверняка, если бы его спросили, ответил, что не нравится мне. Я пускалась наутек при его появлении, а за столом решительно от него отворачивалась. Маме приходилось напоминать мне о правилах приличия:

— Дорогая, я знаю, что ты стесняешься, но нужно быть вежливой. Это так невоспитанно — все время отворачиваться от Филиппа, а когда он заговаривает с тобой, бормотать в ответ что-то невнятное. Даже если он тебе не нравится, ты должна быть вежливой.

Не нравится! Если бы кто-нибудь только знал! Мысленно возвращаясь к своему тогдашнему состоянию, я думаю теперь: сколь малым довольствуется первая любовь! Она не требует ничего — ни взгляда, ни слова. Чистое обожание. Охваченная любовью, я брожу по улице и создаю в воображении разные героические ситуации, требующие спасения любимого. Я кормлю его, когда он болен чумой. Выхватываю из огня, загораживаю от шальной пули, совершаю все подвиги, которые только может подсказать фантазия. В этих воображаемых историях не может быть счастливого конца. Я сгораю в огне, погибаю от пули, умираю от чумы. Герой даже не подозревает о жертве, которую я ему принесла.

Я сидела на полу детской, играла с Тони, торжественная, гордая собой, и голова моя

кружилась от ликования, вызванного самыми сумасбродными мечтами. Проходили месяцы. Филипп стал гардемаринном и покинул Великобританию. Некоторое время его образ жил в моем сердце, но потом незаметно исчез. Любовь ушла, чтобы возвратиться через три года, когда я безответно полюбила высокого темноволосого молодого капитана, ухаживавшего за сестрой.

Истории Няни и мамы

Раз в день, как полагалось всем хорошо воспитанным детям, я «отправлялась на прогулку». Я этого терпеть не могла, в особенности потому, что надо было застегнуть на все пуговицы ботинки, — необходимое условие. Я плелась позади, шаркая ногами; единственное, что заставляло меня ускорить шаг, были рассказы Няни. Ее репертуар состоял из шести историй, крутившихся вокруг детей из разных семей, в которых она жила. Я не помню ничего: в одной, кажется, фигурировал тигр из Индии, в другой — обезьяны, в третьей — змеи. Все было страшно интересные, и я имела право выбирать. Няня повторяла их без устали, не проявляя ни малейших признаков недовольствия.

Иногда как большую награду я получала разрешение снимать белоснежный Нянин чепец. Без него она сразу становилась частным лицом, теряя свой официальный статус. И тогда, с невероятным трудом задерживая дыхание, потому что для четырехлетней девочки это было совсем нелегко, я обвязывала вокруг ее головы широкую голубую атласную ленту. После чего отступала на несколько шагов назад и восклицала в восторге:

— Ой, Няня, до чего ты красивая!

Она улыбалась и отвечала своим ласковым голосом:

— В самом деле, милая?

После чая меня наряжали в накрахмаленное муслиновое платье, и я спускалась в салон, чтобы поиграть с мамой.

Если прелесть историй Няни заключалась в том, что они никогда не менялись и служили для меня оплотом незыблемости, очарование рассказов мамы состояло в том, что она ни разу не повторила ни одного из них, ее истории всегда были разными, и мы в самом деле ни разу не играли с ней в одну и ту же игру. Одна сказка, как я вспоминаю, была о мышке по имени Большеглазка. С Большеглазкой происходили разные приключения, и вдруг однажды, к моему ужасу, мама объявила, что сказки о Большеглазке кончились. Я так плакала, что мама сказала:

— Но я расскажу тебе о Любопытной Свече.

У нас были готовы уже два эпизода из жизни Любопытной Свечи, явно носившие детективный характер, когда вдруг, ни с того ни с сего, появились непрошенные гости; они пробыли у нас несколько дней, и наши тайные игры и истории повисли в воздухе неоконченными. Когда гости, наконец, уехали, я спросила маму, чем же кончается «Любопытная Свеча», — ведь мы остановились в самом захватывающем месте, когда преступник медленно подливал яд в подсвечник, — мама страшно растерялась и явно не могла вспомнить, о чем идет речь. Этот прерванный сериал до сих пор тревожит мое воображение.

Другая упоительная игра заключалась в том, чтобы собрать все банные полотенца, составить вместе столы и стулья и построить дом, в который можно было вползти только на четвереньках.

Обруч и Матильда

Размышляя о том, что доставляло мне в детстве наибольшее удовольствие, я склоняюсь к мнению, что твердое первенство принадлежало обручу, этой самой простой игрушке, которая стоила... сколько? Шесть пенсов? Шиллинг? Никак не больше. И какое неоценимое облегчение для родителей, нянь и слуг! В погожий день Агата идет в сад играть

с обручем, и все могут быть совершенно спокойны и свободны, вплоть до следующей трапезы или, точнее говоря, до момента, когда даст о себе знать голод.

Обруч по очереди превращался в коня, морское чудовище и железную дорогу. Гоня обруч по тропинкам сада, я становилась то странствующим рыцарем в доспехах, то придворной дамой верхом на белом коне, Кloverом (из «Котят»), совершающим побег из тюрьмы, или — несколько менее романтично — машинистом, кондуктором или пассажиром на трех железных дорогах моего собственного изобретения.

Я разработала три ветки: «Трубная» — железная дорога с восемью станциями протяженностью в три четверти сада, «Баковая» — по ней ходил товарный поезд, обслуживающий короткую ветку, начинавшуюся от огромного бака с краном под сосной, и «Террасная» железная дорога, которая шла вокруг дома. Совсем недавно я обнаружила в чулане лист картона, на котором каких-то шестьдесят лет назад коряво начертила план железнодорожных путей.

Никак не могу постичь теперь, почему мне доставляло такое неизъяснимое удовольствие гнать перед собой обруч, останавливаться и кричать: «Ландышевая». Пересадка на «Трубную». «Труба». «Конечная. Просьба освободить вагоны». Я играла так часами. Наверное, это были великолепные физические упражнения. Я со всей прилежностью постигала искусство так бросать свой обруч, чтобы он возвращался ко мне, этому трюку меня научил один из наших друзей — морских офицеров. Сначала у меня ничего не получалось, но я упорно пробовала снова и снова и наконец уловила нужное движение — как же я была счастлива!

В дождливые дни на свет появлялась Матильда. Большая американская деревянная лошадь-качалка. Матильду подарили сестре и брату еще в Америке, когда они были маленькими. Ее привезли в Англию и теперь оставшуюся от нее бледную тень — грива вылезла, краска облупилась, хвост исчез и т. д. — поместили в примыкавшую к дому маленькую теплицу, не путать с оранжереей, помпезным сооружением, уставленным горшками с бегонией, геранью, целыми ярусами всевозможных папоротников и несколькими пальмами. Маленькая теплица называлась, сама не знаю почему, К. К. (а может быть, Кай Кай?); лишившись всех растений, она приютила у себя крокетные молотки, обручи, мячи, сломанные садовые кресла, старые крашеные железные столы, рваную теннисную сетку и Матильду.

Матильда работала прекрасно — гораздо лучше всех английских лошадей-качалок, которых я когда-либо видела. Оседланная, она скакала вперед и назад, вверх и вниз и, если ее как следует прищипорить, могла запросто сбросить седока. Рессоры, нуждавшиеся в смазке, отчаянно стонали, и к удовольствию примешивалось чувство опасности. Опять же прекрасная тренировка. Неудивительно, что я была тощей. Компанию Матильде составлял Верный, тоже заокеанского происхождения. Верный — маленький крашеный конь с педальной коляской. Вероятно, из-за долгих лет неподвижности педали больше не крутились. Щедрая порция смазки, конечно, сделала бы свое дело, но существовал гораздо более легкий способ заставить Верного служить. Подобно всем садам в Девоне, наш сад располагался на склоне холма. Мой метод состоял в том, чтобы втащить Верного на самую верхушку поросшего травой откоса, осторожно сесть на него верхом, прошептать ему на ухо что-нибудь подбадривающее — и вот мы уже едем вниз, сначала медленно, потом набирая скорость, так что мне приходится тормозить ногами, чтобы остановиться у самой араукарии в глубине сада. Потом я снова втаскивала Верного на вершину, и все начиналось сначала.

Спустя несколько лет выяснилось, что в наблюдении за этим целеустремленным торжественным процессом, длившимся порой час кряду, черпал колоссальное удовольствие мой будущий зять.

С уходом Няни я, конечно, потеряла товарища своих игр. Безутешная, я бродила по саду до тех пор, пока на помощь не пришел обруч.

Как все дети, я, конечно, всегда стремилась вовлечь в свою игру сначала маму, а

потом кого-нибудь из слуг. Но в те времена, если в чью-то прямую обязанность не входило играть с детьми, тем приходилось играть самим. Слуги, хоть и настроенные очень дружелюбно, были по горло заняты своей работой, а потому обычно я слышала в ответ:

— А сейчас, мисс Агата, бегите играть. У меня полно дел.

Доброта Джейн ограничивалась горстью изюма или кусочком сыра, которые она давала мне, но с непременным условием съесть все это в саду.

Так я оказалась в своем собственном мире с моими товарищами по играм. Думаю, это прекрасно. Я никогда не знала, что такое скука, унылое «мне нечего делать», в отличие от многих женщин, всю жизнь страдающих от одиночества и не знающих, чем себя занять. Свое свободное время они рассматривают как кошмар, а не источник наслаждения. Если вас постоянно развлекают, естественно, вы к этому привыкаете. И когда никто не обращает на вас внимания, приходите в полное замешательство.

Полагаю, из-за того, что подавляющее большинство детей начинают теперь ходить в школу очень рано и жизнь их организована, они совершенно не знают, куда себя деть во время каникул, и отчаянно скучают. Я всегда очень удивляюсь, когда они подходят ко мне со словами:

— Ну мне совершенно нечего делать.

Притворно ужасаясь, я спрашиваю:

— У тебя ведь очень много игрушек, не правда ли?

— Не очень.

— Ну да, разве что два поезда, грузовики, краски да кубики. Ты не можешь поиграть сам?

— Но я не умею играть один.

— Вот как? А я умею. Нарисуй птичку, потом вырежь ее, сделай клетку из кубиков и посади птичку в клетку.

Тучи расходятся, и примерно на десять минут воцаряется тишина.

Перебирая в памяти прожитые годы, я все больше и больше убеждаюсь в одном: мои пристрастия совершенно не изменились.

Все, во что я любила играть в детстве, осталось любимым занятием на всю жизнь.

Игра в дом

Думаю, у меня было разумное количество игрушек: кукольная кровать с настоящими простынями и одеялами и доставшиеся мне от брата и сестры кубики, из которых можно было построить домик. Многие игрушки я изобретала сама. Вырезала картинки из старых иллюстрированных журналов и наклеивала их в альбомы, сделанные из коричневой толстой бумаги. Разрезала старые рулоны обоев и оклеивала ими коробки. Дело небыстрое.

Но главное удовольствие в дни, когда нельзя было гулять в саду, конечно же доставлял мне самый обыкновенный крашеный кукольный домик со свободно подвешенной передней стеной, за которой открывались кухня, столовая и холл на первом этаже, а на втором — две спальни и ванная комната. По крайней мере, с этого все начиналось. Потом, постепенно, предмет за предметом, приобреталась мебель. Тогда в магазинах был огромный выбор очень дешевой кукольной мебели. Мои карманные деньги по тем временам составляли приличную сумму. Она складывалась из медяков, которые могли завалиться в папиных карманах. Я приходила к нему в комнату, говорила «доброе утро», а потом поворачивалась к туалетному столику посмотреть, что судьба уготовила мне на этот раз: двухпенсовик? пятипенсовик? Однажды целых восемь пенсов! А иногда вообще ничего. Незнание делало ожидание волнующим.

Я покупала всегда одно и то же. Немножко конфет — из жженого сахара, потому что мама признавала полезными только их. Конфеты делались прямо в лавке мистера Уайтли, поэтому стоило пересечь ее порог, как по запаху сразу же можно было определить,

что изготавливается сегодня: характерный запах жженого сахара — значит ириски, острый — мятные леденцы, едва уловимый — ананасовые, довольно неприятный, совсем слабый — ячменного сахара и всепобеждающий аромат находившихся в процессе приготовления грушевых леденцов.

Все стоило одинаково: восемь пенсов за фунт. Я тратила четыре пенса в неделю — по одному пенни за каждый из четырех разных сортов. Один пенс полагалось откладывать на нужды беспризорных и бездомных детей (на столе в холле стояла копилка); с сентября копились монеты на рождественские подарки, которые предстояло купить, помимо сделанных дома. Остальное шло на обзаведение моего кукольного домика.

Я до сих пор помню обворожительные вещи, которые можно было купить. Продукты, например. Маленькие картонные тарелочки с жареной курицей, яичница с ветчиной, свадебный торт, баранья ножка, яблоки и апельсины, рыба, бисквит, рождественский пудинг с черносливом. Плоские коробки с ножами, вилками и ложками. Наборы крошечных рюмок. И наконец, собственно мебель. В моей гостиной стоял гарнитур из обитых голубым атласом стульев, к которым я постепенно подобрала софу и довольно громоздкое золоченое кресло. Здесь же стояли туалетный столик с зеркалом, круглый полированный обеденный стол и уродливый столовый гарнитур, отделанный оранжевой парчой. Лампы и вазы, особенно вазы с цветами. Ну и, конечно, все, что требуется в домашнем хозяйстве: щетки, совки, метла, ведра, кастрюли.

Вскоре мой кукольный домик стал похож на мебельный магазин.

А можно — вдруг можно? — чтобы у меня был еще один кукольный домик?

Мама не считала, что маленькой девочке полагалось иметь два кукольных домика. Но почему бы, осенило маму, не попробовать, предложила она, использовать для этих целей буфет? Так в моем распоряжении оказался буфет — это был бешеный успех. В просторном пустом помещении, расположенном на самом верху, папа когда-то задумывал сделать две спальни для гостей, но сестре и брату так понравилось играть там, что оно осталось комнатой для игр. По стенам кое-где стояли полки с книгами и буфеты, посередине было пусто. Мне выделили буфет с четырьмя полками, встроенный в стену. Мама разыскала обрезки красивых обоев и разрешила мне наклеивать их на полки как коврики. Собственно кукольный дом стоял на верху буфета, став теперь шестиэтажным.

Дом, конечно, нуждался в семье, которая жила бы в нем. Я поселила туда папу и маму, двух детей и служанку, куклу с фарфоровым лицом и набитым опилками тряпичным телом. Мама сшила из лоскутков кое-какую одежду для них. А папе даже наклеила на лицо маленькую черную бородку и усики. Папа, мама, двое детей и няня. Не семья, а само совершенство. Не припоминаю, чтобы члены семьи отличались какими-то особенностями характера, — они никогда не были для меня живыми людьми, существуя только как обитатели дома. Но когда семья усаживалась вокруг стола, это действительно выглядело здорово. Тарелки, рюмки, на первое — жареная курица и потом весьма изысканный розовый пудинг.

Еще одним упоительным развлечением был переезд. Грузовой машиной служила большая картонная коробка. Мебель грузили в машину и за веревочку тянули по комнате, совершая несколько кругов, пока грузовик не останавливался у «нового дома». (Переезд совершался, по крайней мере, раз в неделю.)

Сейчас мне совершенно ясно, что я продолжаю играть в дома до сих пор. Я сменила бесчисленное множество домов, покупала дома, меняла их на другие, обставляла, отделявала, перестраивала. Дома! Благослови, Господь, дома!

Хочется закончить эти отрывки из воспоминаний А. Кристи ее же словами.

«Что доставляет в жизни самое большое удовольствие? Осмелюсь предположить, что это зависит от человека. Размышляя и припоминая, я прихожу к выводу, что для меня это почти всегда мирные часы обычной повседневной жизни. Конечно же именно тогда я ощущала самое большое

счастье. Украшать голубыми бантами седую голову Няни, играть с Тони, проводить расческой пробор в шерсти на его широкой спине, скакать на воображаемой лошади вброд по реке, которую моя фантазия создала в нашем саду. Гнать обруч через все станции «Трубной» железной дороги. Счастливые часы игр с мамой.»

Перебирая в памяти события прошедшей жизни, А. Кристи с благодарностью вспоминает, казалось бы, незначительные, мелкие подробности детства. Но в том-то и дело, что только в бытовом измерении это были мелкие «пустяки» или смешные «выдумки» ребенка, вроде завязывания голубого бантика на голове Няни, или игры в железную дорогу с обручем. Но в пространстве детства, внутреннего мира живой растущей девочки, это были часы насыщенной полной жизни, окрашенной ощущением счастья!

Марина Цветаева «Памятник-Пушкина»⁵

Марина Ивановна Цветаева (1892–1941) — русский поэт, прозаик, переводчик, одна из самых самобытных поэтов Серебряного века. Родилась в Москве. Ее отец, И. В. Цветаев, — профессор Московского университета, известный филолог и искусствовед; основатель Музея изящных искусств. Мать, Мария Мейн, была пианисткой, ученицей Антона Рубинштейна; она мечтала о музыкальной карьере дочери. Детские годы Марины прошли в Москве и в Тарусе. Стихи она начала писать в шестилетнем возрасте.

С необыкновенной художественной силой Марина Цветаева описывает свои детские годы. Можно сказать, что в тексте ее воспоминаний слились два таланта: талант очарованного миром ребенка — и талант выдающегося художника, сумевшего выразить в словах ранний уникальный детский опыт. В этом отрывке мы знакомимся с впечатлениями и переживаниями Марины вокруг памятника Пушкина. Это — разнообразные открытия, размышления, постижения расстояния, числа, цвета, материала, масштаба и — величия поэта!

Но до «Дуэли» Наумова⁶ был другой Пушкин, Пушкин, — когда я еще не знала, что Пушкин — Пушкин. Пушкин не воспоминание, а состояние, Пушкин — всегда и отвсегда, — до «Дуэли» Наумова была заря, и, из нее вырастая, в нее уходя, ее плечами рассекая, как пловец — реку, — черный человек выше всех и чернее всех — с наклоненной головой и шляпой в руке.

Памятник Пушкина был не памятник Пушкина (родительный падеж), а просто Памятник-Пушкина, в одно слово, с одинаково непонятными и порознь не существующими понятиями памятника и Пушкина. То, что вечно, под дождем и под снегом, — о, как я вижу эти нагруженные снегом плечи, всеми российскими снегами нагруженные и усиленные африканские плечи! — плечами в зарю или в метель, прихожу я или ухожу, убегаю или добегаю, стоит с вечной шляпой в руке, называется «Памятник-Пушкина».

Памятник Пушкина был цель и предел прогулки: от памятника Пушкина — до памятника Пушкина. Памятник Пушкина был и цель бега: кто скорей добежит до Памятник-Пушкина. Только Асина нянька иногда, по простоте, сокращала: «А у Пушкина — посидим», — чем неизменно вызывала мою педантическую поправку: «Не у Пушкина, а у

⁵ Отрывки из произведений М. Цветаевой: «Мой Пушкин». СПб., 2006, и «Мать и музыка». СПб., 2001.

⁶ Картина на стене в спальне матери.

ПамятникПушкина».

Памятник Пушкина был и моя первая пространственная мера: от Никитских Ворот до памятника Пушкина — верста, та самая вечная пушкинская верста, верста «Бесов», верста «Зимней дороги», верста всей пушкинской жизни и наших детских хрестоматий, полосатая и торчащая, непонятная и принятая.

Памятник Пушкина был — обиход, такое же действующее лицо детской жизни, как рояль или за окном городской Игнатьев, — кстати, стоявший почти так же непреложно, только не так высоко, — памятник Пушкина был одна из двух (третьей не было) ежедневных неизбежных прогулок — на Патриаршие Пруды — или к Памятник-Пушкину. И я предпочитала — к Памятник-Пушкину, потому что мне нравилось, раскрывая и даже разрывая на бегу мою белую дедушкину карлсбадскую удавочную «кофточку», к нему бежать и, добежав, обходить, а потом, подняв голову, смотреть на чернолицего и чернорукого великана, на меня не глядящего, ни на кого и ни на что в моей жизни не похожего. А иногда просто на одной ноге обскакивать. А бегала я, несмотря на Андрюшину долговязость и Асину невесомость и собственную толстоватость, — лучше их, лучше всех: от чистого чувства чести: добежать, а потом уж лопнуть. Мне приятно, что именно памятник Пушкина был первой победой моего бега.

С памятником Пушкина была и отдельная игра, моя игра, а именно: приставлять к его подножию мизинную, с детский мизинец, белую фарфоровую куколку — они продавались в посудных лавках, кто в конце прошлого века в Москве рос — знает, были гномы под грибами, были дети под зонтами, — приставлять к гигантову подножию такую фигурку и, постепенно проходя взглядом снизу вверх весь гранитный отвес, пока голова не отваливалась, рост — сравнивать.

Памятник Пушкина был и моей первой встречей с черным и белым: такой черный! такая белая! — и так как *черный* был явлен гигантом, а *белый* — комической фигуркой, и так как непременно нужно выбрать, я тогда же и навсегда выбрала черного, а не белого, черное, а не белое: черную думу, черную долю, черную жизнь.

Памятник Пушкина был и моей первой встречей с числом: сколько таких фигурок нужно поставить одна на другую, чтобы получился памятник Пушкина. И ответ был уже тот, что и сейчас: «Сколько ни ставь...» — с горделиво-скромным добавлением: «Вот если бы сто *меня*, тогда — *может*, потому что я ведь еще вырасту...» И, одновременно: «А если одна на другую сто фигурок, выйду — я?» И ответ: «Нет, не потому, что я большая, а потому, что я живая, а они фарфоровые».

Так что Памятник-Пушкина был и моей первой встречей с материалом: чугуном, фарфором, гранитом — и своим.

Памятник Пушкина со мной под ним и фигуркой подо мной был и моим первым наглядным уроком иерархии: я перед фигуркой великан, но я перед Пушкиным — я. То есть маленькая девочка. Но которая вырастет. Я для фигурки — то, что ПамятникПушкина — для меня. Но что же тогда для фигурки — Памятник-Пушкина? И после мучительного думанья — внезапное озарение: а он для нее такой большой, что она его просто не видит. Она думает — дом. Или — гром. А *она* для него — такая уж маленькая, что он ее тоже — просто не видит. Он думает — просто блоха. А меня — видит. Потому что я большая и толстая. И скоро еще подрасту.

Первый урок числа, первый урок масштаба, первый урок материала, первый урок иерархии, первый урок мысли и, главное, наглядное подтверждение всего моего последующего опыта: из тысячи фигурок, даже одна на другую поставленных, не сделаешь Пушкина.

А вот как памятник Пушкина однажды пришел к нам в гости. Я играла в холодной белой зале. Играла, значит — либо сидела под роялем, затылком в уровень кадке с филодендроном, либо безмолвно бегала от ларя к зеркалу, лбом в уровень подзеркальнику.

Позвонили, и залой прошел господин. Из гостиной, куда он прошел, сразу вышла

мать, и мне, тихо: «Муся! Ты видела этого господина?» — «Да». — «Так это — сын Пушкина. Ты ведь знаешь памятник Пушкина? Так это его сын. Почетный опекун. Не уходи и не шуми, а когда пройдет обратно — гляди. Он очень похож на отца. Ты ведь знаешь его отца?»

Время шло. Господин не выходил. Я сидела и не шумела и глядела. Одна на венском стуле, в холодной зале, не смея встать, потому что вдруг — пройдет.

Прошел он — и именно вдруг — но не один, а с отцом и с матерью, и я не знала, куда глядеть, и глядела на мать, но она, перехватив мой взгляд, гневно отшвырнула его на господина, и я успела увидеть, что у него на груди — звезда.

— Ну, Муся, видела сына Пушкина?

— Видела.

— Ну, какой же он?

— У него на груди — звезда.

— Звезда! Мало ли у кого на груди звезда! У тебя какой-то особенный дар смотреть не туда и не на то...

— Так смотри, Муся, запомни, — продолжал уже отец, — что ты нынче, четырех лет от роду, видела сына Пушкина. Потом внукам своим будешь рассказывать.

Внукам я рассказала сразу. Не своим, а единственному внуку, которого я знала, — нянину: Ване, работавшему на оловянном заводе и однажды принесшему мне в подарок собственноручного серебряного голубя. Ваня этот, приходивший по воскресеньям, за чистоту и тихоту, а еще и из уважения к высокому сану няни, был допускаем в детскую, где долго пил чай с баранками, а я от любви к нему и его птичке от него не отходила, ничего не говорила и за него глотала.

«Ваня, а у нас был сын Памятник-Пушкина». — «Что, барышня?» — «У нас был сын Памятник-Пушкина, и папа сказал, чтобы я это тебе сказала». — «Ну, значит, что-нибудь от папаши нужно было, раз пришли...» — неопределенно отозвался Ваня. «Ничего не нужно было, просто с визитом к нашему барину, — вмешалась няня. — Небось сами — полный енерал. Ты Пушкина-то на Тверском знаешь?» — «Знаю». — «Ну, сынок их, значит. Уже в летах, вся борода седая, надвое расчесана. Ваше высокопревосходительство». Так, от материнской обмолвки и няниной скороговорки и от родительского приказа смотреть и помнить — так это у меня и осталось: к нам в гости приходил сын Памятник-Пушкина. Но скоро и неопределенная принадлежность сына стерлась: сын Памятник-Пушкина превратился в сам ПамятникПушкина. К нам в гости приходил сам ПамятникПушкина.

Взрослый в мире ребенка, ребенок в мире взрослого

Отношение взрослых к внутренней жизни ребенка — тонкое и деликатное дело, о котором стоит помнить.

Прежде всего, очень важно *знать* о сокровенной жизни детей, о том, что она есть. Здесь нам на помощь может придти внимательное наблюдение за ребенком, всматривание и вслушивание во все, что он произносит и делает в течение дня, наконец, очень полезно читать воспоминания о детстве. Во-вторых, важно *понимать* и принимать возрастные особенности ребенка, его право и даже необходимость быть другим. И, наконец, совершенно необходимо *беречь* его внутренний мир!

В первом рассказе, взятом из воспоминаний Л. К. Чуковской, мы увидим, как все это делал Корней Иванович Чуковский, общаясь со своими детьми (см. также с. 184).

Л. К. Чуковская. «Коля мечтает»⁷

В Куоккале он не только охотно играл с нами каждый свой свободный час, но и старательно оберегал от посторонних и даже собственных вторжений наши самостоятельные утехы и выдумки — в особенности те, в которых чувствовал ростки одухотворенности, творчества. Коля любил мечтать. И притом в одиночестве.

— Уходи отсюда, — говорил мне Коля. — Разве ты не видишь, я мечтаю.

Нет, это совсем не означало, что он сидел на камне, подперев щеки руками, и мечтательно глядел на облака. «Мечтать» на его языке означало прыгать с камня на камень вдоль берега у самой воды и то прятаться от невидимых врагов, таившихся в засаде, то самому устраивать засаду на них, то кидаться в гущу преследователей, разя их направо и налево. Он без усталости перепрыгивал с камня на камень и, размахивая палкой, которая была по мере надобности и ружьем, и бумерангом, и пикой, и шашкой, быстро негромко и непрерывно выкрикивал:

— И вот они вылетели из густых зарослей. Бах, бах, раздались выстрелы, но ни одна пуля не коснулась его головы! Зато от его пуль не поздоровилось нападавшим! Трах-тах-тах! — неслось из-за скалы, где он залег, прижимая ружье к виску. Убитые падали градом. Лошади поднимались на дыбы и, сбрасывая всадников с седел, в бешеном испуге мчались обратно в прерии.

(«Уходите, — кричал он, заметив меня или Бобу, — разве вы не видите, я тут мечтаю!»)

Десятки тел оставались лежать на земле. Он встал во весь рост и оглядел пустыню. Он знал, что, собравшись с силами, они вернутся. В его распоряжении не более трех минут. Помощи ждать неоткуда. Необходимо укрепить позицию.

И Коля, отбросив палку, начинал, судорожно ползая по песку, стаскивать в одно место песок и камни. Смотреть на него было завидно. Мне тоже хотелось прыгать по камням и прикладывать палку к виску — бах! бах! А он не берет в игру. Ну и не брал бы, пусть, я буду играть сама, но он с берега гонит. Несправедливо! И я бежала домой жаловаться. Но жалоба моя не имела успеха. Наш капитан, предводитель и верховный судья, вчера еще так беспощадно накричавший на Колю за карты, сегодня не хотел ему мешать. Он охранял его беготню по камням. Тут деятельно работали воображение, свежий ветер, литературная память. Это была Ее Величество Игра. Объяснять это все мне в ту пору он, разумеется, не мог, но и обижать ему меня не хотелось.

— Вот что, Лидочек, — говорил он извиняющимся, вкрадчивым голосом. — Давно я тебе ничего не рисовал. Вот, гляди — я буду рисовать, а ты угадывай.

Пером или черным карандашом он рисовал карикатуры — очень меткие. Сразу можно было угадать кто — кто. Впереди носатый булочник в картузе, с черным кругом и плетеной корзиной на голове, — тот самый, что приносит нам по воскресеньям выборгские крендели. Кажется, будто слышишь скрип его корзины. А вот это — репинский дворник, он же кучер. Тот, который позволяет мне заплетать косичками гриву лошади Любы. А вот и сама Люба. Ее старая добрая морда.

Но сегодня я не радовалась картинкам. Будто я не понимаю! Он просто хочет, чтобы я не мешала Коле. И для этого рисует дворника и лошадь.

А Коля захватил весь берег. Все мои любимые камни. И так чуть не каждый день. Сколько раз я уже слышала:

— Боба, Лида, не ходите в ту сторону! Там Коля мечтает!

Не надо мне картинок. Мне нужна справедливость.

«И вот кони сшиблись в богатырской схватке. И вот всадники крючьями вцепились

⁷ Чуковская Л. Памяти детства. М., 2007.

друг другу в пояса... И вот Илья уже летит через гриву лошади — наземь...»

Ребенок особенно легко погружается в свои фантазии, когда остается один. Важно видеть такие моменты и оставлять его в покое. К. И. Чуковский это хорошо понимал. Больше того, он ценил такие состояния, как проявления «одухотворенности и творчества». Но иногда ребенок хочет поделиться своими фантазиями и переживаниями. Вспомним ощущения маленькой Марины: «Но в конце концов любить и не говорить — *разорваться*...» или ее же мольбы о море: «Давай помечтаем!»

Часто дети просят поиграть с ними (в учителя, доктора, дочки-матери) и через игру выражают и проживают свои накопившиеся эмоции. То же происходит и при совместном рассказывании историй или сказок. В таких случаях взрослому приходится проявлять особую осторожность, чтобы не помешать развитию детского сюжета или мысли. Из него можно так много узнать о ребенке того, что он не выражает прямо!

Очень яркий пример устного «сотворчества», а по сути, рассказа детей о себе, своих переживаниях, чувствах мы находим в повести М. Цветаевой «Сказка матери». Фрагменты этого рассказа приведены в моей второй книге, но, признаюсь, было трудно удержаться от того, чтобы здесь не поместить этот очаровательный и очаровывающий текст целиком.

Марина Цветаева. Сказка матери⁸

— Мама, кого ты больше любишь: Мусю или меня? Нет, не говори, что все равно, все равно не бывает, кого-нибудь всегда чу-уточку больше, другого не меньше, но этого чу-уточку больше! Даю тебе честное слово, что я не обижусь (с победоносным взглядом на меня), — если — Мусю. Все, кроме взгляда, было чистейшее лицемерие, ибо и она, и мать, и, главное, я отлично знали — кого, и она только ждала убийственного для меня слова, которого я, покраснев, с не меньшим напряжением ждала, хотя и знала, что не дождусь.

— Кого — больше? Зачем же непременно кого-нибудь больше? — с явным замешательством (и явно оттягивая) — мать. — Как же я могу больше любить тебя или Мусю, раз вы обе мои дочери. Ведь это было бы несправедливо...

— Да, — неуверенно и разочарованно Ася, проглотив уже мой победоносный взгляд. — А все-таки — кого? Ну, хоть чу-уточку, капельку, крошечку, точечку — больше?

— Жила-была мать, у нее были две дочки...

— Муся и я! — быстро перебила Ася. — Муся лучше играла на рояле и лучше ела, а зато Ася... Асе зато вырезали слепую кишку, и она чуть не умерла... и она, как мама, умела свертывать язык трубочкой, а Муся не умела, и вообще она была (с трудом и с апломбом) ми-ни-а-тюрная...

— Да, — подтвердила мать, очевидно не слышавшая и сочинявшая свою сказку дальше, а может быть, думавшая совсем о другом, о сыновьях, например, — две дочери, старшая и младшая.

— А зато старшая скоро состарилась, а младшая всегда была молодая, богатая и потом вышла замуж за генерала, Его Превосходительство, или за фотографа Фишера, — возбужденно продолжала Ася, — а старшая за богадела Осипа, у которого сухая рука, потому что он убил брата огурцом. Да, мама?

— Да, — подтвердила мать.

— А младшая потом еще вышла замуж за князя и за графа, и у нее было четыре лошади: Сахар, Огурчик и Мальчик — одна рыжая, другая белая, другая черная. А старшая — в это время — так состарилась, стала такая грязная и бедная, что Осип ее из богадельни

⁸ Цветаева М. Вольный проезд. Автобиографическая проза. СПб., 2001.

выгнал: взял палку и выгнал. И она стала жить на помойке, и столько ела помойки, что обратилась в желтую собаку, и, вот, раз младшая едет в ландо и видит: такая бедная, гадкая, желтая собака ест на помойке пустую кость, и — она была очень, очень добрая! — ее пожалела: «Садись, собачка, в экипаж!», а та (с ненавистным на меня взглядом) — сразу влезла — и лошади поехали. Но вдруг графиня поглядела на собаку и нечаянно увидела, что у нее глаза не собачьи, а такие гадкие, зеленые, старые, особенные — и вдруг узнала, что это ее старшая, старая сестра, и разом выкинула ее из экипажа — и та разбилась на четыре части вдребезги!

— Да, — снова подтвердила мать. — Отца у них не было, только мать.

— А отец умер — от диабета? Потому что слишком много ел сахару, да и вообще пирожных, разных тортов, кремов, пломбиров, шоколадов, ирисов и таких серебряных конфет со щипчиками, да, мама? Хотя Захарьин ему запретил, потому что это вас сведет в могилу!

— При чем Захарьин, — внезапно очнулась мать, — это было давно, когда еще никакого Захарьина не было, и вообще никаких докторов.

— А слепая кишка была? Ап-пен-ди-цит? Такая маленькая, маленькая кишка, совсем слепая и глухая, и в нее все сыпется: разные кости, и рыбы хребты, и вишневые кости тоже, и кости от компота, и всякие ногти... Мама, а я сама видела, как Муся объела карандаш! Да, да, у нее не было перочинного ножика, и она чинила зубами, а потом глотала, все чинила и глотала, и карандаш стал совсем маленький, так что она даже потом не могла рисовать и за это меня *страшно* ущипнула!

— Врешь! — от негодования и изумления прохрипела я. — Я тебя ущипнула за то, что ты при мне объедала *мой* карандаш, с «Муся» чернилом.

— Ма-ама! — заныла Ася, но, по невыгодности дела, тут же меняя рейс. — А когда человек сказал да, а во рту — нет, то что же он сказал? Он ведь *два* сказал, да, мама? Он пополам сказал? Но если он в эту минуту умрет, то куда же он пойдет?

— Кто куда пойдет? — спросила мать.

— В ад или в рай? Человек. Наполовину враный. В рай?

— Гм... — задумалась мать. — У нас — не знаю. У католиков на это есть чистилище.

— Я знаю! — торжествуя Ася. — Чистильщик Дик, который маленькому Лорду подарил красный фуляр с подковами и лошадиными головами.

— И вот, когда тот разбойник потребовал, чтобы она выбрала, она, обняв их обеих сразу, сказала...

— Мама! — завопила Ася. — Я совсем не знаю, какой разбойник!

— А я знаю! — я, молниеносно. — Разбойник — это враг этой дамы, этой мамы, у которой было две дочери. И это, конечно, он убил их отца. И потом, потому что он был очень злой, захотел еще убить одну из девочек, сначала двух...

— Ма-ама! Как Муся смеет рассказывать твою сказку?

— Сначала двух, но Бог ему запретил, тогда — одну...

— И я знаю *какую*! — Ася.

— Не знаешь, потому что он сам не знал, потому что ему было все равно какую, и он только хотел сделать неприятность той даме — потому что она за него не вышла замуж. Да, мама?

— Может быть, — сказала мать, прислушиваясь, — но я этого и сама не знала.

— Потому что он был в нее *влюблен*! — торжествовала я, и уже безудержно: — И ему лучше было ее видеть в могиле, чем...

— Какие африканские страсти! — сказала мать. — Откуда это у тебя?

— Из Пушкина. Но я другому отдана, но буду век ему верна. (И после краткой проверки.) Нет, кажется, из «Цыган».

— А по-моему, из «Курьера», который я тебе запретила читать.

— Нет, мама, в «Курьере» — совсем другое. В «Курьере» были эльфы, то есть сильфы, и они кружились на поляне, а молодой человек, который ночевал в копне сена, потому что его проклял отец, вдруг влюбился в самую главную сильфиду, потому что она походила на молочную сестру, которая утонула.

— Мама, что такое молочная сестра? — спросила присмирившая, подавленная моим превосходством Ася.

— Дочь кормилицы.

— А у меня есть молочная сестра?

Мать, на меня:

— Вот.

— Фу! — сказала Ася.

— А Ася, мама, не моя, правда, мама?

— Не твоя, — подтвердила мать. — Потому что Асю кормила я, а тебя — кормилица. Твоя молочная сестра — дочь твоей кормилицы. Только у твоей кормилицы — был сын. Она была цыганка и очень злая и страшно жадная, до того жадная, что, когда дедушка ей однажды вместо золотых серег подарил позолоченные, она вырвала их из ушей и так втоптала в паркет, что потом ничего не могли найти.

— А у тех девочек, которых потом убили, сколько было кормилиц? — спросила Ася.

— Ни одной, — ответила мать, — их мать кормила сама, потому, может быть, так и любила и ни одной не могла выбрать и сказала тому разбойнику: «Выбрать я не могу и никогда не выберу. Убей нас всех сразу». — «Нет, — сказал разбойник, — я хочу, чтобы ты долго мучилась, а обеих я не убью, чтобы ты вечно мучилась, что эту — *выбрала*, а ту... Ну, которую же?» — «Нет, — сказала мать. — Скорей *ты* умрешь, здесь передо мной стоя, от старости или от ненависти, чем я — сама осужу одну из моих дочерей на смерть».

— А кого, мама, она все-таки больше жалела? — не вытерпела Ася. — Потому что одна была болезненная... плохо ела, и котлет не ела, и бобов не ела, а от наваги ее даже тошнило...

— Да! А когда ей давали икру, она мазала ее под скатерть, а селедку жеваную выплевывала Августе Ивановне в руку... и вообще под ее стулом всегда была помойка, — я, с ненавистью.

— Но чтобы она нечаянно не умерла с голоду, мама становилась перед ней на колени и говорила: «Ну ррради Бога, еще один кусочек: открой, душенька, ротик, я тебе положу этот кусочек!» Значит, мама ее — больше любила!

— Может быть... — честно сказала мать, — то есть больше — жалела, хотя бы за то, что так плохо выкормила.

— Мама, не забудь про аппендицит! — взволнованно, Ася. — Потому что у младшей, когда ей стукнуло четыре года, — тогда она стукнулась об камень, и у нее сделался аппендицит — и она бы, наверное, умерла — но ночью приехал доктор Ярхо — из Москвы — и даже без шапки и без зонтика, — а шел даже град! — и он был совершенно мокрый. Это — правда — мама, *святой* человек?

— Святой, — убежденно сказала мать, — я святее не встречала. И притом — совершенно больной, и мог бы тогда простудиться насмерть, — ведь *какая* гроза! И еще, бедный, тогда так упал перед самой дачей...

— Мама! А почему у него не сделалась слепая кишка? Потому что он доктор — да? А когда доктор заболит — кто его спасет? Просто — Бог?

— Всегда — Бог. И тогда тебя — Бог. Через доктора Ярхо.

— Мама, — я, устав слушать про Асю, — а почему, если он святой, он всегда говорит вместо живот — *пузо*? «Что, Муся, опять пузо болит?» Ведь это неприлично?

— *Непривычно*, — сказала мать. — Может быть, его в детстве так научили?... Конечно, странно. Но с таким сердцем и все позволено. И не то позволено. И я всегда, пока сама жива буду, буду ставить за его здоровье свечу.

— Мама, а что же те девочки, так и остались незарезанные? — после долгого общего

молчания спросила Ася. — Или ему просто надоело, что она так долго думает, и он так — ушел?

— Не ушел, — сказала мать. — Не ушел, а сказал ей следующее: «Зажжем в церкви две свечи, одна будет...»

— Муся! А другая Ася!

— Нет, имен в этой сказке нет. «...левая будет старшая, а правая младшая. Которая скорее догорит, ту и...» Ну, вот. Взяли две свечи, совершенно одинаковых...

— Мама! Одинаковых не бывает. Одна была все-таки чу-уточку, кро-охотку...

— Нет, Ася, — уже строго сказала мать, — я тебе говорю, совершенно одинаковые. «Сама зажигай», — сказал разбойник. Мать, перекрестясь, зажгла. И свечи стали гореть — ровно-ровно и даже как будто не уменьшаясь. Уж ночь наступила, а свечи все горят: одна другой не меньше, не больше, две свечи — как два близнеца. Бог их знает, сколько еще времени будут гореть. Тогда разбойник сказал: «Иди к себе, а я пойду к себе, а утром, как только солнце встанет, мы оба придем сюда. Кто первый придет — другого будет ждать».

Вышли и заперли дверь на огромный замок, а ключ положили под камень.

— А разбойник, мама, конечно, раньше прибежал? — Ася.

— Погоди! Настало утро, взошло солнце. И вот, один другого не раньше, один другого не позже — с двух разных сторон — разбойник слева, мать справа — потому что от церкви расходились две совершенно одинаковых дороги, как две руки, как два крыла — и вот по разным дорогам, с двух разных сторон, шаг в шаг, секунда в секунду к церкви — а против церкви — солнце вставало — разбойник и мать. Открывают замок, входят в церковь, и...

— Одна свечка совсем сгорела: че-ерная! А другая еще чу-уточку... — взволнованно Ася.

— Две черные, — трезво я. — Потому что, конечно, за целую ночь обе-две сгорели, но так как никто не видел, — то все опять сначала.

— Нет. Обе свечи горели ровно, одна другой не меньше, одна другой не больше, нисколько не сгорев, ни на столечко не сгорев... Как вчера поставили — так и стояли. И мать стояла, и разбойник стоял, и сколько они так стояли — неизвестно, но когда она опомнилась — разбойника не было — как и куда ушел — неизвестно. Не дождались его и в его разбойничьем замке. Только через несколько лет в народе пошел слух о каком-то святом отшельнике, живущем в пещере, и...

— Мама! Это был — разбойник! — закричала я. — Это всегда так бывает. Он, конечно, стал самым хорошим на земле, после Бога! Только — ужасно жаль.

— Что — жаль? — спросила мать.

— Разбойника! Потому что когда он так, как побитая собака, — поплелся — ни с чем! — она, конечно... я *бы*, конечно, его страшно полюбила: взяла бы его в дом, а потом бы непременно на нем женилась.

— Вышла бы за него замуж, — поправила мать. — Женятся — мужчины.

— Потому что она его и *вперед* любила, только она уже была замужем, как Татьяна.

— Да, но ты совершенно забыла, что он убил ее мужа, — сказала мать взволнованно, — разве можно выходить замуж за убийцу отца своих детей...

— Нет, — сказала я. — Ей бы по ночам было бы очень страшно, потому что тот бы стал являться к ней с отрубленной головой. И всякие звуки бы начались. И, может быть, дети бы заболели... Тогда, мама, я бы сама стала отшельником и поселилась в канаве...

— А дети? — спросила мать глубоко-глубоко. — Разве можно бросить детей?

— Ну, *тогда*, мама, я стала бы писать ему стихи в тетрадку!

Детям трудно, а до некоторого возраста и невозможно «адекватно» реагировать на известных людей, так называемых знаменитостей. Собственно говоря, а что значит «адекватно»? Нет ли в детском восприятии большой доли правды: знаменитость ведь тоже человек! Об этом — в следующем отрывке из тех же воспоминаний Л. К. Чуковской.

Л. К. Чуковская. «Люди как люди!»

Разбуженная, моя память оказывается на удивление инфантильной. В именитых людях, посещавших наш дом по воскресеньям, а иногда и в другие дни недели, она сохранила черты не основные, а побочные, не главные, а случайные. Не те, какие в прославленном человеке интересны взрослому, а те, какие в каждом прохожем интересны ребенку. Если мимо шагает прохожий, ведя на цепочке собаку, то всякий ребенок заинтересуется сначала собакой, а уж потом — человеком. Лошадь, которую ты гладил в детстве по шелковой шерсти и кормил сахаром с ладони, — она незабвенна. А уж первая белка! Репин. Мастерская. Помню холсты на мольбертах, много Пушкиных, Шаляпина, помню каких-то черных загорелых людей, размашисто гребущих в широкой лодке среди волн. Помню Репина за письменным столом у Корнея Ивановича, изображающим кого-то в «Чукоккале» папиросным окурком, который он макает в чернильницу. Но мне семь лет, и гораздо более, чем о портретах, картинах, кистях, холстах и таком странном орудии, как окурки, я думаю о том: правда ли рассказывают, будто репинский Мик кинулся недавно во дворе у соседей на живую курицу? и съел ее? Собаки не могут без мяса, а жена Репина, Наталья Борисовна, ни мяса не ест, ни молока не пьет и никому не позволяет — не только гостям, но и Репину самому, а Мика перевела на одни каши... вот с горя он и бросился на курицу. Интересно, съел ли он ее и как? Разорвал в клочки или проглотил живьем? Это ужасно занимает меня и Бобу. И в мастерской у Репина нас не более занимают картины, чем жгучий вопрос: если тут играть в прятки — не будут ли видны ноги из-за пышных занавесей, опущенных над холстами? И еще: позволит ли мне кучер снова заплетать в косички гриву репинской лошади Любы, чтобы волосы не падали ей на глаза? И самое главное: правду ли Репин сказал мне, что к нему в парк каждый день приходит белка? Спросить не решаюсь, а мне смерть как хочется знать. Помню моторную яхту, которая никак не могла пристать к нашему берегу: мелко! и матроса в бескозырке с золотой ленточкой, и лодку, которая была спущена с яхты и называлась шлюпкой, и человека в белом свитере и с биноклем через плечо, о котором я слышала столько разговоров кругом: Леонид Андреев. Но я на него еле взглянула. Гораздо больше занял меня матрос. Тельняшка. Трепещущая на ветру ленточка с золотыми буквами «Дальний». Первый мотор и первый матрос в жизни. Звук мотора, стучащий, мертвый, чуждый плеску волн, синеве, тишине. Помню день, когда Корнея Ивановича навестил гостивший в «Пенатах» Шаляпин. Пения его слышать мне не довелось; но, когда он поднимался в кабинет на второй этаж, я в недоумении глянула в окно: мне показалось, там, в саду, зашумели деревья. Это он напевал себе под нос, поднимаясь по лестнице. Поразило меня, что он не только шире в плечах, крупнее, огромное нашего отца, но и выше его на целую голову. «Полтора папы». В кабинете за ними закрылась дверь, и прямо носом в дверь уткнулась, застыла собака: широкогрудая, зубы наружу и в попоне с бубенчиками. Она ни на секунду не отходила от двери, за которой скрылся хозяин. Я впервые видела собаку в попоне... Она была противная, хрипела, сопела... У Шаляпина был лакей-китаец; первый мой китаец в жизни: с длинной косой, в шароварах. Он обращался со мной изысканно вежливо, как со взрослой дамой, чем очень меня конфузил; а Коле дарил китайские марки для альбома. Мы то и дело бегали к нему в репинскую дворницкую, влекомые желтым лицом, косой, шароварами, поклонами.

В Андрееве более всего поразила меня матрос и моторка, в Шаляпине — китаец и собака с бубенчиками. И матрос, и моторка, и собака — были впервые в жизни. Правда, и Леонид Андреев и Шаляпин были тоже впервые, но в них-то что особенного? Писатель, артист, значит, люди как люди, заурядные, обыкновенные, привычные. А вот матрос! А вот лакей, да еще китаец! Это — невидаль. Что же касается всесветной известности Андреева, Репина или Шаляпина, то, к счастью, «воздух искусства» оставлял нас детьми и не учил

пялить глаза на знаменитостей. Понятие славы было невнятно нам. Да и знаменитости умели вести себя так, будто им решительно ничего не ведомо о собственной славе.

Разумеется, Корней Иванович был доволен, что присутствие Леонида Андреева или Шаляпина не заставляло нас чувствовать себя какими-то особенными: «а у нас Шаляпин был!». Он ведь так и хотел: «дети как дети». Для этого, чтобы мы оставались детьми, были и шарады, и лодка, и босоноготь, и городки, и лыжи, и путешествия. И в то же время, как я понимаю теперь, он, преклонявшийся перед талантом, был несколько смущен и даже шокирован, убеждаясь, что изобилие знаменитостей, постоянно посещавших наш дом, делало их в наших глазах заурядными. Стирало с них чудесность. Мы утрачивали ощущение счастья в их присутствии — ощущение, какого сам он не терял никогда. Репин? Ну и что с того: Репин. Короленко? «Да, папа, я забыл, — докладывал Коля, — когда тебя не было дома, заезжал Владимир Галактионович... Представь себе, он на велосипеде, прислонил велосипед к забору и пошел к нам... Просил тебе передать... А как ты думаешь, кто быстрее: самый медленный поезд или самый быстрый велосипед?»

Ему иногда казалось: перед нашими глазами пересыпают драгоценные камни, а мы как бы не видим их блеска и предпочитаем играть с мальчишками или девчонками в камешки на берегу.

И хорошо. Это нам по возрасту: в камешки... Но все же...

Беспокоился он напрасно. Помню, через десятилетия, когда мне было уже не семь, а тридцать, я однажды сказала ему, что часто встречаюсь теперь с Анной Ахматовой (когда-то сам же он мельком меня с ней познакомил). В ответ он спросил требовательно-встревоженным голосом:

— Я надеюсь, ты понимаешь, что следует записывать каждое ее слово?

Я понимала. И этим пониманием обязана я ему, его отношению к поэзии и культуре, его чувству преемственности, «Чукоккале», тому утру, когда я увидела, с какой осторожностью прикасается он к подлинным рукописям Некрасова.

Чувство значимости мастера, художника приходит с возрастом, когда человек способен воспринять его вклад в культуру, и еще больше — внутренне откликнуться на него. Но ребенок еще не обременен ни знаниями, ни запасом культурного опыта, ни тем более представлениями о славе. В отличие от взрослого, он совсем не робеет перед «великими». Очень похожий пример можно прочесть в воспоминаниях Агаты Кристи.

Агата Кристи. «В моей памяти осталось...»

В дни моей юности к нам часто приходили очень интересные люди, и жаль, что я не обращала на них внимания.

Все, что я помню о Генри Джеймсе, — это сетования мамы на то, что во время чая он всегда разламывал пополам кусок сахара, — чистое притворство, как будто не было другого, маленького.

Приходил Редьярд Киплинг, и опять в моей памяти осталось лишь, как мама с подругой обсуждают, почему же он в свое время женился на миссис Киплинг. Обсуждение кончилось тем, что мамина подруга сказала:

— Я знаю почему. Они прекрасно дополняют друг друга.

Приняв слово *complement* за *compliment*, я нашла это заключение совершенно бессмысленным. Но когда Няня в один прекрасный день объяснила мне, что самый большой комплимент, который джентльмен может сделать даме, — это предложить ей руку и сердце, все встало на место.

Хотя я всегда присутствовала на чаепитиях, одетая, как сейчас помню, в белое муслиновое платье, перепоясанное желтой атласной лентой, гости не запечатлелись в моей памяти. Люди, которых я придумывала, всегда были для меня более реальными, чем

настоящие.

Зато я очень хорошо помню близкую подругу моей мамы, мисс Тауэр, главным образом потому, что она постоянно делала мне больно, и я стремилась избежать встречи с ней. У нее была привычка набрасываться на меня с поцелуями и при этом восклицать:

— Сейчас я тебя съем!

Я всегда опасалась, что она действительно может съесть меня. Всю жизнь я тщательно следила за тем, чтобы не кидаться на детей с непрошеными поцелуями. Бедные малышки, ведь они совершенно беззащитны. Дорогая мисс Тауэр, добрая, сердечная, она любила детей, но так мало задумывалась над их чувствами.

Глава 2 От увлечения к призванию

К. С. Станиславский *Детство*
Тур Хейердал «Я — часть природы»
С. С. Прокофьев «Музыку в доме я слышал от рождения»
Ричард Фейнман «Он станет ученым».
Марина Цветаева «Пушкин был мой первый поэт»

Дети — народ очень восприимчивый и эмоциональный. Нередко ранние детские впечатления перерастают в стойкий интерес, а потом и в настоящее жизненное призвание. Родителей и ученых давно занимает вопрос: ранний интерес — это проявление «заложенных» способностей или результат «внешних воздействий»? Ждать, когда наука точно ответит на вопрос о доле «генов» в способностях, не приходится. К тому же многие знания о том, как появляются и набирают силу таланты, можно найти в биографиях и автобиографиях. Воспоминания людей о собственном детстве — драгоценный подарок для ищущих родителей и озадаченных психологов.

В этой главе помещены отрывки из воспоминаний известных людей, нашедших себя в разных профессиях: артиста и режиссера (*К. С. Станиславского*), естествоиспытателя-путешественника (*Т. Хейердала*), музыканта (*С. С. Прокофьева*), физика (*Р. Фейнмана*), писателя и поэта (*М. Цветаевой*). Они жили в разные исторические эпохи, в разных странах, в семьях разного материального положения и разной культуры. Но есть много общего в судьбах зарождения и развития способностей этих детей.

Во-первых, бросается в глаза готовность детей удивляться и очаровываться, казалось бы, обычными предметами, событиями или явлениями природы. Во-вторых, получив эмоциональный «заряд»

88 ГЛАВА 2. От увлечения к призванию от такого впечатления, они начинают проявлять удивительную настойчивость в активном «добывании» того, что для них оказалось важным и нужным. И такая активность постепенно превращается в стойкий интерес, а потом, возможно, и в профессию. Для нас важно проследить, какое участие в развитии интереса ребенка принимали родители таких детей. Мы увидим, что это участие было очень разным. Одни родители предоставляли ребенку относительную свободу, не вмешиваясь в его «выдумки» и занятия, другие — сочувственно наблюдали со стороны; третьи — шли навстречу просьбам и активно помогали; а были и те, которые увлекались сами и увлекали своим энтузиазмом. Но во всех случаях, по воспоминаниям детей, они получали от родителей то, что мы можем назвать доброжелательным принятием, а еще — созданием «обогащенной среды», в которой находилась пища для пытливого ума и эмоциональной увлеченности ребенка.

К. С. Станиславский Детство⁹

Константин Сергеевич Станиславский (1863–1938) — известный русский театральный режиссер, актер, театральный педагог. Родился в Москве, по рождению и воспитанию принадлежал к высшему кругу русских промышленников. В семье увлекались театром, в московском доме был специально перестроенный для театральных представлений зал. В 1898 году совместно с Немировичем-Данченко основал Московский художественный театр. В 1936 году К. С. Станиславскому было присвоено звание Народного артиста СССР.

Мы открываем этот раздел отрывками из книги К. С. Станиславского «Моя жизнь в искусстве». Это автобиографическое повествование автор начал писать в 60-летнем возрасте. За плечами стояли десятилетия напряженной жизни и работы. Здесь, на первых страницах воспоминаний мы узнаем о том, «как все начиналось».

Ранние воспоминания

Я родился в Москве в 1863 году. Мои отец и мать не любили светской жизни и выезжали только в крайних случаях. Они были домоседы. Мать проводила свою жизнь в детской, отдавшись целиком нам, ее детям, которых было десять человек.

Мои родители были влюблены друг в друга и в молодости, и под старость. Они были также влюблены и в своих детей, которых старались держать поближе к себе.

Из моего далекого прошлого я помню ярче всего мои собственные крестины, конечно, созданные в воображении, по рассказам няни.

Другое яркое воспоминание из далекого прошлого относится к моему первому сценическому выступлению. Это было на даче в имении Любимовка, в тридцати верстах от Москвы, около полустанка Тарасовка Ярославской ж. д. Спектакль происходил в небольшом флигеле, стоявшем во дворе усадьбы. В арке полуразвалившегося домика была устроена маленькая сценка с занавесью из пледов. Как полагается, были поставлены живые картины «Четыре времени года». Я — не то трех-, не то четырехлетним ребенком — изображал зиму. Как всегда в этих случаях, посреди сцены ставили срубленную небольшую ель, которую обкладывали кусками ваты. На полу, укутанный в шубу, в меховой шапке на голове, с длинной привязанной седой бородой и усами, постоянно всползавшими вверх, сидел я и не понимал, куда мне нужно смотреть и что мне нужно делать. Ощущение неловкости при бессмысленном бездействии на сцене, вероятно, почувствовалось мною бессознательно еще тогда, и с тех пор и по сие время я больше всего боюсь его на подмостках. После аплодисментов, которые мне очень понравились, на бис мне дали другую позу. Передо мной зажгли свечу, скрытую в хворосте, изображавшем костер, а в руки мне дали деревяшку, которую я, как будто, совал в огонь.

«Понимаешь? Как будто, а не в самом деле!» — объяснили мне.

При этом было строжайше запрещено подносить деревяшку к огню. Все это мне казалось бессмысленным. «Зачем как будто, если я могу по-всамделишному положить деревяшку в костер?»

⁹ Станиславский К. С. Моя жизнь в искусстве (1925).

Не успели открыть занавес на бис, как я с большим интересом и любопытством потянул руку с деревяшкой к огню. Мне казалось, что это было вполне естественное и логическое действие, в котором был смысл. Еще естественнее было то, что вата загорелась, и вспыхнул пожар. Все всполошились и подняли крик. Меня схватили и унесли через двор в дом, в детскую, а я горько плакал.

После того вечера во мне живут, с одной стороны, впечатления приятности успеха и осмысленного пребывания и действия на сцене, а с другой стороны — неприятности провала, неловкости бездействия и бессмысленного сидения перед толпой зрителей.

Цирк

Воспоминания о более поздних детских чувствованиях еще ярче врезались в душу. Они относятся к области артистических потребностей и переживаний. Стоит мне теперь воскресить в памяти обстановку прежней детской жизни, и я снова точно молодею и ощущаю знакомые чувства.

Вот канун и утро праздника; впереди день свободы. Утром можно встать поздно, а затем — день, полный радостей; они необходимы, чтобы поддержать энергию на предстоящий длинный ряд безрадостных учебных дней, скучных вечеров. Природа требует веселья в праздник, и всякий, кто этому мешает, вызывает в душе злость, недобрые чувства, а тот, кто этому способствует, — нежную благодарность.

За утренним чаем родители нам объявляют, что сегодня надо ехать с визитом к тетке (скучной, как все тетки), или, — еще того хуже, — что после завтрака к нам приедут гости — нелюбимые нами двоюродные братья и сестры. Мы столбенеет, теряемся. С таким трудом дожили мы до свободного дня, а у нас отняли его и сделали скучные будни. Как дотянуть до будущего праздника?

Раз сегодняшний день пропал, единственная надежда, какая нам остается, — вечер. Кто знает, может быть, отец, который лучше всех понимает детские потребности, уже позаботился о ложе в цирк или хотя бы в балет, или даже, на худой конец, в оперу. Ну, пусть даже в драму... Билетами в цирк или в театр ведал управляющий домом. Расспрашиваешь, где он. Уехал? Куда? Направо или налево? Отдавали ли приказ кучерам беречь битюгов (большие, сильные лошади)? Если да, — хороший признак. Значит, нужна большая четырехместная карета — та самая, в которой возят детей в театр. Если же битюги уже ходили днем, — плохой признак. Ни цирка, ни театра не будет.

Но управляющий вернулся, вошел в кабинет к отцу и передал ему что-то из бумажника. Что же, что? Подкарауливаешь: лишь только отец выйдет из кабинета, скорей к письменному столу. Но на нем, кроме скучных деловых бумаг, не находишь ничего. Сердце заныло! А если заметишь желтую или красную бумажку, т. е. билет в цирк, — тогда сердце забьется так, что слышны удары, и все кругом засияет. Тогда и тетка, и двоюродный брат не кажутся такими скучными. Наоборот, любезничаешь с гостями вовсю, для того чтобы вечером, во время обеда, отец мог сказать:

«Сегодня мальчики так хорошо принимали гостей, так милы были с тетей, что можно им доставить одно маленькое (а может быть, и большое!) удовольствие. Как вы думаете, какое?»

Красные от волнения, с кусками пищи, остановившимися в горле, мы ждали, что будет дальше.

Отец молча лезет в боковой карман, медленно, с выдержкой, ищет там чего-то, но не находит. Не в силах больше ждать, мы вскакиваем, бросаемся к отцу, окружаем его, в то время как гувернантка кричит нам строго:

«Enfants, écoutez donc ce qu'on vous dit. On ne quitte pas sa place pendant le dîner!» (Дети, слушайте, что вам говорят. Из-за стола не встают во время обеда!)

Тем временем отец лезет в другой карман, шарит в нем, достает портмоне, не спеша выворачивает карманы — и там ничего.

«Потерял!» — восклицает он, весьма естественно играя свою роль.

Кровь бежит вниз от щек до самых пяток. Нас уже ведут и усаживают на места. Но мы не отрываем глаз от отца. Проверяем по глазам братьев и товарищей: что это, шутка или правда? Но отец вытащил что-то из кармана жилета и говорит, коварно улыбаясь:

«Вот он! Нашел!» — и машет красным билетом в воздухе.

Тут никто не в силах нас удержать. Мы вскакиваем из-за стола, танцуем, топаем ногами, машем салфетками, обнимаем отца, виснем у него на шее, целуем и нежно любим его.

С этого момента начинаются новые заботы: не опоздать бы!

Ешь, не прожевывая, не дожدهшься, чтоб кончился обед, потом бежишь в детскую, срываешь домашнюю и с почтением надеваешь праздничную куртку. А потом сидишь, ждешь и мучаешься, чтоб отец не опоздал. Он любит вздремнуть за послеобеденным кофе в опустевшей комнате. Как разбудить его?.. Ходишь мимо, топаешь ногами, уронишь какую-нибудь вещь или закричишь в соседней комнате, делая вид, что не знаешь о том, что он рядом. Но у отца был крепкий сон.

«Опаздываем! Опаздываем!» — волновались мы, поминутно бегая к большим часам. — К увертюре не поспеем, это ясно!»

Пропустить цирковую увертюру! Это ли не жертва!

«Сейчас уже семь часов!» — восклицали мы. Пока отец проснется, оденется, — того гляди начнет бриться, — будет уж по меньшей мере семь двадцать. И мы понимали, что дело шло уже о пропуске не одной только увертюры, но и первого номера программы: «*Voltige arretee*, исполнит Чинизелли младший». Как мы ему завидовали!.. Надо спасти вечер. Пойти повздыхать рядом с комнатой матери. В эту минуту она казалась добрее отца. Пошли, поохали, повосклицали. Мать поняла наш маневр и отправилась будить отца.

«Коли хочешь баловать мальчиков, так уж балуй, а не томи, — говорит она отцу. — *Tu l'as voulu, Georges Dandin!*»¹⁰ Поезжай-ка на работу!»

Отец встал, потянулся, поцеловал мать и пошел сонной походкой. А мы, как пули, ринулись вниз — велеть подавать экипаж, упрашивать кучера Алексея, чтобы ехал скорее. Сидим в четырехместной карете, болтаем ногами, — это облегчало ожидание: все-таки как будто движение. А отца все нет и нет. Уже в душе растет к нему недоброе чувство, а благодарности нет и следа. Наконец дождались. Отец сел; карета, скрипя колесами по снегу, тихо двигается, качаясь на ухабах; от нетерпения помогаешь ей собственным подталкиванием. Совершенно неожиданно вдруг карета останавливается. Приехали!.. Не только второй номер, но и третий номер программы кончился. К счастью, наши любимцы Морено, Мариани и Инзерти еще не выступали. *Она, она* — тоже. Наша ложа оказалась рядом с выходом артистов. Отсюда можно наблюдать за тем, что делается за кулисами, в частной жизни этих непонятных, удивительных людей, которые живут всегда рядом со смертью и шутя рискуют собой. Неужели они не волнуются перед выходом? А вдруг это последняя минута их жизни! Но они спокойны, говорят о пустяках, о деньгах, об ужине. Герои!

Музыка заиграла знакомую польку, — это *ее* номер. «*Danse de chale*»¹¹ — исполнит партер и на лошади девица Эльвира. Вот и она сама. Товарищи знают секрет: это мой номер, моя девица, — и все привилегии мне: лучший бинокль, больше места, каждый шепчет поздравление. Действительно, она сегодня очень мила. По окончании своего номера Эльвира выходит на вызовы и пробегает мимо меня, в двух шагах. Эта близость кружит голову, хочется выкинуть что-то особенное, и вот я выбегаю из ложи, целую ей платье и снова,

¹⁰ «Ты этого хотел, Жорж Данден!» — фраза из комедии Мольера «Жорж Данден». (Ред.)

¹¹ Танец с шалью (франц.)

скорей, на свой стул. Сижу, точно приговоренный, боясь шевельнуться и готовый расплакаться. Товарищи одобряют, а сзади отец смеется:

«Поздравляю, конечно! — шутит он. — Костя — жених! Когда свадьба?»

Последний, самый скучный номер — «кадриль верхом на лошадях, исполнит вся труппа». После него наступает предстоящая неделя с длинным рядом безрадостных, унылых дней, без надежды вернуться сюда в следующее воскресенье. Мать не позволяет часто баловать детей. А цирк — это самое лучшее место во всем мире!

Чтобы продлить удовольствие и подольше пожить приятными воспоминаниями, назначаешь тайное свидание товарищу:

«Непременно, обязательно приходи!»

«Что будет?»

«Приходи, увидишь. Очень важно!»

На следующий день приходит друг, мы удаляемся в темную комнату, и я ему открываю великую тайну о том, что я решил, как только вырасту, стать директором цирка. Для того чтобы не было возврата после моего обещания, надо закрепить решение клятвой. Мы снимаем образ со стены, и я торжественно клянусь, что буду непременно цирковым директором. Потом обсуждается программа будущих представлений моего цирка. Составляется список труппы из лучших имен наездников, клоунов, жокеев.

В ожидании открытия моего цирка мы решили назначить частный домашний спектакль — для практики. Намечаем временную труппу из братьев, сестер, товарищей; распределяем номера и роли.

«Жеребец, дрессированный на свободе: директор и дрессировщик — я, а ты — жеребец! Потом я буду играть рыжего — пока вы будете стелить ковер. Потом — музыкальные клоуны».

На правах директора я забрал себе лучшие роли, и мне уступали их, потому что я — профессионал: я клялся, мне нет поворота назад. Представление назначается на ближайшее воскресенье, так как нет никакой надежды на то, что нас повезут в цирк или даже в балет.

В свободные от уроков часы и вечера нам стало много дела. Во-первых, напечатать билеты и деньги, которыми будут нам платить за них. Устроить кассу, т. е. затянуть дверь пледом, оставив небольшое окно, у которого придется дежурить целый день спектакля. Это очень важно, так как настоящая касса, пожалуй, больше всего дает иллюзию подлинного цирка. Надо подумать и о костюмах, и о кругах, затянутых тонкой бумагой, сквозь которые мы будем прыгать в «pas de chale», и о веревках, и о палках, которые должны служить барьерами для дрессированных лошадей; надо подумать и о музыке. Это самая больная часть представления. Дело в том, что брат, который один мог заменить оркестр, — чрезвычайно беспечен, недисциплинирован. Он не смотрел на наше дело серьезно и потому бог знает что мог выкинуть. Бывало, играет, играет, а потом, вдруг, при всей публике — возьмет, да и ляжет на пол посреди зала, задерет ноги кверху и начнет орать:

«Не хочу больше играть!»

В конце концов, за плитку шоколада он, конечно, заиграет. Но ведь спектакль уж испорчен этой глупой выходкой, потеряна его «всамделишность». А это для нас — самое важное. Надо верить, что все это по-серьезному, по-настоящему, а без этого — неинтересно.

Публики собирается мало. Конечно, всегда одни и те же, домашние. На свете не существует самого плохого театра или актера, которые не имели бы своих поклонников. Они убеждены, что кроме них никто не понимает скрытых талантов их протеже, все другие люди не доросли до этого. И у нас были свои поклонники, которые следили за нашими спектаклями и ради собственного (а не нашего, заметьте) удовольствия приходили на них. Одним из таких «ярых» был старый бухгалтер отца, и за это он имел у нас в цирке почетное место, что очень ему льстило.

Чтоб поддержать работу в кассе, многие из нашей доморощенной публики в течение всего дня брали билеты; потом, как будто, их теряли, потом приходили с заявлением в кассу. О каждом случае велась обстоятельная беседа, спрашивали распоряжения директора, т. е.

меня, я отрывался от дела, приходил в кассу, отказывал или разрешал дать пропуск. На случай выдачи контрамарок существовала другая книжка с номерами и заголовками на билетах:

«Цирк Констанцо Алексеева».

В день спектакля мы приступали к гримированию и костюмированию за много часов до начала. Куртки и жилеты закалывались наподобие фрака. Клоунский костюм делался из длинной женской сорочки, которая завязывалась у щиколотки, образуя нечто вроде широких панталон. Выпрашивался отцовский старый цилиндр для «директора и дрессировщика», т. е. для меня; бумажные клоунские колпаки заготавливались тут же. Завернутые до колен штаны и голые ноги изображали костюмы цирковых акробатов в трико. С помощью сала, пудры и свеклы белилось лицо, румянились щеки и красились губы, а углем подрисовывались брови и треугольники на щеках для клоунского грима. Спектакль начинался чинно, но после обычного скандала брата публики расходилась, и представление обрывалось. На душе оставалась окись, а впереди — длинный-длинный ряд унылых дней, вечеров предстоящей учебной недели. И опять создаешь светлую перспективу для предстоящего воскресенья: на этот раз можно рассчитывать на поездку в цирк или театр.

И снова наступает воскресенье, и снова томление и догадки в течение дня, и снова радость во время обеда. На этот раз — театр. Поездка туда не то, что в цирк. Это куда серьезнее. Этой экспедицией управляет сама мать. Нас предварительно моют, одевают в шелковые русские рубахи с бархатными шароварами и замшевыми сапогами. На руки натягивают белые перчатки и строго-настрого наказывают, чтобы по возвращении домой из театра перчатки оставались белыми, а не совершенно черными, как это обыкновенно случается. Понятно, что мы весь вечер ходим с растопыренными пальцами рук, держа ладони далеко от собственного туловища, дабы не запачкаться. Но вдруг забудешься и схватишь шоколад или помнешь в руках афишу с большими черными буквами невысохшей печати. Или от волнения начнешь тереть рукою грязный бархатный барьер ложи, — и вместо белой тотчас же перчатка делается темно-серой с черными пятнами.

Сама мать надевает парадное платье и становится необыкновенно красивой. Я любил сидеть подле ее туалета и наблюдать, как она причесывалась. На этот раз берут с собой приглашенных детей прислуги или бедных опекаемых. Одной кареты не хватает, и мы едем, точно пикником, в нескольких экипажах. С нами везут специально сделанную доску. Она кладется на два широко расставленных стула, на эту доску усаживают подряд человек восемь детей, которые напоминают воробьев, сидящих рядом на заборе. Сзади в ложе садятся няни, гувернантки, горничные, а в аванложе мать готовит нам угощение для антракта, разливает чай, привезенный для детей в особых бутылках. Тут же к ней приходят знакомые, чтобы полюбоваться нами. Нас представляют, но мы никого не видим среди огромного пространства нашего золотого красавца — Большого театра. Запах газа, которым тогда освещались театры и цирки, производил на меня магическое действие. Этот запах, связанный с моими представлениями о театре и получаемых в нем наслаждениях, дурманил и вызывал сильное волнение.

Огромный зал с многотысячной толпой, расположенной внизу, вверху, по бокам, непрекращающийся до начала спектакля и во время антрактов гул людских голосов, настраиванье оркестровых инструментов, постепенно темнеющий зал и первые звуки оркестра, взвывающийся занавес, огромная сцена, на которой люди кажутся маленькими, провалы, огонь, бушующее море из крашеного холста, тонущий бутафорский корабль, десятки больших и малых фонтанов живой воды, плывущие по дну моря рыбы, огромный кит — заставляли меня краснеть, бледнеть, обливаться потом или слезами, холодеть, особенно когда похищенная балетная красавица молила страшного корсара отпустить ее на волю. Балетный сюжет, сказку, романическую фабулу я любил. Хороши и превращения, разрушения, извержения: музыка гремит, что-то валится, трещит. Это, пожалуй, можно сравнить с цирком. Самое скучное и ненужное в балете, по моим тогдашним взглядам, были танцы. Балерины становятся в позу для начала своего номера, и мне делается скучно. Ни

одна танцовщица не может сравниться с девицей Эльвирой из цирка.

Иногда в будни, экспромтом, мы представляли балет. Но считалось невозможным тратить на это воскресенье. Оно всецело принадлежало цирку. Наша гувернантка Е. А. Кукина была балетмейстером и в то же время музыкантом. Мы играли и танцевали под ее пение. Балет назывался «Наяда и рыбак». Но я не любил его. Там приходилось представлять любовь, надо было целоваться, и мне было стыдно. Лучше кого-нибудь убивать, спасать, приговаривать к смерти, миловать. Но главная беда в том, что в этом балете был ни к селу, ни к городу вставлен номер танцев, который мы проходили с учителем. Это уже пахло уроком и потому отвращало.

Кукольный театр

После долгих мытарств мы с товарищем убедились, что дальнейшая работа с любителями (так мы звали брата, сестер и всех, кроме себя) невозможна ни в цирковом деле, ни в балете. Кроме того, при таком ведении предприятия пропадает самое главное, что есть в театре: декорации, эффекты, провалы, море, огонь, гроза... Как передашь их в простой комнате с ночными простынями, пледами, живыми пальмами и цветами, стоящими всегда в зале? Поэтому решено было променять живых актеров на картонных и приступить к устройству кукольного театра с декорациями, эффектами и всякой театральностью. И тут можно устроить кассу и продавать билеты.

«Ты пойми: это не измена цирку, — говорил я в качестве его будущего директора, — это печальная необходимость».

Но кукольный театр требовал расходов: нужен был большой стол, который ставился бы в широких дверях. Сверху и снизу, т. е. над и под порталом кукольного театра, отверстия закрывались простынями. Таким образом, в одной комнате сидела публика — там был зрительный зал, в другой же комнате, соединенной с нею дверью, была сцена и закулисный мир. Там работали мы — артисты, декораторы, постановщики, изобретатели всяких эффектов. На это дело пошел и старший брат — отличный рисовальщик и выдумщик разных трюков. Кроме того, его участие было важно потому, что у него водились деньги, а нам требовался оборотный капитал. Плотник, которого я знал чуть ли не со дня моего рождения, так как он постоянно приходил работать в наш дом, сжалился, сбавил цену и согласился на рассрочку.

«Скоро Рождество, — убеждали мы его, — а потом Пасха. Нам подарят деньги, мы и расплатимся».

Пока делался стол, мы уже принялись за декорации. Первое время пришлось писать их на оберточной бумаге; она рвалась, мялась, но мы не унывали, так как со временем, когда мы разбогатеем (спектакли будут платные, на настоящие серебряные деньги, по 10 копеек билет), мы купим картон и наклеим на него разрисованную оберточную бумагу. Просить денег у родителей мы не решались — они могли бы быть недовольны нашей затеей, которая будто бы отвлекает нас от учебных занятий. С тех пор как мы почувствовали себя антрепренерами, режиссерами, директорами нового театра, который строился по нашему плану, наша жизнь сразу наполнилась. В каждую минуту было о чем думать, надо было что-то делать.

Мешало всему лишь проклятое ученье. В ящике стола была всегда спрятана какая-нибудь театральная работа — либо фигура действующего лица, которую надо было разрисовать и раскрасить, либо часть декорации, куст, дерево, либо план и эскиз новой постановки. На столе книга, а в ящике — декорация. Лишь только учитель выйдет из комнаты, тотчас декорация попадает на стол и прикрывается книгой или просто прячется в самое ее утро. Пришел учитель, я повернул страницу, и — все скрыто. На полях тетрадей, книг рисовались планы мизансцен. Поди уличи, что это план, а не геометрический чертеж.

Нами было поставлено много опер, балетов или, вернее, отдельных актов из них. Мы брали моменты катастрофического характера. Например, акт «Корсара», изображавший

море, сначала тихое, при дневном свете, потом бушующее ночью, тонущий корабль, спасающиеся вплавь герои, появление маяка с ярким светом, спасение, восход луны, молитва, восход солнца... Или, например, акт из «Дон Жуана» с появлением Командора, с провалом Дон Жуана в ад, с огнем из люка (детская присыпка), с разрушением дома, превращающим сцену в раскаленный ад, в котором клубы огня и дыма играли главную роль. Не раз эта декорация сгорала и заменялась другой. Мы ставили балет под названием «Роберт и Бертрам» — два вора; ночью они вылезали из тюрьмы, а потом лазали в окна городских жителей. На эти спектакли билеты продавались сполна. Многие ходили для нашего поощрения, а другие для собственного удовольствия.

Наш неизменный поклонник — старый бухгалтер — просто разрывался, рекламируя наш новый театр. Он приводил с собой всю семью, родных, знакомых. Теперь нам не приходилось в кассе придумывать себе дело: его было достаточно, а за кулисами — еще больше. Поэтому касса открывалась перед самым спектаклем, так сказать для вечеровой продажи. Однажды ввиду наплыва публики пришлось из маленького помещения перейти в большое, но мы были наказаны за свое сребролюбие, так как художественная сторона спектакля при этом пострадала.

Искусством надо заниматься бескорыстно, решили мы.

Теперь нам стало весело по воскресеньям и без цирка и театра. И, даже когда нам предлагали выбрать между тем и другим, мы уже предпочитали последний. Не потому, что произошла измена, а потому, что наше новое, кукольное дело заставляло ездить в театр, смотреть там постановки, учиться, приобретать новый материал для своего кукольного творчества.

В промежутках между уроками наши прогулки получили большой смысл. Прежде мы ходили на Кузнецкий Мост покупать фотографии артистов цирка, следили постоянно, не появятся ли новые карточки, которых нет в нашей коллекции. С возникновением нашего кукольного театра явилась надобность во всяких материалах, которые приходилось постоянно искать или закупать во время прогулок. Теперь мы не ленились ходить, как прежде. Мы покупали всевозможные картины, книги с видами или костюмами, которые помогали нам при выделке декораций и кукольных действующих лиц. Это были первые книги будущей библиотеки.

Итальянская опера

Меня с братом стали возить в итальянскую оперу с ранних лет, но мы мало ценили эти выезды. Оперные спектакли были, так сказать, сверх программы, и мы просили не ставить нам их в зачет, в ущерб другим очередным удовольствиям — вроде цирка. Нам была скучна музыка. Тем не менее я очень благодарен родителям за то, что нас с ранних лет заставляли слушать музыку. Не сомневаюсь в том, что это благотворно повлияло и на мой слух, и на выработку вкуса, и на глаз, который присмотрелся к красивому в театре. У нас был абонемент на весь сезон, т. е. на 40–50 спектаклей, и мы сидели в бенуаре, близко к сцене. Впечатления от спектаклей итальянской оперы живут и теперь во мне с чрезвычайной остротой и, конечно, гораздо больше, чем от цирка. Я думаю, это происходит оттого, что самая сила впечатлений была огромна, но не осознана тогда, а воспринята органически и бессознательно, не только духовно, но и физически. Я понял и оценил эти впечатления лишь впоследствии, по воспоминаниям. Цирк же забавлял, веселил — в детстве; но воспоминания о нем не представляли интереса в зрелом возрасте, и я забыл их.

Впечатления от этих спектаклей итальянской оперы запечатлелись во мне не только в слуховой и зрительной памяти, но и физически, т. е. я их ощущаю не только чувством, но и всем телом. В самом деле, при воспоминании о них я испытываю вновь то физическое состояние, которое когда-то было вызвано во мне сверхъестественно высокой нотой чистейшего серебра Аделины Патти, ее колоратурой и техникой, от которой я физически

захлебывался, ее грудными нотами, при которых физически замирал дух и нельзя было удержать улыбки удовлетворения. Рядом с этим запечатлелась в моей памяти ее точеная небольшая фигурка с профилем, точно вырезанным из слоновой кости.

Такое же органическое, физическое ощущение стихийной силы сохранилось во мне от короля баритонов Котоньи и от баса Джемата.

Вот какова сила молодых впечатлений от Котоньи. В 1911 году, т. е. около тридцати пяти лет после его приезда в Москву, я был в Риме и шел со знакомым по какому-то узкому переулку. Вдруг из верхнего этажа дома вылетает нота — широкая, звенящая, бурлящая, греющая и волнующая. И я физически вновь испытал знакомое ощущение.

«Котоньи!» — воскликнул я.

«Да, он здесь живет, — подтвердил знакомый. — Как ты узнал его?» — удивился он.

«Я его почувствовал, — ответил я. — Это никогда не забывается».

Итак, мы узнаем о первых встречах со сценой четырехлетнего Кости Станиславского. Они оставили двойственное чувство: удовольствие от успеха и понимание, что на сцене не должно быть «бессмысленного сидения». Эти детские впечатления, по мнению К. Станиславского, оказались важными для его будущей деятельности.

Затем — раннее увлечение цирком и необыкновенная эмоциональная насыщенность всех событий вокруг! Нетерпение, изобретательность, переходы от восторга к отчаянию и снова к восторгу описаны Станиславским очень ярко. И здесь мы можем увидеть целый ряд важных для нас подробностей относительно того, как развивалось увлечение мальчика и как родители способствовали этому.

Суть поведения родителей можно выразить двумя словами: **поддержка и дисциплина**. Именно сочетание этих двух «тактик», казалось бы, противоречивых, оказалось удачным.

Цирк — это праздник, а праздник не может быть каждый день. Кроме того, праздник надо заслужить хорошим поведением и учебой. Но все-таки он довольно регулярно случается — родители тоже за этим следили. Правда, пропускались какие-то выходные, когда должны были приехать родственники или объявлялась поездка в оперу (вызывает улыбку, что дети просили не ставить им это «в зачет»). Такие пропуски определялись родителями и принимались детьми как должное, как то, чему следовало подчиняться.

Знали ли родители о той страсти, с которой дети ждали поездки в цирк? Да, безусловно, отец не только знал, но и шутивно разыгрывал «потерю билетов» на пике их нетерпения. Возможно, смыслом этой игры было испытание и тренировка выдержки детей. «Умейте властвовать собой» — любил повторять еще один знакомый папа нетерпеливым детям.

Итак, на следующие выходные цирк детям не полагался: «Цирк — это самое лучшее место во всем мире!» — читаем мы у Станиславского. — Но «...мать не позволяла часто баловать детей».

И что же тогда происходит? Происходит нечто очень важное и интересное! *Энергия мальчика уходит в мечту, фантазию* (тайную от взрослых!), *а потом — и в ее реализацию на деле*. Костик придумывает и организует свой домашний цирк, а затем и кукольный театр с «настоящими», «серьезными» представлениями, декорациями, музыкой, афишами кассой. Все это добывается и сооружается своими силами, а материальные затраты — только из карманных денег или в долг, в счет них. Вот уж действительно, на пути большой энергии должны встречаться препятствия, чтобы сильнее разгоралось пламя! И родители интуитивно знали это: они не «перекармливали» детей уступками, «благами», готовностью устранить любую трудность.

С гениальной психологической прозорливостью Станиславский показывает, как первые увлечения набирают силу и превращаются в главный мотив. У мальчика появилась «доминанта», которая стала поглощать многие дела и заботы дня. *«Наше новое, кукольное дело заставляло ездить в театр, смотреть там постановки, учиться, приобретать новый материал для своего кукольного*

творчества», «жизнь сразу наполнилась, в каждую минуту было о чем думать, надо было что-то делать», «наши прогулки получили большой смысл... во время прогулок... мы покупали всевозможные картины, книги с видами или костюмами». Примечательно, что многое из этих занятий сохраняется в тайне. Ведь это — *свое* дело, и оно оберегается от посторонних вмешательств, особенно если не приходится ждать сочувственного понимания.

Наконец, театр начинает осознаваться как настоящее *призвание*: подросток объявляет себя «профессионалом»: «...я забрал себе лучшие роли, и мне уступали их, потому что я — профессионал: я клялся, мне нет поворота назад».

А что оставалось на долю родителей? Важная функция: окружать растущий талант культурной средой, из которой он мог бы черпать новые впечатления. Продолжались регулярные поездки в оперу, посещение драматического театра, музыка в доме. Мальчик впитывал впечатления от концертов, спектаклей, оперы. Они «живут и теперь во мне с чрезвычайной остротой». Итак: первые эмоциональные впечатления — интерес и эмоциональная захваченность, — игры, фантазии, «проба сил» в собственных спектаклях — расширяющийся кругозор и практический опыт — наконец, чувство выбранной профессии — таковы шаги превращения детских увлечений в призвание, которые ясно проступают в воспоминаниях К. Станиславского. Сходные этапы развития увлечения мы увидим и в других детских судьбах.

Тур Хейердал «Я — часть природы»¹²

Тур Хейердал (1914–2002) — легендарный ученый-этнограф, родился в Норвегии. Совершил несколько героических путешествий на плоту и на хрупких папирусных лодках, пересекая Атлантический и Тихий океаны.

Воспоминания о детстве Тур Хейердал начинает с рассказа о своих первых «открытиях» мира природы, о далеких путешествиях в мечтах, о воображаемых странах с дикими животными и неизвестными народами. Удивительно — но все это так и случилось в его жизни! Окруженный замечательной природой Норвегии с ее фьордами, горами и лесами, Тур Хейердал еще мальчиком испытал чувство единения с жизнью во всех ее формах. «*Стоит один раз испытать это чувство, и вы везде будете как дома*», — пишет он. Вполне возможно, что это — и еще встреча с необычайным свободным человеком — предопределили его судьбу. Став взрослым, Тур Хейердал считал себя гражданином мира и посвятил его исследованию всю свою жизнь. Он выдвинул теорию о том, что океаны не разделяли, а соединяли древние цивилизации. «*Границы?* — спрашивал он. — *Никогда их не видел, но слышал, что они существуют в умах большинства людей*».

Первые открытия

Одно из моих первых воспоминаний: я на улице и пытаюсь вскарабкаться на старую, выветрившуюся ступеньку на невысокой горке. Никогда не забуду этот первый в жизни миг самостоятельности. Я уполз от своих одеял и от своей няньки и попробовал забраться на такую высокую ступеньку, что, в конце концов, решил ползти в обход. И вот тогда,

¹² Хейердал Т. По следам Адама. М., Вагриус, 2001. Пер. С. Луговой.

уткнувшись лицом в траву, я обнаружил, что муравьям приходится так же тяжело, как и мне. Один попробовал забраться на травинку. Совсем уж крошечные жучки усеяли лист красными точечками, и рядом с ними зеленая гусеница казалась огромным драконом, сидящим опершись на хвост и, раскачиваясь из стороны в сторону, осматривающим окрестности. И вдруг откуда-то налетела Лаура, подхватила меня и утащила далеко-далеко от вновь обнаруженного мира.

Когда я стал немного постарше, меня как-то вели мимо небольшой горки золотого морского песка. Я вырвался из рук взрослых, запустил пальцы в мелкий легкий песок и внезапно обнаружил, что горка куда-то исчезла, а вместо нее я смотрю на волшебный мир крошечных игрушек. Они были такие маленькие, что взрослые не могли бы их разглядеть, а мои пальцы оказались слишком толстыми, чтобы схватить их. Одни походили на кукольную посуду, другие — на трубы, третьи — на морские раковины, только уменьшенные в тысячи раз. Когда меня оттащивали, я горько рыдал от огорчен и я. Ну как мог я рассказать о своих открытиях этим взрослым, таким большим, что они даже не могут увидеть фантастический мир, скрытый в обыкновенной горке песка? Именно тогда я понял впервые в жизни, что есть вещи, скрытые от взгляда даже самых больших и самых умных людей.

Мечты, приключения

...Теперь, после того как я оставался у себя в комнате один, у меня появились новые ритуалы. Летом я на цыпочках подкрадывался к окну и забирался на широкий подоконник, откуда открывался вид на фьорд Ларвик. Наш дом стоял на крутом склоне холма, спускавшегося к морю, и с высоты третьего этажа я видел тянувшиеся до самой гавани черепичные крыши, а дальше — открытый океан. Вернувшись в постель, я фантазировал о том, что скрывалось дальше, за горизонтом. Потом я засыпал, и если мне везло, то мне снились негры и удивительные африканские звери. Но зимой вылезать из-под теплого одеяла не хотелось, тем более что мама настаивала, чтобы в моей комнате окна стояли нараспашку круглый год. В такие ночи я представлял, что стою в ванной, один, без Хельги. Вот я открываю оба крана, вода наполняет ванну, переливается через край, течет по полу, подбирается к двери в спальню. Затем подхватывает мою кровать и несет меня вниз по склону, во фьорд и дальше, дальше, пока я, наконец, не слезаю с кровати в стране пальм и новых друзей, гораздо более забавных, чем прежние.

В другой моей фантазии мне не требовалось никуда плыть. Я просто возводил огромный стеклянный купол над заброшенной пивоварней, а в получившейся оранжерее сажал тропические растения и приглашал туда то двух маленьких индейцев, то двух маленьких арабов, то негров — как Ной в его ковчег. Ну и животных, конечно...

Может быть, на меня оказали такое сильное впечатление принадлежавшие маме книжки о великих открытиях, диких животных и чужеземцах. Прежде всего, о чужеземцах. Но в те дни в окрестностях Ларвика даже заваливающего чужеземца не удалось бы отыскать днем с огнем.

Помню, как-то раз в город приехал цирк, и все бежали со всех ног, чтобы увидеть живого негра. Каково же было наше разочарование, когда один из мальчишек заметил, что у него светлые ладони. Мы пришли к единодушному выводу, что негр — поддельный.

Примыкавший к городу лес — в основном сосновый, переходящий в лиственный на востоке и в кедровый на западе — кишел всякой живностью. Мы часто откладывали в сторону наши игрушечные ружья и луки со стрелами и, вооружившись сачками и сетями, отправлялись ловить зверей. В те времена опасность могла исходить только от крупных млекопитающих. Никто и слухом не слыхивал о токсичных пестицидах и загрязнении окружающей среды. В наших реках водилась рыба.

В маленьких озерах и ручьях мы ловили головастиков, цветных саламандр и крупных черных водяных жуков. На суше — дикобразов, мышей, жуков, кузнечиков и змей.

В воздухе — все, что летало, от летучих мышей до бабочек. И если в обнаруженном нами птичьим гнезде было много яиц, мы и яйцо добавляли к своей коллекции. Отец отдал в мое полное распоряжение заново обшитую панелями комнату в заброшенной конюшне, и мы повесили на ее дверь вывеску: «Зоологический музей».

В повседневной жизни я был, конечно, белоручкой, но когда дело касалось пополнения экспозиции «музея», во мне просыпались скрытые силы. Однажды, явившись домой с ватагой приятелей, я чуть не довел маму до обморока. Она открыла дверь на мой звонок, и перед ней предстал ее сынок, держащий за хвост живую гадюку. Змея шипела, извивалась и пыталась ужалить меня, но я каждый раз встряхивал ее, и она повисала головой вниз. Мама метнулась стрелой и принесла кувшин со спиртом, куда мы и опустили яростно шипящего гада. Когда пресмыкающееся затихло на дне, свернувшись в кольца, я исхитрился выудить его оттуда с помощью раздвоенной палочки, не повредив его волшебной красоты.

...Я не интересовался спортом, не блистал в футболе и не любил скакать на батуте во время уроков физкультуры. Вместо всего этого я часами мог разглядывать крошечных насекомых на булавках под стеклом.

«Сказочный» Уле — уроки на всю жизнь

...Однажды летом произошло нечто совершенно неожиданное. Из дикого, словно заколдованного леса, что лежал на противоположной стороне озера Хернше, вышел высокий человек, похожий на героя из детских сказок. На нем был старомодный поношенный охотничий костюм. Он постучал в дверь нашего дома и предложил купить у него горную форель невиданных размеров. Мама решила, что человек из сказки, должно быть, голоден, и пригласила его пообедать с нами. Какие удивительные истории рассказывал незнакомец! Никогда я не слышал и не читал ничего подобного о животных, которых нам доводилось видеть только изредка и мельком, в сосновом лесу или выше в горах. О лосях и оленях, о росомахах и куницах, о зайцах и даже о горностах, о снежных мышах, леммингах, лесных гусях, журавлях и прочих диких созданиях, которые жили в чаще леса своей, неведомой нам жизнью. Все они составляли мир Уле Бьернебу, с ними он встречал восходы и закаты, им был обязан удивительным спокойствием духа и неизменным простым юмором.

Он нарубил нам дров и заработал еще несколько шиллингов. Мама даже не протестовала, когда он показал мне, как правильно вырезать биты. А потом случилось чудо. Однажды, возвращаясь из города, он позволил мне помочь ему донести покупки до его хижины в долине среди гор. Я вернулся домой без рук, без ног, но настолько взбудораженный и восхищенный увиденным, что через несколько дней мама, к моему неописуемому счастью, отпустила меня пожить у него короткое время.

Долина, в которой поселился Уле, была почти полностью оторвана от остального мира, с которым ее связывала только одна узенькая тропинка.

«Хюнна» — так называлась заброшенная горная ферма, где он нашел себе пристанище. Новое волшебное слово вошло в мою жизнь, когда мы прыгали с камня на камень там, где река вытекала из озера и начинала свой стремительный бег под густой кровлей соснового леса. Уле жил в бывшей овчарне, маленьком строении с земляным полом и бревенчатыми стенами, немного не доходившими до земли. Еду он готовил на жаровне посреди единственной комнаты, а дым от костра уходил через отверстие в крыше. Мебелью служили камни, пни и сучья деревьев. Самое длинное бревно одним концом лежало в кострище под жаровней и с каждым днем становилось все короче и короче, так что я был избавлен от необходимости рубить дрова, разве что для растопки.

Там, в мире старого Уле, я впервые понял, насколько, в сущности, проста жизнь. Сложной ее делают люди, в силу привычки сами того не замечая. С первых шагов нас учат: чтобы спать, необходима кровать, чтобы есть, нужны стол и стулья. Однако после первого же дня, проведенного в доме Уле, я вдруг осознал, что можно прекрасно обходиться вовсе

без мебели.

Уле любил поговорить, но никогда не рассказывал о себе. Окольными путями мама выяснила, что он, как говорится, знал лучшие дни. Сын некогда богатого, но спившегося и разорившегося землевладельца, Уле был слишком горд, чтобы просить подачек под видом помощи, и вместо этого в один прекрасный день просто взял да ушел в горы, захватив с собой только отцовскую охотничью и рыболовную снасть. Когда он нашел хижину в Хюнне, то решил остаться там навсегда.

Уле жил тем, что давал ему лес, и еще немножко браконьерствовал, но никогда не заступал слишком далеко за грань закона. Его любили все в округе, в том числе и егеря, и длинная рука правоохранительных органов редко дотягивалась до долины Аста. Таким образом, Бьернебу добывал себе пропитание на свой манер и ни от кого не зависел, подобно Робинзону Крузо наших дней. Как-то раз он принес на продажу в деревню горную форель таких невиданных размеров, что «доброжелатели» донесли на него лесникам. Страж закона, повинаясь приказу, отправился в долгий путь к озеру Лунг, расположенному высоко в горах Остердали. Он спрятался с биноклем за кустами и вскоре увидел, как мы с Уле, ничуть не таясь и ничего не подозревая, вышли на озеро на маленькой лодке. Уле решил научить меня ловить на наживку, которую в здешних местах называли «выдрой», и представлявшую собой кусок дерева с добрым десятком прикрепленных к нему крючков. Деревяшку цепляют на длинную леску и тянут вслед за лодкой. Таким образом, за один заход удается поймать сразу несколько рыб. Этот метод рыбалки считался допустимым для местного населения, но строго запрещенным для горожан и других посторонних.

Уле греб, внимательно глядя по сторонам, и вдруг заметил блеск стекол бинокля. Он тут же отнял у меня леску, а меня самого посадил на весла. Грести я имел полное законное право, а вот Уле, хотя и считался местным жителем, непременно угодил бы за решетку за то, что позволил мне держать «выдру». Я греб так, словно от этого зависела вся моя жизнь, и ни за что не признавался, что устал, хотя совсем выбился из сил. Хорошо было этому типу лежать себе с биноклем! Мои руки покрылись волдырями, а скамейка казалась такой жесткой, что пришлось подложить подушку из свернутой несколько раз оленьей шкуры. С каждой минутой у меня на руках оставалось все меньше и меньше кожи, а на заднице — все больше и больше обнаженных нервов. Только вечером, когда мы пристали к берегу, бдительный стражник собрался в обратный путь. Мы же двинулись в противоположном направлении. Лесник торопился дотемна добраться до цивилизации, а мы спешили в хижину в Хюнне.

Победа на озере была одержана, но мой путь домой никак не напоминал триумфальное шествие победителя. Каждый шаг отдавался в задней части моего тела, словно удар хлыстом, и я никак не мог угнаться за моим наставником, хотя именно он нес большую часть нашего пятидесятикилограммового улова. «Не беда. Мы переночуем здесь и пойдем дальше рано поутру», — сказал Уле, улегся на оленью шкуру и моментально уснул. Обычно, если ночь застигала нас в лесу, мы забирались под шатер из еловых веток. Что может быть лучше, чем лежать на спине под открытым, усеянным звездами небом! На сей раз, однако, я упустил возможность насладиться любимым зрелищем. Плюхнувшись животом на гранитный валун, я уснул как убитый.

Летние каникулы, проведенные в обществе Уле, многому научили меня, и эти уроки остались со мной на всю оставшуюся жизнь. Но главное — я понял, что являюсь частью природы, независимо от того, какая на мне одежда. Стоит один раз испытать это чувство, и вы везде будете как дома, даже если до ближайшего жилья много дней пути, а вокруг — лес, горы, пустыня или океан. В лесу мы с Уле не только видели диких зверей, но стали свидетелями их повседневной жизни. Мы все замечали — где спал лось, где проходила лосиха с лосятами, где заяц обгрыз ствол дерева, где лиса охотилась за птенцами. Когда я вернулся в школу и засел за учебники, я знал уже почти все про живую природу.

С. С. Прокофьев

«Музыку в доме я слышал от рождения»¹³

Сергей Сергеевич Прокофьев (1891–1953) — один из крупнейших композиторов XX века. Родился в селе Сонцовка Донецкой области на Украине. Воспитание сына взяла на себя мать, которая была хорошей пианисткой. Мальчик начал заниматься музыкой с 5 лет и уже тогда проявлял интерес к сочинительству. В 1902–1903 годах брал частные уроки у Р. Глиэра, с 1904 года учился в Петербургской консерватории у Н. Римского-Корсакова. Окончил консерваторию как композитор в 1909 году.

Это автобиографические заметки С. С. Прокофьева — та их часть, которая касается периода детства. Они показывают, как и в каких условиях жизни семьи развивался этот замечательный талант.

Детство

Мать любила музыку, отец музыку уважал. Вероятно, он тоже любил ее, но в философском плане, как проявление культуры, как полет человеческого духа.

Мать добивалась возможно лучшего исполнения разучиваемых вещей, относилась к работе любовно и интересовалась исключительно серьезной музыкой. Последнее сыграло огромную роль в воспитании моего музыкального вкуса: от рождения я слышал Бетховена и Шопена и в двенадцать лет помню себя сознательно презиравшим легкую музыку.

Я родился в 1891 году.

...Когда мать ждала моего появления на свет, она играла до шести часов в день: будущий человечек формировался под музыку.

Музыкальные склонности начали проявляться рано, вероятно года в четыре. Музыку в доме я слышал от рождения. Когда вечером укладывали спать, а спать не хотелось, я лежал и слушал, как где-то вдалеке, за несколько комнат, звучала соната Бетховена. Больше всего мать играла сонаты из первого тома; затем прелюдии, мазурки и вальсы Шопена. Иногда что-нибудь из Листа, что не так трудно. Из русских авторов — Чайковского и Рубинштейна. Антон Рубинштейн находился на вершине своей славы, и мать была уверена, что он более крупное явление, чем Чайковский. Портрет Рубинштейна висел над роялем.

Занятия на рояле мать начинала с упражнений Ганона и этюдов Черни. Вот тут и я старался примоститься к клавиатуре. Мать, занятая экзерсисами в среднем регистре, иной раз отводила в мое пользование две верхних октавы, по которым я выстукивал свои детские эксперименты. Довольно варварский ансамбль на первый взгляд, но расчет матери оказался правильным, и вскоре дите стало подсаживаться к роялю самостоятельно, пытаясь что-то подобрать. Мать обладала педагогической жилкой. Незаметно она старалась направить меня и объяснить, как надо пользоваться инструментом.

К тому, что она играла, я относился с любопытством и критически, иногда заявляя:

— Эта песенка мне нравится (я произносил «нравится»). Пусть она будет моей.

Возникали также споры с бабушкой: какую именно пьесу играет мать. Обыкновенно прав был я.

Слушание музыки и импровизирование за клавиатурой привели к тому, что я стал подбирать самостоятельные пьески. Тут линия творчества довольно пикантно раздвоилась: с

¹³ Прокофьев С. С. Автобиография. М., Советский композитор, 1973.

одной стороны, я подбирал за роялем мотивчики, которые не умел записать; с другой стороны, сидя за столом, писал ноты, которые ничего не обозначали. Писал, как орнамент, как дети рисуют человечков и поезда, потому что постоянно видел ноты на пюпитре.

Однажды Сергушечка явился к мамочке (так она рассказывает) с листом бумаги, разрисованным нотами, и заявил:

— Вот я сочинил рапсодию Листа.

Пришлось объяснить, что сочинить рапсодию Листа нельзя, потому что рапсодия есть пьеса, а Лист как раз тот человек, который ее сочинил. И, кроме того, нельзя писать музыку на девяти линейках без перегородочек, потому что на самом деле она пишется на пяти линейках с перегородочками. Это толкнуло мать к более систематическому объяснению принципов нотного письма.

Между тем я подобрал пьеску, которая приняла вполне приемлемую форму. Эту пьеску я играл несколько раз. Мать решила записать ее, что, вероятно, далось не без труда, ибо дело было новое. Трудно придумать более нелепое название, чем то, которое я дал этому сочинению: «Индийский галоп». Но в ту пору в Индии был голод; большие читали о нем в газетах и обсуждали между собой, а я слушал. Отсутствие *си-бемоля* не следует отнести на счет симпатий к лидийскому ладу. Скорее неопытный композитор не решался еще дотронуться до черной клавиши. Мать, однако, объяснила, что с черненькой будет лучше, и без дальнейших рассуждений внесла *си-бемоль*. Также название «индийский» было переправлено на «индийский», что мне нравилось меньше.

Это произошло в конце лета 1896 года. Мне было пять лет и несколько месяцев.

...Затем приехала в Сонцовку Екатерина Иппократовна, жена того Лященко, которому я наплевал на лысину. Она хорошо владела роялем и даже немного занималась с матерью. Вдвоем они играли в четыре руки, что мне очень нравилось: играют разные вещи, а вдвоем выходит недурно!

— Мамочка, я напишу марш в четыре руки.

— Это трудно, Сергушечка. Ты не можешь подобрать музыку и для одного человека и для другого.

Тем не менее, я сел подбирать, и марш вышел. Приятно было сыграть его в четыре руки и слышать, как звучит вместе подобранное отдельно. Как ни как, это была первая партитура! (Февраль 1898 года; возраст — шесть лет десять месяцев.) Тетя Таня, младшая сестра матери, в восторге от замечательного ребенка, увезла все эти каракули в Петербург и дала опытному переписчику. Переписанные четко и красиво, пьески были переплетены в альбом, на котором золотом красовалось: «Сочинения Сереженьки Прокофьева».

Этот альбом содержал первые полтора года моего творчества, представлявшие три ступени развития: музыка, записанная чужой рукой; музыка, записанная рукой композитора; музыка в четыре руки, то есть такая, которую нельзя было подобрать, а надо было складывать в голове. Альбом сохранился до сих пор. Оригиналы переписчик выкинул — за ненадобностью.

К моему музыкальному развитию мать относилась с большим вниманием и осторожностью. Главное, поддержать в ребенке интерес к музыке и, сохрани бог, не оттолкнуть его скучной зубрежкой. Отсюда: на упражнения как можно меньше времени и как можно больше на знакомство с литературой. Точка зрения замечательная, которую надо бы, чтобы мамы помнили.

Первое время, то есть когда мне было семь лет, мать занималась по двадцать минут в день, тщательно следя, чтоб никогда не передерживать сверх урочного времени; потом, годам к девяти, постепенно увеличила до часу. Для занятий она покупала «Классную библиотеку» Стробля, в которой пьесы расположены по степеням трудности. Читал я ноты легко, и после нескольких проигрываний пьеса обыкновенно шла складно. Больше всего боясь долбежки, мать переводила меня на другую и третью пьесу и, чтобы увеличить репертуар, выписывала параллельную «Классную библиотеку» фон Арка и, кажется, Черни. Таким образом, количество музыки, которое проходило сквозь меня, было огромно. Прежде

чем давать ученику, мать проигрывала все вещи сама, и если что-либо казалось ей скучным или недостаточно интересным, выбрасывала. Те же, которые одобряла и которые попадали ко мне, после проигрывания обсуждались совместно: что мне нравится, что не нравится и почему. Таким образом, у меня рано развилась самостоятельность суждений, а умение хорошо читать ноты и знакомство с большим количеством музыки помогали легко разбираться в произведениях.

Была у этого и обратная сторона медали: ничто не было доучено, развивалась небрежность исполнения. Развивалась и другая небрежность — небрежность постановки пальцев на клавиатуре: мысль бежала впереди, а пальцы кое-как поспевали сзади. Эта неотделанность деталей и нечистота техники были моим бичом во все время последующего пребывания в консерватории и лишь после двадцатилетнего возраста стали постепенно изживаться. Зато в десять лет я имел собственную точку зрения на музыкальные сочинения и мог ее защищать. Эта ранняя музыкальная зрелость служила гарантией тому, что я смогу справиться с грешками, когда их вредоносность станет очевидной...

Между тем наступило новое столетие, и в январе 1900 года родители собрались на несколько недель в Москву, решив в этот раз взять и меня...

В Москве меня взяли в оперу, на «Фауста». Когда мы очутились в ложе театра Солодовникова (после революции — филиал Большого театра), мать дала мне несколько предварительных объяснений.

— Ты понимаешь, жил-был Фауст, ученый. Он уже старик, а все читает книги. И вот приходит к нему черт и говорит: «Продай мне душу, тогда я сделаю тебя снова молодым». Ну, Фауст продал, черт сделал его молодым, и вот они начинают веселиться...

Я насторожился. Пришли мы в театр задолго до начала, я скучал в ожидании, не вполне понимая, куда и зачем привели, и скептически относился к предстоящему, а тут вдруг такая интересная перспектива: приходит черт и потом они начинают веселиться!

Заиграли увертюру, и поднялся занавес. Действительно, книги, книги и Фауст с бородой, читает в толстом томе и что-то поет, и опять читает и опять поет. А когда же черт? Как все медленно. Ах, наконец-то! Но почему же в красном костюме и со шпагой и вообще такой шикарный? Я почему-то думал, что черт будет черный, вроде негра, полуголый и, может быть, с копытами. Дальше, когда «они начали веселиться», я сразу узнал и вальс и марш, которые слышал от матери в Сонцовке.

Мать оттого и выбрала «Фауста», что ей хотелось, чтобы я услышал знакомую музыку. В их веселье я не много понял, что к чему, но дуэль на шпагах и гибель Валентина произвели впечатление. Вероятно, много другого было еще впитано сознательно и бессознательно, ибо, вернувшись в гостиницу, я спрашивал у матери:

— Ты то-то заметила?

— Нет, не заметила.

А я заметил.

Или:

— Ты на вот это обратила внимание?

— Нет, не обратила.

— А я обратил.

Не вполне понятно было, почему на Маргариту иногда падал луч белого света, а на Мефистофеля густо-красного, особенно если Мефистофель долго пел. Но, может быть, мне не все было известно про чертей, и так собственно и надлежало ему купаться в красном луче...

Вторая опера, которую я увидел, была «Князь Игорь», но она произвела меньшее впечатление, хотя и очень было жалко Игоря, когда в последнем акте он прибежал к Ярославне.

В Сонцовку я возвратился с богатым запасом впечатлений. Из этого резервуара фантазия потекла по двум направлениям. Во-первых, со Стеней, Сережей, Егоркой,

Марфушей я стал играть в театр. Забившись в угол, мы выдумывали пьесу и затем разыгрывали ее родителям, или дети мне, или мы вместе Марфуше. Сюжеты были убогие и непременно включали дуэль на шпагах. Для этого выдергивались палочки, охранявшие куртину с лилиями от кур. По форме это была *commedia dell'arte*: выдумывался скелет, а затем актеры импровизировали.

Во-вторых, я явился к матери и заявил:

— Мама, я хочу написать свою оперу.

— Как можешь ты написать оперу? — возразила мать без всякого уважения ко мне. — Зачем говорить такие вещи, которые ты исполнить не можешь!

— А вот увидишь.

Так поговорили, и как будто разговор этим кончился.

Я вернулся к мысли сочинить собственную оперу. Вернее, эта мысль меня не покидала, но мешали обстоятельства. Откуда взялся сюжет? По-видимому, он был придуман в том же порядке, в каком выдумывались темы для наших детских пьес. Происходило дело приблизительно так. Я фантазировал:

— Стеня, как будто ты сидишь и читаешь книгу. Вдруг мимо проходит Великан. Ты испуганно спрашиваешь: «кто там идет?». И он отвечает: «я, это я», после чего входит и хочет тебя поймать. В это время мы с Егоркой проходим мимо и слышим, как ты кричишь. Тогда Егор спрашивает: «Что ж, стрелять?». А я отвечаю: «Нет, погоди», — потому что обстановка еще невыгодная.

— Тогда я говорю: «Ножи вынимать?» — вставляет Егор.

— А я говорю: «Теперь стрелять!». В этот момент Великан видит нас и быстро отступает.

— А я падаю в обморок, — завершает Стеня.

— Ну, после этого мы уходим, — говорит Егор.

— Как же я узнаю, кто меня спас? — спрашивает Стеня. Минута задумчивости. Мне приходит гениальная мысль:

— Уходя, мы нечаянно роняем визитные карточки. Ты сначала плачешь, что ты одна и такая несчастная, а потом находишь карточки и решаешь написать нам по письму. Ну, а потом тебе уже пора спать, и двери закрываются. На этом кончается первая картина.

«Двери закрываются» означало, что падает занавес. Пьеса обыкновенно разыгрывалась в одной комнате, а зрители (или зритель) сидели в другой, перед закрытой дверью.

... Когда в начале лета 1900 года я пришел к матери с рукописью и сказал:

— Мама, ты сказала, что я оперу не напишу, а я вот написал! — то она прежде всего изумилась, когда же я успел это сделать. Затем заговорил скепсис: не стоит увлекаться, чтобы потом не разочаровываться. Но пошли к роялю — и оказалось складно, даже занимательно. Мать сказала:

— Вот скоро приедет тетя Таня. Она все огорчается, что умерла бабушка. Ты вот и посвети ей твою оперу, ей будет приятно.

— А что это такое посвятить?

— Ну, точно подарить.

— Но я не хочу дарить ей эту музыку.

— Твоя музыка останется у тебя. Но выходит, будто ты сочинил ее для тети Тани. Ведь ты же подарил мне в прошлом году пьесу в четыре руки?

— Но я не сочинял «Великана» для тети Тани.

Мать начала объяснять, что тетя Таня такая бедная, убитая и будет плакать на могилке бабушки, а я люблю же, когда она привозит мне игрушечные кареты? — вот, вероятно, и в этот раз привезет, поэтому надо же доставить ей удовольствие. Жестяные кареты я действительно любил и вообще поездку в карете с фонарями поэтизировал...

Посвящение «Великана» как будто могло доставить удовольствие тете Тани и в то же время лично мне особых убытков не сулило. Поэтому я согласился.

В этих отрывках из «Автобиографии» мы видим знакомые черты раннего формирования таланта — маленький Сережа активно тянется к музыке. Он пристраивается к матери, которая играет на инструменте; «играет» вместе с ней (получается «варварский ансамбль», тем не менее мать его терпит); подбирает мелодии; сочиняет и пытается «записать» музыку. Сначала это все — трогательно, по-детски наивно: «ноты» рисуются на девяти линейках и без «перегородочек», черненькая клавиша еще не понятно зачем, собственное сочинение объявляется «рапсодией Листа». В то же время мальчик быстро продвигается — сочиняет марш в четыре руки, когда ему нет еще семи лет, а в девять увлеченно сочиняет оперу.

Картина напоминает истории детства других самобытных талантов.

Интересы мальчика вращаются вокруг музыки: он слушает и наблюдает игру на инструменте, пробует сам, узнает и обсуждает новое, что-то предпринимает, вовлекает в свои музыкальные планы близких.

Но что в его рассказе хочется особенно выделить — это участие матери. Мать следит за музыкальным развитием Сережи, и делает это очень искусно! Пожалуй, главное, что отличает ее поведение, — это деликатное и мудрое внимание к интересам ребенка. Мальчик ни к чему не принуждается. Ему предоставлена свобода делать то, что ему нравится, о чем он замышляет и мечтает, что приходит ему в голову. В то же время мать готова оказать ему любую помощь, но только если он без нее не может обойтись и сам подходит к ней с вопросами или просьбами.

Современным родителям, наверное, странно читать, как мать Сережи ограничивала его занятия музыкой двадцатью минутами в день (!). Она тщательно следила, чтобы это ограничение соблюдалось, и только к девяти годам увеличила время занятий до одного часа. Делала она это для того, чтобы «не оттолкнуть его скучной зубрежкой». Но одновременно она заботилась о том, чтобы расширять кругозор сына, знакомя с музыкальной литературой, «незаметно направляя» развитие его вкуса, отбирая пьесы и совместно их обсуждая. Таким образом, Сергею Прокофьеву в детстве посчастливилось иметь рядом с собой понимающего взрослого в лице собственной матери. Их общение было таким, что позволяло мальчику доверять ее вкусам и впитывать ее богатый музыкальный опыт.

Ричард Фейнман «Он станет ученым»

Ричард Фейнман (1918–1988) — известный американский физик. Родился и провел детство в Нью-Йорке. Получил Нобелевскую премию за работы в области квантовой электродинамики (1965). Был не только блестящим ученым, но и талантливым педагогом, пользовался неизменной любовью студентов. Автор широко известного университетского курса лекций по физике («Фейнмановские лекции»).

Мы помещаем отрывки из его двух живо и остроумно написанных книг воспоминаний и рассказов о себе. Первый отрывок относится к подростковому возрасту, когда уже определилась тяга Ричарда к технике, физике и математике. Примечательна активность мальчика и эмоциональный подъем, с которым он брался за все более сложные задачи. Этот азарт к разгадке задач и головоломок, в том числе серьезных научных, Р. Фейнман сохранил на всю жизнь. Второй отрывок — про то, как же «получился» такой активный и любознательный ребенок и какую замечательную роль сыграл в этом его отец.

Он чинит радиоприемники, думая!¹⁴

Когда мне было лет одиннадцать-двенадцать, я устроил у себя дома лабораторию. Она состояла из старого деревянного ящика, в который я приладил полки. У меня был нагреватель, благодаря чему я брал жир и постоянно жарил картошку по-французски. Кроме того, у меня была аккумуляторная батарея и ламповый блок.

Чтобы соорудить ламповый блок, я отправился в дешевый хозяйственный магазинчик и купил несколько патронов, которые привинчиваются к деревянному основанию. Потом я соединил их звонковым проводом. Я знал, что, если по-разному комбинировать выключатели — последовательно или параллельно, — можно получить разное напряжение. Однако я не знал, что сопротивление лампочки зависит от ее температуры, поэтому результаты моих вычислений разошлись с тем, что я получил на выходе своей цепи. Тем не менее результат был вполне приемлем. При последовательном соединении лампочки загорались в полсилы и *тлеeeeeeeeeели*; очень здорово, просто классно!

В созданной мной системе был и предохранитель, так что если б я что-то закоротил, он бы перегорел. Вся соль в том, что мне нужен был предохранитель более слабый, чем тот, который был в доме, поэтому я делал предохранители сам: брал оловянную фольгу и оборачивал ею старый перегоревший предохранитель. В параллели с моим предохранителем была пятиваттная лампочка, так что, когда мой предохранитель перегорал, нагрузка от буферного зарядателя, подававшего заряд на аккумуляторную батарею, зажигала лампочку. Лампочка располагалась на щите управления под коричневой конфетной оберткой (когда под ней загорается свет, она краснеет), так что если что-то портилось, я мог узнать об этом, взглянув на щит управления и на месте предохранителя увидев большое красное пятно. Это было просто *супер*!

Я балдел от радиоприемников. Все началось с детекторного приемника, который я купил в магазине. Я слушал его ночью в постели перед сном, надев наушники. Когда мама с папой возвращались домой поздно, они обычно приходили ко мне в комнату, чтобы снять наушники — и поволноваться о том, что же творится в моей голове, когда я сплю.

Примерно в этом же возрасте я изобрел охранную сигнализацию, совсем бесхитростную штуку: я взял какую-то проволоку и соединил ею большую батарейку и звонок. Когда открывалась дверь в мою комнату, она прижимала проволоку к выводам батарейки и тем самым замыкала цепь, тогда и включался звонок.

Однажды ночью мои родители вернулись откуда-то поздно и очень-очень тихо, не дай бог ребенок проснется, открыли дверь, чтобы войти ко мне в комнату и снять наушники. И вдруг этот ужасный звонок как загремит: БОМ БОМ БОМ БОМ БОМ!!! Я выпрыгнул из кровати с воплями: «Сработало! Сработало!».

У меня была индукционная катушка от форда — обычная автомобильная катушка зажигания, — а ее клеммы я вывел на свой щит управления. Параллельно клеммам я подсоединял газоразрядную лампу фирмы «Рейтеон» с аргоном внутри, и искра, попадая в вакуум, издавала пурпурное свечение — это было просто потрясно!

...Мне не удавалось осуществить все, что хотелось, потому что мама постоянно отправляла меня поиграть на улицу. Но частенько я оставался дома, чтобы повозиться со своей лабораторией.

Я покупал радиоприемники на распродаже. Денег у меня не было, но они были совсем дешевые: старые, сломанные радиоприемники, — я покупал их и старался починить.

¹⁴ Фейнман Р. Вы, конечно, шутите, мистер Фейнман. М., 2001. Пер. Н. А. Зубченко, О. Л. Тиходеева, М. Шифман.

Поломки обычно были нехитрые: отцепился какой-то проводок, который явно должен быть прицеплен, сломалась или чуть-чуть размоталась катушка, — так что некоторые приемники мне удавалось починить. На одном из них однажды ночью мне удалось поймать радиостанцию «У-Эй-Си-Оу» в Уако, штат Техас. Вот это было действительно здорово!

...Однажды дома раздался телефонный звонок: «Мистер, Вы Ричард Фейнман?»

— Да.

— Звонят из отеля. У нас сломалось радио, и мы хотели бы его починить. Мы знаем, что вы, скорее всего, сможете нам помочь.

— Но я же еще маленький, — сказал я. — Я не знаю, как.

— Да, мы знаем, но все же мы хотели бы, чтобы вы подошли.

Этим отелем управляла моя тетя, но я этого не знал. Я пошел туда (они до сих пор рассказывают эту историю), засунув в задний карман огромную отвертку. Но ведь я был маленький, поэтому *любая* отвертка в моем заднем кармане показалась бы огромной.

Я подошел к радио и попытался починить его. Я не знал о нем ничего, но в отеле был какой-то рабочий, и то ли он, то ли я заметили, что рычажок реостата ослаб (он регулирует звук) и не поворачивает вал. Он принялся за работу, что-то заточил и закрепил, и радио заработало.

Следующий радиоприемник, который я попытался починить, не работал вовсе. Дело было несложное: его неправильно включали в розетку. По мере того как работы все усложнялись и усложнялись, я все лучше и лучше справлялся со своими обязанностями и становился все более искусным. Я купил в Нью-Йорке миллиамперметр и переделал его в вольтметр с совершенно другой шкалой, используя отрезки очень тонкой медной проволоки нужной длины (все длины я рассчитал). Вольтметр получился не слишком точный, но достаточно хороший для того, чтобы определить, находятся ли разные соединения внутри радиоприемников в нужном диапазоне напряжений.

Главной причиной того, почему меня нанимали, была Депрессия¹⁵. У людей не было денег на починку радио, они узнавали, что какой-то мальчишка чинит радиоприемники за гроши. Поэтому я залезал на крыши, чтобы починить антенны, и все такое. Я получил целый ряд уроков всевозрастающей сложности. Однажды мне пришлось переделывать радиоприемник, работающий на постоянном токе, в радиоприемник, работающий на переменном токе. Очень сложно было не пропустить в систему шум, и я не совсем удачно его переделал. Я не должен был откусывать какой-то проводок, но я этого не знал.

Одна работа была действительно сенсационной. Я работал у одного печатника, а какой-то человек, который был знаком с этим печатником, знал, что я чиню радиоприемники, и послал за мной в печатный цех. Этот парень, судя по всему, был беден (машина у него почти разваливалась), мы поехали к нему домой, в бедняцкий квартал. По пути я спрашиваю: «А что случилось с радио?» Он говорит: «Когда я включаю его, слышится шум, потом шум прекращается, и радио начинает работать нормально, но этот шум в начале мне не нравится».

Я думаю про себя: «Черт побери! Раз у него нет денег, неужто нельзя немножко потерпеть какой-то там шум».

Все время, пока мы ехали к нему, он донимал меня расспросами: «А ты хоть что-нибудь знаешь о радиоприемниках? Как ты вообще можешь разбираться в радиоприемниках — ты же совсем маленький!»

Он унижает меня всю дорогу, а я думаю: «В чем же дело? Ну шумит немножко».

Но когда мы добрались до места, я подошел к радиоприемнику и включил его. Немножко шумит? *Бог мой!* Ничего удивительного, что бедняга не мог вынести этот шум. Приемник зарычал и задрожал — БУХ БУХ БУХ БУХ БУХ БУХ. *Невыносимый* шум. Потом он успокоился и начал работать нормально. Итак, я начал думать: «Почему же это

¹⁵ Имеется в виду экономический кризис 1930-х годов в США. — (примеч. пер.).

происходит?»

Я начинаю ходить взад-вперед, размышлять и понимаю, что одной из причин может быть то, что лампы нагреваются в неправильной последовательности, то есть усилитель нагрелся, лампы готовы к работе, а их ничто не питает, или проскакивают какие-то токи в обратном направлении, а может, что-то неправильно в начале цепи, в радиочастотной части, и это «что-то» производит ужасный шум. А когда радиочастотный контур наконец начинает работать и контурные напряжения устанавливаются правильным образом, все приходит в порядок.

Итак, этот парень говорит: «Что ты делаешь? Ты пришел чинить радио, а сам только ходишь взад-вперед!».

Я говорю: «Я думаю!». После этого я сказал себе: «Ладно, достанем лампы и полностью изменим порядок их расположения в радиоприемнике». (В те дни во многих радиоприемниках стояли одни и те же лампы в разных местах, кажется, это были 212е или 212-е А). Итак, я поменял лампы местами, встал перед радиоприемником, включил эту штуку, и она повела себя тихо, как ягненок: дождалась, пока не нагреется, и начала идеально работать — никакого шума.

Когда человек тебя недооценивает, а ты делаешь что-то подобное, он сразу изменяет свое отношение на 180 градусов, словно старается скомпенсировать свое поведение. Он находил мне другие работы и всем рассказывал о моей гениальности. Он говорил: «Он чинит радиоприемники, думая!» Ему и в голову не приходило, что можно чинить радио подумав: какой-то маленький мальчик останавливается, думает и находит способ сделать это, — для него это было непостижимо.

В то время в радицепях было не так уж сложно разобраться: все было на виду. Сняв крышку радиоприемника (главная проблема состояла в том, чтобы отыскать нужные винты), можно было увидеть, что вот это резистор, это конденсатор, это — это, а это — то; на каждой детали стояла надпись. И если из конденсатора сочился воск, значит температура слишком высокая, и было ясно, что конденсатор перегорел. Если один из резисторов был покрыт углем, снова было понятно, в чем дело. Или, если ты не мог определить, что случилось, глядя на детали, ты мог проверить радиоприемник с помощью вольтметра и посмотреть, проходит ли напряжение. Приемники были простыми, соответственно и цепи были не сложными. Сеточное напряжение в триодах было всегда около полутора или двух вольт, в то время как катодное напряжение — около 100 или 200 вольт постоянного тока. Так что починить радио для меня было не так уж сложно: я понимал, что происходит внутри, замечал, что что-то не в порядке, и исправлял.

Иногда на это уходило некоторое время. Помню, как-то раз у меня целый день ушел на то, чтобы найти перегоревший резистор, на котором не было явных признаков неисправности. Именно в тот раз я чинил радио для подруги своей мамы, поэтому время у меня было — никто не стоял над душой и не надоедал вопросами: «Что ты делаешь?» Вместо этого меня спрашивали: «Хочешь молока или кусочек торта?» В конце концов, я починил радио, так как обладал, и до сих пор обладаю, упорством. Начиная решать головоломку, я не могу оторваться от нее. Если бы подруга моей мамы сказала: «Да ладно, брось ты его, тут слишком много работы», я бы просто взорвался, потому что если уж я взялся за эту штуку, то хочу добить ее. Я не могу просто бросить ее после того, когда столько о ней узнал. Я должен продолжать, чтобы выяснить, наконец, что же с ней случилось.

Это и есть присущая мне потребность в разгадывании головоломок. Именно она объясняет мое желание найти ключ к иероглифам майя и мои попытки открывать сейфы. Помню, когда я учился в старших классах, как-то во время первого урока ко мне подошел парнишка с какой-то геометрической задачкой или чем-то другим, что ему задали на занятиях продвинутого курса математики. Я бился над этой чертовой задачкой, пока не решил: на это у меня ушло минут пятнадцать — двадцать. Но в течение дня ко мне

подходили и другие ребята с той же самой задачкой, и я решал ее в мгновение ока. Так что для одного парня я помучился двадцать минут, а пять остальных сочли меня супергением.

Вот так и возникла моя фантастическая репутация. Судя по всему, пока я учился в старших классах, через меня прошли все головоломки, известные человечеству. Я знал каждую чертову, бредовую загадку, когда-либо изобретенную человечеством. И когда, уже поступив в МТИ, я как-то раз отправился на танцы, я встретил там одного старшекурсника с его девушкой. Она знала множество головоломок, а он сказал ей, что я в них неплохо разбираюсь. Так что во время танца она подошла ко мне и сказала: «Ты, говорят, неглупый парень. Отгадай-ка вот это: человеку нужно порубить восемь корд дров...»

Я говорю: «Он начинает рубить корды через одну на три части», — потому что уже слышал эту загадку.

Тогда она уходит и возвращается с новой загадкой, и всегда оказывается, что я ее знаю.

Это продолжалось довольно долго, и, наконец, почти в конце танцев, она подходит ко мне в полной уверенности, что на этот раз она меня поймает, и говорит:

— Мать и дочь едут в Европу...

— У дочери бубонная чума.

Она просто рухнула! Того, что она сказала, было явно недостаточно, чтобы разгадать эту загадку. Это была очень длинная история о том, как мать и дочь остановились в отеле в разных комнатах, а на следующий день мать входит в комнату дочери, а там никого нет или живет кто-то другой. Она говорит: «Где моя дочь?», а владелец отеля спрашивает: «Какая дочь?» В регистрационном журнале записано только имя матери и т. д., и т. п. В общем, случившееся выглядит ужасно таинственно. Ответ же заключается в следующем: у дочери обнаружилась бубонная чума, и владелец отеля, не желая закрывать его, быстренько отправляет дочь в больницу, отдает распоряжение убрать в ее комнате, уничтожает все следы ее пребывания в отеле. История была длинная, но я уже слышал ее и поэтому, когда девушка начала с: «Мать и дочь едут в Европу», — я понял, что знаю одну загадку, которая начинается именно так, поэтому я просто наугад дал ответ и попал.

...Также я чинил печатные машинки с помощью скрепок для бумаг и резиновых лент (резиновые ленты не рвались так, как они рвутся здесь, в Лос-Анджелесе), но профессиональным мастером я не был; я просто направлял их так, чтобы они начинали работать. Необходимость отыскать, что же произошло, и определить, что нужно сделать, чтобы исправить поломку, — вот что интересовало меня, вот что составляло для меня головоломку.

Создание ученого¹⁶

Еще до моего рождения мой отец сказал маме: «Если родится мальчик, то он станет ученым». Когда я был всего лишь малышом, которому приходилось сидеть на высоком стуле, чтобы доставать до стола, мой отец принес домой много маленьких кафельных плиток — которые были отбракованы — разных цветов. Мы играли с ними: отец ставил их на мой стул вертикально, как домино, я толкал колонну с одного конца, и все плитки складывались.

Прошло совсем немного времени, и я уже помогал ставить их. Совсем скоро мы начали ставить их более сложным образом: две белые плитки и одну голубую и т. д. Когда моя мама увидела это, она сказала: «Оставь бедного ребенка в покое. Если он хочет поставить голубую плитку, пусть ставит».

Но отец сказал: «Нет, я хочу показать ему, что такое узоры и насколько они интересны. Это что-то вроде элементарной математики». Таким образом, он очень рано начал рассказывать мне о мире и о том, как он интересен.

¹⁶ Фейнман Р. Какое тебе дело до того, что думают другие? М., 2001. Пер. Н. А. Зубченко.

У нас дома была «Британская энциклопедия». Когда я был маленьким, отец обычно сажал меня на колени и читал мне статьи из этой энциклопедии. Мы читали, скажем, о динозаврах. Книга рассказывала о тиранозавре рексе и утверждала что-то вроде: «Этот динозавр двадцать пять футов в высоту, а ширина его головы — шесть футов».

Тут мой папа переставал читать и говорил: «Давай-ка посмотрим, что это значит. Это значит, что если бы он оказался на нашем дворе, то смог бы засунуть голову в это окно». (Мы были на втором этаже.) «Но его голова была бы слишком широкой, чтобы пролезть в окно». Все, что он мне читал, он старался перевести на язык реальности.

Я испытывал настоящий восторг и жуткий интерес, когда думал, что существовали животные такой величины и что все они вымерли, причем никто не знает почему. Вследствие этого я не боялся, что одно из них залезет в мое окно. Однако от своего отца я научился переводить: во всем, что я читаю, я стараюсь найти истинный смысл, понять, о чем же в действительности идет речь.

Мы часто ездили в Кэтскилл маунтинз, куда нью-йоркцы обычно отправляются летом. В течение недели отцы работают в Нью-Йорке и приезжают только на выходные. По выходным отец водил меня на прогулку в лес и рассказывал множество интересных вещей, которые там происходят. Когда это увидели другие мамы, они подумали, что будет замечательно, если все папы будут также водить детей на прогулку. Они попытались поработать над своими мужьями, но поначалу у них ничего не вышло. Потом они захотели, чтобы мой отец взял и других детей, но он не захотел, потому что у нас с ним были особые отношения. В конце концов, в следующие выходные всем отцам пришлось вывести своих детей на прогулку.

В следующий понедельник, когда отцы уехали на работу, мы, дети, играли во дворе. И один паренек мне говорит: «Видишь вон ту птицу? Какая это птица?»

Я сказал: «Не имею ни малейшего понятия о том, какая это птица».

Он говорит: «Это коричневошейный дрозд. Твой отец ничему тебя не учит!»

Но все было как раз наоборот. Он уже научил меня: «Видишь ту птицу? — говорит он. — Это певчая птица Спенсера». (Я знал, что настоящего названия он не знает.) «Ну так вот, по-итальянски это Чутто Лапиттида. По-португальски: Бом да Пейда. По-китайски: Чунь-лонь-та, а по-японски: Катано Текеда. Ты можешь знать название этой птицы на всех языках мира, но когда ты закончишь перечислять эти названия, ты ничего не будешь знать о самой птице. Ты будешь знать лишь о людях, которые живут в разных местах, и о том, как они ее называют. Поэтому давай посмотрим на эту птицу и на то, что она делает, — вот что имеет значение». (Я очень рано усвоил разницу между тем, чтобы знать название чего-то и знать это что-то.)

Он сказал:

— Например, взгляни, птица постоянно копается в своих перышках. Видишь, она ходит и копается в перышках?

— Да.

Он говорит:

— Как ты думаешь, почему птицы копаются в своих перьях?

Я сказал:

— Ну, может быть, во время полета их перья пачкаются, поэтому они копошатся в них, чтобы привести их в порядок.

— Хорошо, — говорит он. — Если бы это было так, то они должны были бы долго копошиться в своих перьях сразу же после того, как полетают. А после того, как они какое-то время провели на земле, они уже не стали бы столько копать в своих перьях — понимаешь, о чем я?

— Угу.

Он говорит: «Давай посмотрим, копошатся ли они в своих перьях больше сразу после того, как сядут на землю».

Увидеть это было несложно: между птицами, которые бродили по земле в течение некоторого времени, и теми, которые только что приземлились, особой разницы не было. Тогда я сказал: «Я сдаюсь. Почему птица копается в своих перьях?»

— Потому что ее беспокоят вши, — говорит он. — Вши питаются белковыми слоями, которые сходят с ее перьев.

Он продолжил: «На лапках каждой вши есть воск, которым питаются маленькие клещи. Они не в состоянии идеально переваривать это вещество, поэтому выделяют материал, подобный сахару, в котором растут бактерии».

Наконец, он говорит: «Итак, ты видишь, что везде, где есть источник пищи, существует какая-то форма жизни, которая его находит».

Теперь я знаю, что, быть может, это не были вши, что, быть может, на их ножках не живут клещи. Эта история, возможно, была неправильна в деталях, но то, что он мне рассказывал, было правильно в принципе.

В другой раз, когда я был старше, он сорвал с дерева лист. На этом листе был порок, то, на что мы обычно не обращаем особого внимания. Лист был поврежден: на нем была маленькая коричневая линия, в форме буквы «С», которая начиналась где-то в середине листа и завершалась завитком где-то у края.

— Посмотри на эту коричневую линию, — говорит отец. — Она узкая в начале и расширяется вблизи края листа. Что это? Это муха: голубая муха с желтыми глазами и зелеными крылышками прилетела и отложила на этом листе яйцо. Потом, когда из яйца выводится личинка (что-то вроде гусеницы), она в течение всей своей жизни ест этот лист — именно здесь она получает свою пищу. Съедая лист, она оставляет за собой этот коричневый след. По мере роста личинки след становится шире, пока личинка не вырастет до своего полного размера в конце листа, где она превращается в муху — голубую муху с желтыми глазами и зелеными крылышками, — которая улетает и откладывает яйцо на другой лист.

И опять я знал, что детали этой истории нельзя назвать в точности правильными — это мог быть и жук, — но сама идея, которую он пытался мне объяснить, представляла собой занятную роль жизни: вся жизнь — лишь размножение. Неважно, насколько сложен этот процесс, главная задача — вновь повторить его!

Не имея опыта общения со многими отцами, я не осознавал, насколько замечателен мой. Как он узнал глубокие принципы науки, как он научился ее любить? Как узнал, что за ней стоит и почему ей стоит заниматься? Я никогда не спрашивал его об этом, потому что я просто считал, что все эти вещи известны любому отцу.

Мой отец учил меня обращать внимание на все. Однажды я играл с «железной дорогой»: маленьким вагончиком, который ездил по рельсам. В вагончике был шарик, и, потянув вагончик, я заметил одну особенность движения шарика. Я пошел к отцу и сказал: «Слушай, пап, я кое-что заметил. Когда я тяну вагончик, шарик катится к его задней стенке. Когда же я вдруг резко останавливаюсь, то шарик катится к передней стенке вагона. Почему это происходит?».

— Этого не знает никто, — сказал он. — Основной принцип состоит в том, что движущееся тело стремится продолжать свое движение, а покоящееся тело стремится оставаться в покое, если только его сильно не толкнуть. Эта тенденция называется «инерцией», но никто не знает, почему она имеет место.

Итак, вот это глубокое понимание. Он не просто сказал мне название этого явления.

Затем он продолжил: «Если ты посмотришь со стороны, то увидишь, что по отношению к шарiku ты тянешь заднюю стенку вагона, шарик же остается неподвижным. Но на самом деле, из-за трения он начинает двигаться вперед по отношению к земле. Но назад он не движется».

Я побежал к маленькому вагончику, снова положил в него шарик и потянул вагончик. Глядя сбоку, я увидел, что отец действительно был прав. Шарик немного двигался вперед относительно дорожки сбоку.

Вот так мой отец обучал меня, используя такие примеры и разговоры: никакого

давления — просто приятные, интересные разговоры. Все это обеспечило для меня мотивацию на всю оставшуюся жизнь. Именно благодаря этому, мне интересны все науки. (Так уж случилось, что у меня лучше всего получается заниматься физикой.)

Я, так сказать, попался, подобно человеку, которому дали что-то удивительное, когда он был ребенком, и он постоянно ищет это снова. Я все время ищу, как ребенок, чудеса, которые, я знаю, что найду — и нахожу: быть может, не каждый раз, но время от времени.

Примерно в то же время мой двоюродный брат, который был тремя годами старше, учился в средней школе. Ему с трудом давалась алгебра, поэтому к нему приходил домашний учитель. Мне разрешали сидеть в уголке, когда учитель пытался научить моего брата алгебре. Я слышал, как он рассказывает об x .

Я сказал брату:

— Что ты пытаешься сделать?

— Я пытаюсь найти, чему равен x в уравнении $2x + 7 = 15$.

Я говорю:

— Ты имеешь в виду 4.

— Да, но ты применил арифметику. А его нужно найти с помощью алгебры.

К счастью, я изучил алгебру, не ходя в школу. На чердаке я нашел старый учебник алгебры, принадлежавший моей тете, и понял, что вся идея состоит в том, чтобы найти x — неважно как. Я не видел разницы в том, чтобы найти его «с помощью арифметики» или «с помощью алгебры». «Сделать это с помощью алгебры» означало взять набор правил, которые, если им слепо следовать, могут дать ответ: «вычти 7 из обеих частей уравнения; если у тебя есть множитель, то раздели на него обе части», — и так далее — ряд шагов, с помощью которых можно получить ответ, если не понимаешь, что пытаешься сделать. Правила изобрели, чтобы все дети, которые должны изучать алгебру, могли сдать экзамен. И именно поэтому моему брату никак не давалась алгебра.

В нашей местной библиотеке была серия математических книг, которая начиналась с книги «Арифметика для практика». Потом шла «Алгебра для практика» и уж потом — «Тригонометрия для практика». (По этой книге я изучил тригонометрию, но вскоре забыл ее, потому что не слишком хорошо понял.) Когда мне было около тринадцати лет, библиотека должна была получить «Исчисление для практика». К тому времени из энциклопедии я узнал, что исчисление — это важный и интересный предмет, так что я должен был его изучить.

Когда я наконец увидел книгу по исчислению в библиотеке, то очень разволновался. Я пошел к библиотекарю, чтобы оформить получение книги, но она посмотрела на меня и сказала: «Ты же совсем маленький. Зачем тебе эта книга?»

Это был один из немногих случаев в моей жизни, когда я почувствовал себя неуютно и солгал. Я сказал, что беру книгу для отца.

Я принес книгу домой и начал изучать по ней исчисление. Я счел книгу весьма простой и незамысловатой. Мой отец начал ее читать, но счел запутанной и непонятной... Тогда я впервые осознал, что, в некотором смысле, я знаю больше него.

Кроме физики отец учил меня и многому другому, например, пренебрегать некоторыми вещами, не знаю, правильно это или нет. К примеру, когда я был совсем маленьким, он сажал меня на колени и показывал ротогравюры в «Нью-Йорк таймс» — это напечатанные фотографии, которые тогда только-только появились в газетах.

Однажды мы смотрели на фотографию папы римского, которому кланялись все остальные люди. Отец сказал: «Взгляни-ка на этих людей. Вот стоит один человек, а все остальные ему кланяются. В чем же разница между ними? Этот римский папа», — он, кстати, терпеть не мог священников. Он сказал: «Вся разница — в шапке, которая на нем надета». (Если это был генерал, то вся разница состояла в эполетах. Все дело всегда было в костюме, в униформе, в положении.) «Но, — сказал он, — у этого человека те же самые проблемы, что и у любого другого: он обедает; ходит в ванную. Он просто человек». (Кстати,

мой папа изготавливал униформы, поэтому он знал разницу между человеком в униформе и человеком без нее — для него это был один и тот же человек.)

Несмотря на то, что моя мама ничего не знала о науке, она тоже оказала на меня очень сильное влияние. Например, у нее было прекрасное чувство юмора, и от нее я узнал, что самые высокие формы понимания, которых мы можем достичь, — это смех и сострадание.

Марина Цветаева «Пушкин был мой первый поэт»¹⁷

В начале пути почти каждого таланта можно найти значимую встречу. У Цветаевой это была встреча с Пушкиным.

В известной прозе «Мой Пушкин» мы находим волнующий рассказ о том, как с самого раннего возраста трагическая судьба поэта отозвалась в душе ребенка, и Пушкин вошел в жизнь девочки во многих образах: картина дуэли на стене; памятник Пушкина на московском бульваре; синий том в тайном шкафу; одинокая Татьяна на театральной сцене. Каждое впечатление оставляет неизгладимый след в душе маленькой Марины и все больше погружает в ее любимую «стихию стихов».

Если в воспоминаниях других известных людей мы находим описания внешних условий их жизни — их увлечений и ранних успехов, то у Цветаевой — это внутренняя история рождения поэта, осознания и неотступного осуществления своего призвания.

В красной комнате был тайный шкаф. Но до тайного шкафа было другое, была картина в спальне матери — «Дуэль».

Снег, черные прутья деревец, двое черных людей проводят третьего, под мышки, к саням — а еще один, другой, спиной отходит. Уводимый — Пушкин, отходящий — Дантэс. Дантэс вызвал Пушкина на дуэль, то есть заманил его на снег и там, между черных безлистных деревец, убил.

Первое, что я узнала о Пушкине, это — что его убили. Потом я узнала, что Пушкин — поэт, а Дантэс — француз. Дантэс возненавидел Пушкина, потому что сам не мог писать стихи, и вызвал его на дуэль, то есть заманил на снег и там убил его из пистолета в живот. Так я трех лет твердо узнала, что у поэта есть живот, и, — вспоминаю всех поэтов, с которыми когда-либо встречалась, — об этом *животе* поэта, который так часто не-сыт и в который Пушкин был убит, пеклась не меньше, чем о его душе. С пушкинской дуэли во мне началась *сестра*. Больше скажу — в слове *живот* для меня что-то священное, — даже простое «болит живот» меня заливают волной содрогающегося сочувствия, исключаящего. Нас этим выстрелом всех в живот ранили.

— Нет, нет, нет, ты только представь себе! — говорила мать, совершенно не представляя себе этого *ты*. — Смертельно раненный, в снегу, а не отказался от выстрела! Прицелился, попал и еще сам себе сказал: браво! — тоном такого восхищения, каким ей, христианке, естественно бы: «Смертельно раненный, в крови, а простил врагу!» Отшвырнул пистолет, протянул руку, — этим, со всеми нами, явно возвращая Пушкина в его родную Африку мес т и и страсти и не подозревая, какой урок — если не мести, так страсти — на всю жизнь дает четырехлетней, еле грамотной мне.

Пушкин был мой первый поэт, и моего первого поэта — убили.

С тех пор, да, с тех пор, как Пушкина на моих глазах на картине Наумова — убили, ежедневно, ежечасно, непрерывно убивали все мое младенчество, детство, юность, — я

¹⁷ Цветаева М. Мой Пушкин. СПб., 2006.

поделила мир на поэта — и всех, и выбрала — поэта, в подзащитные выбрала поэта: защищать — поэта — от всех, как бы эти все ни одевались и ни назывались...

Но что же тайна красной комнаты? Ах, весь дом был тайный, весь дом был — тайна!

Запретный шкаф. Запретный плод. Этот плод — том, огромный сине-лиловый том с золотой надписью вкось — Собрание сочинений А. С. Пушкина.

В шкафу у старшей сестры Валерии живет Пушкин, тот самый негр с кудрями и сверкающими белками. Но до белков — другое сверкание: собственных зеленых глаз в зеркале, потому что шкаф — обманный, зеркальный, в две створки, в каждой — я, а если удачно поместиться — носом против зеркального водораздела, то получается не то два носа, не то один — неузнаваемый.

Толстого Пушкина я читаю в шкафу, носом в книгу и в полку, почти в темноте и почти вплоть и немножко даже удушенная его весом, приходящимся прямо в горло, и почти ослепленная близостью мелких букв. Пушкина читаю прямо в грудь и прямо в мозг. Мой первый Пушкин — «Цыганы». Таких имен я никогда не слышала: Алеко, Земфира, и еще — Старик. Я стариков знала только одного — сухорукого Осипа в тарусской богадельне, у которого рука отсохла — потому что убил брата огурцом. Потому что мой дедушка, А. Д. Мейн, — не старик, потому что старики чужие и живут на улице.

Живых цыган я не видела никогда, зато отродясь слышала про цыганку, мою кормилицу, так любившую золото, что, когда ей подарили серьги и она поняла, что они не золотые, а позолоченные, она вырвала их из ушей с мясом и тут же втоптала в паркет.

Но вот совсем новое слово — любовь. Когда жарко в груди, в самой грудной ямке (всякий знает!), и никому не говоришь — любовь. Мне всегда было жарко в груди, но я не знала, что это — любовь. Я думала — у всех так, всегда — так. Оказывается — только у цыган. Алеко влюблен в Земфиру.

А я влюблена — в «Цыган»: в Алеко, и в Земфиру, и в ту Мариулу, и в того цыгана, и в медведя, и в могилу, и в странные слова, которыми все это рассказано. И не могу сказать об этом ни словом: взрослым — потому что краденое, детям — потому что я их презираю, а главное — потому что тайна: моя — с красной комнатой, моя — с синим томом, моя — с грудной ямкой.

Но в конце концов любить и не говорить — разорваться, и я нашла себе слушательницу, и даже двух — в лице Асиной няньки Александры Мухиной и ее приятельницы — швеи, приходившей к ней, когда мать заведомо уезжала в концерт, а невинная Ася — спала.

— А у нас Мусенька — умница, грамотная, — говорила нянька, меня не любившая, но при случае мною хваставшаяся, когда исчерпаны были все разговоры о господах и выпиты были все полагающиеся чашки. — А ну-ка, Мусенька, расскажи про волка и овечку. Или про того (барабанщика).

(Господи, как каждому положена судьба! Я уже пяти лет была чьим-то духовным ресурсом. Говорю это не с гордостью, а с горечью.)

И вот однажды, набравшись духу, с обмирающим сердцем, глубоко глотнув:

— Я могу рассказать про «Цыган».

— Цыган? — нянька, недоверчиво. — Про каких таких цыган? Да кто ж про них книжки-то писать будет, про побирох этих, руки их загребушие?

— Это не такие. Это — другие. Это — табор.

— Ну, так и есть табор. Всегда возле усадьбы табором стоят, а потом гадать приходит — молодая чертовка: «Дай, барынька, погадаю о твоём талане...», — а старая чертовка — белье с веревки али уж прямо — бриллиантовую брошь с барынина туалета...

— Не такие цыгане. Это — другие цыгане.

— Ну, пушай, пушай расскажет! — приятельница, чуя в моем голосе слезы. — Может, и вправду другие какие... Пушай расскажет, а мы — слушаем.

— Ну, был один молодой человек. Нет, был один старик, и у него была дочь. Нет, я

лучше стихами скажу. Цыгане шумною толпой — По Бессарабии кочуют — Они сегодня над рекой — В шатрах изодранных ночуют — Как вольность весел их ночлег — и так далее — без передышки и без срединных запятых — до: звон походной наковальни, которую, может быть, принимаю за музыкальный инструмент, а может быть, просто — принимаю.

— А складно говорит! как по-писаному! — восклицает швея, тайно меня любившая, но не смеющая, потому что нянька — Асина.

— Мед-ве-едь... — осуждающе произносит нянька, повторяя единственное дошедшее до ее сознания слово.

Через Пушкина происходит первая встреча Марины со стихами. С четырехлетнего возраста в ее сознании шла огромная работа над Словом. Можно сослаться на запись ее матери в дневнике: «Старшая все ходит вокруг и бубнит рифмы. Может быть, моя Маруся будет поэтом?» Эта работа скрыта от взрослых, вначале — потому что еще нет подходящих слов, позже — потому что не поймут, а еще хуже — осудят или запретят. В результате приходится искать убежища — в шкафу, под роялем и, конечно, в себе! Звучание слов и их рифмы, слова в книгах и даже нотах, их загадочные и таинственные значения заполняли мысли девочки. Можно видеть, как в ее воображении рождались образы и ассоциации, позволявшие охватить, обобщить, осмыслить значение любого непонятного, и этим еще больше *интригующего*, слова.

Пушкин меня заразил любовью. *Словом* — любовь. Ведь разное: вещь, которую никак не зовут, — и вещь, которую *так* зовут. Когда горничная походя сняла с чужой форточки рыжего кота, который сидел и зевал, и он потом три дня жил у нас в зале под пальмами, а потом ушел и никогда не вернулся — это любовь. Когда Августа Ивановна говорит, что она от нас уедет в Ригу и никогда не вернется, — это любовь. Когда барабанщик уходил на войну и потом никогда не вернулся — это любовь. Когда розово-газовых нафталиновых парижских кукол весной после перетряски убирают в сундук, а я стою и смотрю и знаю, что я их больше никогда не увижу, — это любовь. То есть это — от рыжего кота, Августы Ивановны, барабанщика и кукол так же и там же жжет, как от Земфиры и Алеко и Мариулы и могилы. А вот волк и ягненок — не любовь, хотя мать меня и убеждает, что это очень грустно.

— Подумай, такой белый, невинный ягненок, который никакой воды не мутит...

— Но волк — *тоже* хороший!

Все дело было в том, что я от природы любила волка, а не ягненка, а в данном случае волка было любить нельзя, потому что он съел ягненка, а ягненка я любить — хоть и съеденного и белого — не могла, вот и не выходила любовь, как никогда ничего у меня не вышло с ягнятами.

«Сказал и в темный лес ягненка поволок».

Под влиянием непрерывного воровского чтения, естественно, обогащался и словарь.

— Тебе какая кукла больше нравится: тетина нюрнбергская или крестнина парижская?

— Парижская.

— Почему?

— Потому что у нее глаза страстные.

Мать, угрожающе:

— Что-о-о?

— Я, — спохватываясь: — Я хотела сказать: страшные.

Мать еще более угрожающе:

— То-то же!

Мать не поняла, мать услышала смысл и, может быть, вознегодовала правильно. Но поняла — неправильно. Не глаза — страстные, а чувство страсти, вызываемое во мне этими глазами... приписала — глазам. Не я одна. *Все* поэты. (А потом стреляются — что

кукла *не* страстная!) Все поэты, и Пушкин первый.

Маленькой Марине уже знакомо «чувство страсти», ее восприимчивость и эмоциональность быстро развивались и обогащались. Но то ли по причине «занятости» окружающих, то ли в силу склада характера близких, в первую очередь матери, а также самой Марины, а скорее всего из-за всего этого вместе, она часто оставалась одна, наедине со своими переживаниями. Слова из Онегина о Татьяне: «Она в семье своей родной казалась девочкой чужой» — вполне как бы были про нее. В результате эмоции ребенка уходят вглубь и прочно запечатлеваются в ее душе со всей их детской категоричностью, прямоотой и силой. И здесь мы видим, как в развитие стойкого жизненного интереса вовлекается и формирование личности ребенка.

Немного позже — мне было шесть лет, и это был мой первый музыкальный год — в музыкальной школе Зограф-Плаксиной, в Мерзляковском переулке, был, как это тогда называлось, публичный вечер — рождественский. Давали сцену из «Русалки», потом «Рогнеду» — и:

Теперь мы в сад перелетим,
Где встретилась Татьяна с ним.

Скамейка. На скамейке — Татьяна. Потом приходит Онегин, но не садится, а *она* встает. Оба стоят. И говорит только он, все время, долго, а она не говорит ни слова. И тут я понимаю, что рыжий кот. Августа Ивановна, куклы *не* любовь, что *это* — любовь: когда скамейка, на скамейке — она, потом приходит он и все время говорит, а она не говорит ни слова.

— Что же, Муся, тебе больше всего понравилось? — мать, по окончании.

— Татьяна и Онегин.

— Что? Не «Русалка», где мельница, и князь, и леший? Не «Рогнеда»?

— Татьяна и Онегин.

— Но как же это может быть? Ты же там ничего не поняла? Ну, что ты там могла понять?

Молчу.

Мать, торжествуя:

— Ага, ни слова не поняла, как я и думала. В шесть лет! Но что же тебе там могло понравиться?

— Татьяна и Онегин.

— Ты совершенная дура и упрямее десяти ослов! (Оборачиваясь к подошедшему директору школы, Александру Леонтьевичу Зографу.) Я ее знаю, теперь будет всю дорогу на извозчике на все мои вопросы повторять: «Татьяна и Онегин!». Прямо не рада, что взяла. Ни одному ребенку мира из всего виденного не понравилась бы «Татьяна и Онегин», все бы предпочли «Русалку», потому что — сказка, понятное. Прямо не знаю, что мне с ней делать!!!

— Но почему, Мусенька, «Татьяна и Онегин»? — с большой добротой директор.

(Я, молча, полными словами:) «Потому что — любовь».

— Она, наверное уже седьмой сон видит! — подходящая Надежда Яковлевна Брюсова, наша лучшая и старшая ученица, — и тут я впервые узнаю, что есть седьмой сон, как мера глубины сна и ночи.

— А это, Муся, что? — говорит директор, вынимая из моей муфты вложенный туда мандарин, и вновь незаметно (заметно!) вкладывая, и вновь вынимая, и вновь, и вновь...

Но я уже совершенно онемела, окаменела, и никакие мандаринные улыбки, его и Брюсовой, и никакие страшные взгляды матери не могут вызвать с моих губ — улыбки благодарности. На обратном пути — тихом, позднем, санном — мать ругается:

— Опозорила!! Не поблагодарила за мандарин! Как дура — шести лет — влюбилась в Онегина!

Мать ошиблась. Я не в Онегина влюбилась, а в Онегина и Татьяну (и, может быть, в Татьяну немножко больше), в них обоих вместе, в любовь. И ни одной своей вещи я потом не писала, не влюбившись одновременно в двух (в нее — немножко больше), не в них двух, а в их любовь. В любовь.

Скамейка, на которой они *не* сидели, оказалась предопределяющей. Я ни тогда, ни потом, никогда не любила, когда *целовались*, всегда — когда расставались. Никогда — когда садились, всегда — расходились. Моя первая любовная сцена была нелюбовная: он не любил (это я поняла), потому и не сел, любила *она*, потому и встала, они ни минуты не были вместе, ничего вместе не делали, делали совершенно обратное: он говорил, она молчала, он не любил, она любила, он ушел, она осталась, так что если поднять занавес — она одна стоит, а может быть, опять сидит, потому что стояла она только потому, что *он* стоял, а потом рухнула и так будет сидеть вечно. Татьяна на той скамейке сидит вечно.

Эта первая моя любовная сцена предопределила все мои последующие, всю страсть во мне несчастной, невзаимной, невозможной любви. Я с той самой минуты не захотела быть счастливой и этим себя на *нелюбовь* — обрекла. В том-то и все дело было, что он ее не любил, и только потому она его — *так*, и только для того его, а не другого, в любовь выбрала, что втайне *знала*, что он ее не сможет любить. (Это я сейчас говорю, но *знала* уже тогда, тогда знала, а сейчас научилась говорить.) У людей с этим роковым даром несчастной — единоличной — всей на себя взятой — любви — прямо *гений* на неподходящие предметы.

Но еще одно, не одно, а многое, предопределил во мне «Евгений Онегин». Если я потом всю жизнь по сей последний день всегда первая писала, первая протягивала руку — и руки, не страшась суда, — то только потому, что на заре моих дней лежащая Татьяна в книге, при свечке, с растрепанной и переброшенной через грудь косой, это на моих глазах — сделала. И если я потом, когда уходили (всегда — уходили), не только не протягивала вслед рук, а головы не оборачивала, то только потому, что тогда, в саду, Татьяна застыла статуей.

Урок смелости. Урок гордости. Урок верности, Урок судьбы. Урок одиночества.

С младенчества посеячас весь «Евгений Онегин» для меня сводится к трем сценам: той свечи — той скамьи — того паркета. Иные из моих современников усмотрели в «Евгении Онегине» блистательную шутку, почти сатиру. Может быть, они правы, и может быть, не прочти я его до семи лет... но я прочла его в том возрасте, когда ни шуток, ни сатиры нет: есть темные сады (как у нас в Тарусе), есть развороченная постель со свечой (как у нас в детской), есть блистательные паркетные (как у нас в зале) и есть любовь (как у меня в грудной ямке). *Быт?* («Быт русского дворянства в первой половине XIX века».) Нужно же, чтобы люди были как-нибудь одеты.

Обращают на себя внимание слова: «...но я прочла его в том возрасте, когда ни шуток, ни сатиры нет...». И это большая правда о ребенке, который может пережить чувство любви, не важно, своей или прочитанной, не менее серьезно, чем взрослый, и потом беречь чистоту и возвышенность этого чувства в душе как собственную драгоценность, не одешевляя и не предавая ее. Такую правду о ребенке, и лично о самой себе, М. Цветаева раскрывает нам талантливее и глубже, чем это могло бы сделать любое «психологическое исследование». Мир ребенка обогащается с возрастом, и особенно интенсивно — когда он чем-то увлечен, и внутри этого увлечения. На примере других детей — авторов предыдущих воспоминаний — мы видели настойчивую и разнообразную деятельность, страстное желание узнать, понять и осмыслить, работу воображения и фантазии — неизменных спутников любого творчества. Как много всего этого мы встречаем в переживаниях Марины в рассказе о любимом стихотворении Пушкина!

«К Морю». Все предшествовавшее лето 1902 года я переписывала его из хрестоматии в самосшивную книжку. Зачем в книжку, раз есть в хрестоматии? Чтобы всегда носить с собой в кармане, чтобы с Морем гулять в Пачево и на пеньки, чтобы мое было, чтобы я сама написала.

Все на воле: я одна сижу в нашей верхней балконной клетке и, обливаясь потом, — от июля, полдня, чердачного верха, а главное от позапрошлогодного предсмертного дедушкиного карлсбадского добереженного до неносимости и невыносимости платья — обливаясь потом и разрываясь от восторга, а немножко и от всюду врезающегося пикая, переписываю черным отвесным круглым, крупным и все же тесным почерком в самосшивную книжку — «К Морю».

Тетрадка для любви худа, да у меня их и нет: мать мне на писание бумаги не дает, дает на рисование. Книжка — десь писчей бумаги, сложенной ввосемь, где нужно разрезанной и прошитой посредине только раз, отчего книжка топырится, распадается, распирается, разрывается — вроде меня в моих пикаях и шевиотах, — как я ни пытаюсь ее сдвинуть, все свободное от писания время сидя на ней всем весом и напором, а на ночь кладя на нее мой любимый булыжник — с искрами. Не на нее, а на них, ибо за лето — которая?

Перепишу и вдруг увижу, что строки к концу немножко клонятся, либо, переписывая, пропущу слово, либо кляксу посажу, либо рукавом смажу конец страницы — и кончено: этой книжки я уже любить не буду, это не книжка, а самая обыкновенная детская мазня. Лист вырывается, но книга с вырванным листом — гадкая книга, берется новая (Асина или Андрюшина) десь — и терпеливо, неумело, огромной вышивальной иглой (другой у меня нет) шьется новая книжка, в которую с новым усердием: «Прощай, свободная стихия!».

Стихия, конечно, — стихи, и ни в одном другом стихотворении это так ясно не сказано. А почему прощай? Потому что, когда любишь, всегда прощаешься. Только и любишь, когда прощаешься. А «моей души предел желаний» — предел, это что-то твердое, каменное, очень прочное, наврное, его любимый камень, на котором он всегда сидел.

Но самое любимое слово и место стихотворения:

Вотще рвалась душа моя!

Вотще — это *туда*. Куда? Туда, куда и я. На тот берег Оки, куда я никак не могу попасть, потому что между нами Ока, еще в La Chaux de Fonds, в тетино детство, где по ночам ходит сторож с доской и поет: «Gue, bon gue! Il a frappe dix heures!» Стража не спит! Пробило десять! (*франц.*).¹⁸ — и все тушат огни, а если не тушат, то приходит доктор или сажают в тюрьму; *вотще* — это в чуждую семью, где я буду одна без Аси и самая любимая дочь, с другой матерью и с другим именем — может быть, Катя, а может быть, Рогнеда, а может быть, сын Александр.

Ты ждал, ты звал. Я был окован.
Вотще рвалась душа моя!
Могучей страстью очарован
У берегов остался я.

Вотще — это туда, а могучей страстью — к морю, конечно. Получалось, что именно из-за такого желания *туда* Пушкин и остался у берегов.

Почему же он не поехал? Да потому, что могучей страстью очарован, так хочет — что прирос! (В этом меня утверждал весь мой опыт с *моими* детскими желаниями, то есть полный физический столбняк.) И, со всем весом судьбы и отказа:

У берегов остался я.

(Боже мой! Как человек теряет с обретением пола, когда *вотще, туда, то, там* начинает называться именем, из всей синева тоски и реки становится лицом, с носом, с глазами, а в моем детстве и с пенсне, и с усами... И как мы люто ошибаемся, называя это — *тем*, и как *не* ошибались — тогда!) Но вот имя — без отчества, имя, к которому на могильной плите последние верные с непогрешимым чутьем малых сих отказались приставить фамилию (у этого человека было два имени, фамилии не было) — и плита осталась пустой.

Одна скала, гробница славы...
Там погружались в хладный сон
Вспоминанья величавы:
Там угасал Наполеон...

О, прочти я эти строки раньше, я бы не спросила: «Мама, что такое Наполеон?». Наполеон — тот, кто погиб среди мучений, тот, кого замучили. Разве мало — чтобы полюбить на всю жизнь?

...И вслед за ним, как бури шум,
Другой от нас умчался гений,
Другой властитель наших дум.

Вижу звездочку и внизу сноску: Байрон. Но уже не вижу звездочки; вижу: над чем-то, что есть — море, с головой из лучей, с телом из тучи, мчится *гений*. Его зовут Байрон.

Это был апогей вдохновения. С «Прощай же, море...» начинались слезы. «Прощай же, море! Не забуду...» — ведь он же это морю — обещает, как я — моей березе, моему орешнику, моей елке, когда уезжаю из Тарусы. А море, может быть, не верит и думает, что — забудет, тогда он опять обещает: «И долго, долго слышать буду — Твой гул в вечерние часы...» (Не забуду — буду —)

В леса, в пустыни молчаливы
Перенесу, тобою полн,
Твои скалы, твои заливы,
И блеск, и тень, и говор волн.

И вот — видение: Пушкин, переносающий, проносящий над головой — все море, которое еще и внутри него (тобою полн), так что и внутри у него все голубое — точно он весь в огромном до неба хрустальном продольном яйце, которое еще и в нем (Моресвод). Как тот Пушкин на Тверском бульваре держит на себе все небо, так этот перенесет на себе — все море — в пустыню и там прольет его — и станет море.

В леса, в пустыни молчаливы
Перенесу, тобою полн,
Твои скалы, твои заливы,
И блеск, и тень, и говор волн.

Когда я говорила *волн*, слезы уже лились, каждый раз лились, и от этого тоже иногда приходилось начинать новую десть.

Об этой любви моей, именно из-за явности ее, никто не знал, и когда в ноябре 1902 года мать, войдя в нашу детскую, сказала: к морю — она не подозревала, что произносит

магическое слово ...

С этой минуты я ехала *К Морю*, весь этот предотъездный, уже внешкольный и бездельный, бесконечный месяц одиноко и непрерывно ехала *К Морю*.

По сей день слышу свое настойчивое и нудное, всем и каждому: «Давай помечтаем!». Под бред, кашель и задыхание матери, под гулы и скрипы сотрясаемого отъездом дома — упорное — сомнамбулическое — и диктаторское, и нищенское: «Давай помечтаем!» Ибо прежде, чем поймешь, что *мечта* и *один* — одно, что мечта — уже вещественное доказательство одиночества, и источник его, и единственное за него возмещение, равно как одиночество — драконов ее закон и единственное поле действия — пока с этим смиришься — жизнь должна пройти, а я была еще очень маленькая девочка.

— Ася, давай помечтаем! Давай немножко помечтаем! Совсем немножко помечтаем!

— Мы уже сегодня мечтали, и мне надоело. Я хочу рисовать.

— Ася! Я тебе дам то, Сергей-Семеныча, яичко.

— Ты его треснула.

— Я его внутри треснула, а снаружи оно целое.

— Тогда давай. Только очень скоро давай — помечтаем, потому что я хочу рисовать.

Яичко давалось, но тут же и отбиралось, потому что у Аси, кроме камешков и ракушек, в резерве морской мечты не было ничего. Иногда я ее, за эти ракушки, била.

С Асей *К Морю* дробилось на гравий, со старшей сестрой Валерией, море знавшей по Крыму, превращалось в татарские туфли — и дачи — и глицинии — в скалу Деву и в скалу Монах, во все что угодно превращалось — кроме самого себя, и от *моего* моря после таких «давай помечтаем» не оставалось ничего, кроме моего тоскливого неузнавания.

Чего же я от них — Аси, Валерии, гувернантки Марии Генриховны, горничной Ариши, тоже ехавшей, — хотела?

Может быть — памятника Пушкина на Тверском бульваре, а под ним — говора волн? Но нет — даже не этого. Ничего зрительного и предметного в моем *К Морю* не было, были шумы — той розовой австралийской раковины, прижатой к уху, и смутные видения — того Байрона и того Наполеона, которых я даже не знала лиц, и, главное, — звуки слов, и — самое главное — тоска: пушкинского призвания и прощания.

Последние слова этого отрывка снова поражают очень точным художественным описанием замечательного психологического факта. Одно слово может «вобрать» («впитать») в себя множество жизненных впечатлений, чувств, мыслей, надежд и превратиться в некое обобщенное переживание, чего-то очень значимого и личного! Так случается особое **эмоциональное обобщение**. Оно возникает благодаря слову и в связи с ним, но теперь к нему, к его значению или отдельным впечатлениям, никак не сводимо! Подобная «аккумуляция смысла» в слове как результат работы души происходит только при сильном мотиве, особенной любви и интересе к предмету. Замечательно, что такую мотивацию, любовь и интерес порождали у Марины с раннего детства именно стихи. В ее рассказах масса других примеров такого личностного восприятия слов и такой «захваченности» стихами. История «К Морю» — просто один из них.

Глава 3 Близкий значимый взрослый

Евгений Шварц «Мы все ссорились... но как я ее любил!»

Л. К. Чуковская «Если с ним — то не важно куда»

Г. Л. Выгодская «Просто жизненно необходимо».

Павел. Флоренский Семья и тетя Юля

Почти во всех главах этой книги мы находим упоминания о родителях и близких взрослых. В настоящий же раздел помещены особые тексты. В них — развернутые рассказы детей о значимом для них взрослом и взаимоотношениях с ним. Можно сказать, что это своего рода эмоциональные истории отношений с человеком, которого ребенок горячо любил, к кому был бесконечно привязан и кто оказал решающее влияние на формирование его личности.

Конечно, больше всего шансов оставить глубокий эмоциональный след в душе ребенка у родителя, хотя это может быть и кто-то другой из окружения, например бабушка, тетя или няня. Для ребенка огромное счастье, когда близкий взрослый не только его понимает, но и щедро дарит свое время! Когда он серьезно им интересуется и с ним занимается!

Такой была счастливая детская судьба *Л. Чуковской* и *Г. Выгодской*, благодаря их замечательным, талантливым и внимательным отцам.

К сожалению, счастье с любимым родителем не всегда бывает стойким и безоблачным. Детство *Е. Шварца* было окрашено горячей, преданной любовью к матери. Но, как мы увидим, непростая атмосфера в семье больно отзывалась и на взаимоотношения с родителями, и на эмоциональном состоянии ребенка.

Наконец в тексте *П. Флоренского* автор знакомит нас с описанием очень разных переживаний любви ребенка к взрослому. С одной стороны, это любовь — безраздельная близость. Совсем другая любовь — та, которая окрашена безоговорочным уважением и даже преклонением, с сохранением, однако, некоторой дистанции.

В целом в текстах этой главы мы можем найти ответы на многие волнующие вопросы: Как и за счет чего возникает душевная близость между ребенком и взрослым? Каким бывает этот взрослый? В чем секреты такого общения, которое «питает» ребенка в детстве и не забывается потом в течение всей жизни?

Евгений Шварц «Мы все ссорились... но как я ее любил!»¹⁹

Шварц Евгений Львович (1896–1958) — русский советский писатель, драматург. Посвятил свою жизнь театральному искусству и литературе. Автор более двадцати пьес для драматического и кукольного театра, а также нескольких кинофильмов.

Евгений Шварц описывает первую счастливую пору своего детства. Мать — самое дорогое существо на свете, и с сыном они «необыкновенно дружны!» Но счастье не длится долго. Оно сменяется переживаниями боли, страха, обиды. Несправедливые наказания отца, конфликты между отцом и матерью, наконец, ощущение настоящей беды: новорожденный брат забирает всю мамину любовь. От несчастливости мальчик замыкается, ведет себя резко, мама раздражается, становится холодной. Как тут не превратиться в одинокого неуживчивого, агрессивного подростка!

Автор воспоминаний живо и эмоционально описал «горести» ребенка, страстно привязанного к матери, но вынужденного, как и многие дети, нести груз сложных семейных отношений. Его свидетельства «от первого лица» помогают лучше понять ребенка, порой тернистый путь взросления, который он проходит во взаимоотношениях с любимыми близкими.

¹⁹ Шварц Е. Л. Позвонки минувших дней. М., Вагриус, 2008.

Мне кажется, что я был счастлив в те дни, о которых вспоминаю теперь. Во всяком случае, каждая минута, которая оживает ныне передо мной, окрашена так мощно, что я наслаждаюсь и ужасаюсь поначалу, что передать прелесть и очарование тогдашней краски — невозможно....

В этот период жизни мама была весела и ласкова... Она шутит, смеется и даже шалит не только со мной, но и с подругами. Я вижу, как она умеет их рассмешить, — я радуюсь.

Когда я иной раз, чтобы утешиться, мечтаю о том свете, то представляю маму именно того времени — веселую, молодую, она встречает меня в раю, чуть наклонившись, глядя вниз, как глядела на меня маленького. Я считал маму красавицей и удивлялся, что она смеется, когда я говорю ей это. Мы были необыкновенно дружны в те дни. Иной раз она называла меня Женюрочкой, что я очень любил. Я считал, что на одной фотографии я изображен именно в качестве Женюрочки. К сожалению, эта фотография пропала, и мне трудно теперь понять, почему я так думал. Когда мама была недовольна мною, то заявляла, что ее сейчас унесет ангел, — и исчезала. Я метался в страхе по комнатам — в каком страхе! Я до сих пор не люблю, когда кто-нибудь из близких, шутя, прячется от меня или теряется в магазине или в толпе. На мгновение меня ударяет тот, прежний, ужас, как будто маму опять уносит ангел. Обыкновенно мама обнаруживалась, когда я начинал громко плакать. Иной раз я сам находил ее в шкафу или за дверью, и выяснялось, что ангел уронил ее именно сюда...

Отец спит после обеда. Мы с мамой рассматриваем книжку, присланную в подарок бабушкой Бальбиной Григорьевной, екатеринодарской бабушкой. Это большого формата книжка, с цветными картинками, в картонном переплете. Принес ее, кажется, студент Володя Альтшуллер, о котором я слышал, что он влюблен в мою молоденькую тетю Феню. Или услышал об этом я позже? Во всяком случае, вспомнив эту книжку, я всегда вспоминаю вежливого студента в мундире и то печальное событие, о котором я сейчас и расскажу. Итак, мы с мамой мирно рассматривали, сидя у лампы, картинки в новой книжке. Текста в книжке не было. Были изображения зверей с подписями. «А вот зебра, — говорит мама. — Или нет, это ослик». — «А какая бывает зебра?» — спрашиваю я. «Полосатая». — «А что значит полосатая?» — «Помнишь кофточку, что была на Беатрисе Яковлевне, когда у нее было распушенное сердце? Вот она и была полосатая. А вот лев, царь зверей». Пока мы беседовали, стол накрыли к вечернему чаю, подали самовар, и отец вышел из своего кабинета. Он был мрачен. Я сказал: «Вышел Лев, царь зверей». Отца звали Лев Борисович, что и было причиной злосчастного моего замечания. Я не успел после этих слов и глазом моргнуть, как взлетел на воздух. Отец схватил меня и отшлепал. С тех пор прошло примерно сорок девять лет, но я помню ужас от несоответствия мирных, даже ласковых, даже почтительных моих слов с последующим наказанием. Прощай, мирный вечер! Я рыдал, родители ссорились, самовар остывал. Неуютно, неблагоприятно!

У отца был особый прием наказывать меня. Он брал меня к себе под левую руку, а правой шлепал по задку. Это было не очень больно, но страшно и оскорбительно. Называлось это — взять под мышку. Мама так и говорила: «Смотри, попадешь к папе под мышку!» Однажды, проснувшись ночью, я услышал, что мама плачет, а папа кричит, сердится. Я заплакал. Мама сказала отцу: «Перестань, ты напугаешь ребенка». На что отец безжалостно ударил кулаком по голове самого себя, и еще раз, и еще раз и сказал что-то вроде того, что, мол, гляди, до чего довели твоего отца. Коли он бил самого себя, значит, доходил до последнего градуса ярости. И это случалось много чаще, чем он шлепал меня...

Я могу припомнить только два-три случая, за все мое детство, взлета высоко в воздух, отцу под мышку. Вероятно, самая редкость наказания сделала его столь памятным во всех подробностях. В те времена отец страдал сильнейшими приступами мигрени. Вот он идет в кабинет, зажмурившись, побелев, говорит нам: «Опять флажки, флажки!». Так называл он мелькания в левом глазу. Он, как вся их семья, был очень нервен, но вместе с тем прост, прост по-мужски, как сильный человек. Так же сильно и просто он сердился, а мы

обижались, надолго запоминали его проступки перед семьей.

Его любили больные, товарищи по работе, о вспыльчивости его рассказывали в городе целые легенды, рассказывали добродушно, смеясь. Любила его, конечно, в те времена и мама, но, неуступчивая, самолюбивая, замкнутая, тем сильнее обижалась и не шла на размены и упрощения. А я испытывал в присутствии отца, которого понял и оценил через десятки лет, только ужас и растерянность, особенно когда он был хоть сколько-нибудь раздражен. А в те времена, повторяю, это случалось слишком часто. К сожалению, у нас начинала образовываться семья, которая не помогала, а мешала жить. И теперь, когда я вспоминаю первые месяцы майкопской нашей жизни, то жалею и отца, и мать. Вот он ходит взад и вперед по большой зале родичевского дома, играет на скрипке. Бородатая его голова упрямо упирается в инструмент, рука с искаленным пальцем легко держит смычок. Я слушаю, слушаю, и мне не нравится его музыка. Я не хочу, чтобы он перестал, мне не скучно слушать скрипку, но это его, папина, музыка, и она враждебна мне, как все, что исходит от него. А отец все бродит и бродит по залу, как по клетке, и играет. Чаще всего играл он Presto Крейцеровой сонаты. Вот, укладывая меня, мама плачет. Отец где-то в гостях. Мы одни во всем доме, и я начинаю плакать вслед за мамой. Я заметил, что мама теперь уже не та, что была в Ахтырях. Она не смеется, не шалит с подругами, строго отзывается о людях. Причем она, сказав худо о человеке, добавляет часто: «Я все это ему выскажу». Этого я не любил. Мама и в самом деле высказывала человеку все, что о нем думает...

Я очень любил хвалиться, но не было, кажется, ни одного среди наших знакомых, кого не осудили, хоть однажды, старшие. И маленьких осуждали: Наташа Соловьева держится неестественно, Леля так упряма, что даже отец как-то вышел из себя, Костя — мало способен к наукам. Сердились и на взрослых — исключение составляли Анна Александровна и Василий Федорович Соловьевы. Это меня огорчало. Человек, осуждаемый взрослыми, точнее мамой, делался бракованным. Из этого не следует, что родители были особенно строги к людям, — нет. Они были скорее благожелательны. Но слово, сказанное случайно, в минуту раздражения, для меня звучало приговором. Я верил всему, не споря и не думая, только огорчаясь. Зато как я восхищался теми, кого мама хвалила.

«Одевайся скорее и идем», — сказал отец, и я, как часто случалось это со мною и в дальнейшем, не понимая, что с этого мгновения моя жизнь переломилась, весело побежал навстречу неведомому будущему. Мама лежала на кровати. Рядом сидела учительница музыки и акушерка Мария Гавриловна Петрожицкая, которая массирует ей живот. И тут же на маминой кровати лежал красный, почти безносый, как показалось мне, крошечный спеленутый ребенок. Это и был мой брат, которого на этих днях я встретил на Невском и со страхом почувствовал, как он утомлен, как постарел, как озабочен. (Запись от 28 сентября 1950 г.)

Тогда же, сорок восемь лет назад, он показался мне до отвратительности молодым. Вот он сильно сморщил лоб. Вот открыл рот, и я услышал тот самый крик, который приписал дикой цесарке. И мама ласково стала уговаривать нового сына своего, чтобы он перестал плакать. Несколько дней я был рад и счастлив тому, что в нашем доме произошло такое событие. Помню, как мама, улыбаясь, рассказывала кому-то: «Женя побежал к Рединым, позвонил в парадное. Его спросили: «Кто там?» А он закричал: «Открывайте поскорее, новый Шварц родился!»». Однако этот новый Шварц заполонил весь дом, и я постепенно стал ощущать, что дело-то получается неладное. Мама со всей Шелковской, материнской, бесконечной и безумной любовью принялась растить младшего сына. На первых порах он не одному мне казался некрасивым, что мучило бедную маму. Она все надеялась, что люди заметят вместе с нею, как Валя хорош. Доктор Штейнберг жаловался, что видел во сне, как мама бегала за ним с Валею на руках и спрашивала: «Правда, он хорошенький?» Каждая болезнь брата приводила ее в отчаяние. Было совершенно законно и естественно, что с 6 сентября старого стиля 1902 года мама большую часть своего сердца отдала более беспомощному и маленькому из своих сыновей. Но мне в мои неполные шесть лет понять это было непосильно. Я все приглядывался, все удивлялся и наконец

вознегодовал. И, вознегодовавши, я воскликнул: «Жили, жили, вдруг — хлоп! Явился этот...» Эти слова со смехом повторяли и отец, и мать много раз. Даже когда я стал совсем взрослым, их вспоминали в семье. Судя по этим словам, я довольно отчетливо понял, что дело в новом Шварце, а не в том, что я стал хуже.

Но я так верил взрослым, в особенности матери, что невольное раздражение, с которым иногда она теперь говорила со мною, я стал приписывать своим личным качествам. Если мама говорила худо о наших знакомых, то они, как я неоднократно писал, делались в моих глазах как бы уцененными, бракованными, тускнели. И ни разу я не усомнился в справедливости маминых приговоров. Не усомнился я в них и тогда, когда коснулись они меня самого. Однажды я сидел за калиткой, на земле. Был ясный осенний день. Гимназистки, взрослые уже девушки, шли после уроков домой. Увидев меня, одна из них сказала: «Смотрите, какой хорошенький мальчик! Я бы его нарисовала». Я было обрадовался и тотчас же вспомнил, что девушка говорит так ласково только потому, что не знает, какой я теперь неважный человек. И с грубостью бессмысленной и удивлявшей меня самого, но все чаще и чаще просыпавшейся во мне в те дни, я крикнул вслед девушкам: «Дуры!». По старой привычке я побежал и рассказал все маме, и она побранила меня. Но я не мог объяснить ей, почему я выругал бедных гимназисток. Я, до сих пор окруженный, как футляром, маминой любовью и заботой, стал чувствовать неясно и бессознательно пустоту, страх одиночества и холод.

В те дни стали определяться душевные свойства, которые сохранил я до сих пор. Неуверенность в себе и страх одиночества. К этому следует прибавить вытекающее отсюда желание нравиться. Мне страстно хотелось, чтобы я стал нравиться маме, как и в те дни, когда еще не явился «этот». Я всеми силами старался вернуть потерянный рай и, чувствуя, что это не удастся, бессмысленно грубил, бунтовал и суетился.

Переходный возраст переживаешь не только в тринадцать-четырнадцать лет, но и раньше, и позже. Несомненно, что возраст между шестью и семью годами критический, причем у меня этот кризис совпал с рождением брата и отдалением мамы. Сильно развились чувства страха, одиночества, мистического страха, ревности, любви, вспыхнуло воображение, а разум отстал, несмотря на чтение запойное и беспорядочное...

К этому времени стала развиваться моя замкнутость, очень мало заметная посторонним, да и самым близким людям. Я был несдержан, нетерпелив, обидчив, легко плакал, лез в драку, был говорлив. Но самое главное скрывалось за такой стеной, которую я только сейчас учусь разрушать. Казалось, что я весь был как на ладони. Да и в самом деле — я высказывал и выбалтывал все, что мог. Но была граница, за которую переступать я не умел... Причем скрывал я самые разнообразные чувства и мечты, иногда неизвестно, по каким причинам...

Страх за маму, тоже глубочайшим образом скрываемый в моем одиночестве, в глубине, был самым сильным чувством того времени. Он никогда не умирал. Бывало, что он засыпал, потому что я жил весело, как положено жить в восемь лет, но выступал, едва я оставался наедине с собой. К этому времени моей жизни отношения с мамой усложнились и испортились до того, что она не приходила прощаться со мною на ночь, кроме тех случаев, когда я был болен. Ссоры наши иногда доходили до полного разрыва.

Помню день, приведший к тому, что по маминой жалобе я в последний раз в жизни попал отцу под мышку, то есть взлетел высоко вверх и был отшлепан. Это меня до того оскорбило, что я, зная свою отходчивость и умение забывать обиды, сделал из бумаги книжечку и покрыл ее условными знаками, нарисованными красным карандашом. Эти знаки должны были напоминать мне вечно о нанесенном оскорблении. Но они не помогли. Я дня через два перестал сердиться на отца.

Как я теперь понимаю, у мамы было редкое умение угадывать мою точку зрения при наших несогласиях. И она принималась спорить со мною как равная, вместо того чтобы приказывать, как это делал отец. Угадывая мою точку зрения и весь ход моих мыслей, мама

чувствовала, что логикой меня не убедить, и раздражалась от этого и все-таки пробовала спорить там, где надо было холодно запрещать или наказывать. Эту несчастную жажду переубеждать дураков и злиться от сознания, что это воистину невыносимо, я, к сожалению, унаследовал от нее.

Словом, по тем или иным причинам мы все ссорились и удалялись друг от друга, но как я ее любил! Я не мог уснуть, если ее не было дома, не находил себе места, если она задерживалась, уйдя в магазин или на практику. Мамины слова о том, что она может сразу упасть и умереть, только теперь были поняты мною во всем их ужасном значении. Я твердо решил, что немедленно покончу с собой, если мама умрет. Это меня утешало, но не слишком. Просыпаясь ночью, я прислушивался, дышит она или нет, старался разглядеть в полумраке, шевелится ли ее одеяло у нее на груди.

Я ничем не отличался от своих сверстников, не выделялся никакими талантами, но эта скрытая, тайная жизнь, для выражения которой у меня и сил не было, иногда приводила меня к мыслям не по возрасту. Помню, как терзало меня открытие, что если мама умрет, то я никогда не увижу ее. Никогда! Ни завтра, ни послезавтра — никогда. Вот я жду ее, все жду, а если она умерла в гостях, то я никогда не дождусь ее. И мысли эти часто, особенно ночами, приводили к тому, что я уже начинал одеваться, чтобы среди ночи бежать на поиски. Останавливали меня страх наказания, темноты и того, что мама вдруг узнает, как я боюсь за ее жизнь.

Однажды мама с Валею и Беатрисой Яковлевной ушла погулять. Уже смеркалось. Самовар вскипел. «Куда это они пропали? — удивлялась няня. — Хотели скоро вернуться, а вот не идут». Я терпел, ходил, стоял на одном углу, на другом, возвращался домой — нет мамы. И я побежал ее искать. Был теплый летний вечер, громко кричали сверчки в траве. Я побежал в городской сад, мамы там не нашел, примчался домой — пусто. Весь в поту, я снова бросился на поиски. Я бежал и глядел, не собиралась ли толпа вокруг умершей внезапно на улице моей мамы. Толпился народ у пивной Чибичева, толпился у Пушкинского дома, толпился возле оркестра под управлением Рабиновича. Когда я наконец, потеряв уже всякую надежду, припелся домой, мама, Валя и Беатриса Яковлевна мирно сидели за столом и пили чай. И я сел за стол, спрятался за самовар и стал плакать. «Чего ты?» — спросила меня Беатриса Яковлевна. Я не ответил. «Он боялся, что я умерла», — ответила мама, угадав со своей сверхъестественной чуткостью, что творится у меня в душе. Но сказала она это сурово, даже осуждающе, никак не поощряя меня к открытому признанию. Всю жизнь после этого до сих пор крик сверчка вызывает у меня печаль и тревогу.

Вот такие были у меня горести.

Л. К. Чуковская «Если с ним — то не важно куда»²⁰

Лидия Корнеевна Чуковская (1907–1996) — русский поэт, прозаик, критик. Это — ее воспоминания о детстве и об отце, Корнее Ивановиче Чуковском (1882–1969), известном детском писателе, поэте, литераторе.

Воспоминания относятся в основном к периоду жизни в Куоккале — финском местечке, где семья Чуковских жила круглый год вплоть до Октябрьской революции (1907–1917). По соседству с их домом находилась дача И. Е. Репина, известная под названием «Пенаты». Семьи Чуковских и Репиных хорошо знали друг друга, ходили друг к другу в гости, принимали общих гостей. В обоих домах бывали многие известные люди из мира искусства и литературы — Короленко, Леонид Андреев, Шаляпин, Ахматова, Гумилев, Маяковский. Для детей

²⁰ Чуковская Л. Памяти детства. М., 2007.

Чуковского (их было трое) — это время вольной жизни на природе и счастливого общения с отцом, а для Корнея Ивановича — место, где он, много работал, и где, по его словам, он обрел «свою духовную родину».

Здесь приводятся те отрывки воспоминаний Л. К. Чуковской, из которых видно, какое влияние на детей оказывала увлеченность их отца — увлеченность жизнью, трудом, стихами, наконец, самим общением с детьми. Все, что исходило от него, усваивалось детьми, безусловно и безоговорочно. И это потому, что ему удавалось находиться с ними «на одной волне». На эту «волну» он попадал со своими бесконечными выдумками, шутками, непосредственностью «большого ребенка». Он умел превратить в игру не только любой труд, но и скучную зубрежку.

Дети чувствовали в нем родственную душу и платили бесконечным обожанием и преданностью.

«Для детей младшего возраста»

Тогда, в нашем детстве, в Куоккале, он казался нам самым высоким человеком на свете. Идет к себе в комнату — в дверях голову непременно наклонит: не ушибиться б о притолоку! Посадит к себе на плечо — с высоты сразу откроется глазам среди редких сосновых стволов дальняя даль залива. В оттепель подпрыгнет и лыжной палкой легко собьет сосульки с балкона второго этажа, а с теми, что свисают с крыши дровяного сарая, и без палки управится: протянет руку и обломает рукой. Он длиннорукий, длинноногий, узкий, длинный. Кто выше его? Нет такого!

Тощий, но сильный; любит веселье и любит и занозистой насмешкой поддеть. Непоседлив, беспечен, всегда готов затеяться в нашу игру или изобрести для нас новую.

До первой детской книги Корнея Чуковского оставалось в ту пору года три, до второй — около десяти, им не была написана еще ни единая строка для детей, но сам он, во всем своем физическом и душевном обличье, был словно нарочно изготовлен природой по чьему-то специальному заказу «для детей младшего возраста» и выпущен в свет тиражом в один экземпляр.

Нам повезло. Мы этот единственный экземпляр получили в собственность. И, словно угадывая его назначение, играли не только с ним, но и им и в него: лазили по нему, когда он лежал на песке, как по дереву поваленному, прыгали с его плеча на диван, как с крыльца на траву, проходили или проползали между расставленных ног, когда он объявлял их воротами.

Он был нашим предводителем, нашим командиром в игре, в ученье, в работе, капитаном на морских прогулках и в то же время нашей любимой игрушкой. Не заводной — живой.

— Папа, — говорю я, переминаясь от нетерпения с ноги на ногу, понимая, что ему хочется поиграть со мной не менее, чем мне с ним, — папа! Посади меня на шкаф.

Он отступает на шаг. Грозно глядит со своей высоты. Наклоняется. Перед моим носом назидательно закачался длинный палец.

— Учишь вас, учишь! Проси, как следует.

Игра началась. Я жажду испытаний и ужасов: пострашней, поужасней, а кончилось чтобы все хорошо. Более всего на свете я боюсь высоты. Потому и прошусь не куда-нибудь, а на вершину высоты, под самый потолок, на шкаф.

— Глу-бо-ко-у-ва-жа-е-мый папаша! — говорю я по складам, как положено в этой игре. — По-са-ди меня, пожалуйста, на шкаф!

— То-то же! — Палец исчезает. — А вниз не запросишься?

— Нет.

— Так и будешь теперь всю жизнь жить на шкафу?

— Жить на шкафу.

Он берет меня под мышки, минуту раскачивает, потом сажает на шкаф и сразу большими шагами уходит из комнаты прочь. И закрывает за собой дверь, чтобы страшнее.

Я сижу. Мне страшно. Как чужие, болтаются над пропастью мои бедные ноги. Я решаюсь одним глазом заглянуть туда, вниз, в пропасть. Там, на полу, желтый линолеум с черным узором. Вот упаду и разобьюсь вдребезги, как чайная чашка. И зачем это я попросилась на шкаф! Никогда мне уже больше не пробежаться по песку, не сесть вместе со всеми обедать... Все купаются, играют в пятнашки, и он вместе с ними... а я? Я живу на шкафу. И никогда, никогда не буду больше вместе с другими бросать плоские камни в море и подсчитывать, сколько раз камень подскочит, и никогда уже больше он не позовет меня устраивать плотину на нашем ручье!

— Папа!

Молчит.

— Папа!

Не отвечает. Ушел, позабыл обо мне и оставил меня здесь на всю жизнь...

Глядеть вниз — страх пробирает. Вверх — тоже, там потолок, там самая и есть высота высоты. Он нас отучает бояться, меня и Колю. Велит лазить по раскидистым соснам. Выше. Еще. Еще выше! Но тогда он сам стоит под сосной и командует, и можно держаться за его голос.

Сижу, скованная страхом, поглядывая на свои никчемные ноги. Одна.

— Глубокоуважаемый папаша, — пробую я, ни на что не надеясь, — сними меня, пожалуйста, со шкафа.

Его шаги! Он тут! Он только притворялся, что ушел далеко! Он входит, берет меня под мышки, раскачивает, подбрасывает и опускает на пол. Какое счастье! Я опять на полу, где все люди, и могу бежать куда хочу.

Учил, играл, придумывал

Он научил нас играть в шахматы и шашки (он сам одно время, в Лондоне, сильно увлекался шахматами), разыгрывать шарады, ставить пьесы (одну написал специально для нас: «Царь Пузан»), строить из песка крепости и запруды, решать шахматные задачи; он поощрял игры — кто выше прыгнет, кто дальше пройдет по забору или по рельсу, кто лучше спрячет мяч или спрячется сам; играл с нами в городки, скакал на одной ноге до калитки и обратно. Он превратил для нас в любимую игру уборку письменного стола; какая это была радость: выковыривать кнопки особой раздвоенной лопаточкой; постилать на стол новую зеленую бумагу и ровненько закалывать ее кнопками; протирать ящики особой тряпкой, которую он хранил в потайном месте, и потом, по его поручению, мчаться к ручью — стирать ее серым, тоже извлеченным из особого тайника мылом! А сушить эту тряпку на сосновом суку и проверять — высохла ли! А трогать вопреки запрету маленькую мохнатую тряпочку, всю в синих чернильных пятнах, которой он протирал перо! (Она была дочкой большой пыльной тряпки...) Он охотно играл с нами и в самые распространенные, общепринятые, незамысловатые игры: в палочкувыручалочку, перегонки, снежки, даже в кучу малу: ни с того ни с сего хохот, толкотня, клубок тел на полу, визг... Он задавал нам загадки, заставлял нас выдумывать свои и загадывать их Бобе.

Свежий воздух, стихи, книги, разнообразное общение с разнообразными людьми, выдумки, рассказы, шарады, игры с детьми — вот в чем обретал Корней Иванович веселье и силы.

Работа или игра?

В Куоккальские времена всю черную мужскую работу по дому он делал сам. Сам воду носил, колол дрова, топил печи. Сам был за кухонного мужика и за дворника; разметал

метлой лужи, или ломом скалывал с крыльца лед, или деревянной квадратной лопатой прокладывал дорогу от крыльца до калитки: узкую яму среди сугробов. И мы, с маленькими лопатками, следом за ним. ... Аппетиту, с которым он красил забор или ящик, помешивая кистью густую зеленую кашу, могли бы позавидовать сподвижники Тома Сойера. И уж разумеется, неистово завидовали мы. А он — по-том-сойеровски! — снисходительно предоставлял нам это редкостное счастье: мазнуть! Зеленой краской мазнуть разок по калитке.

— Стань передо мной, как лист перед травой!

Он вручает мне кисть с торжественностью, словно монарх, передающий наследнику скипетр.

— Держи ровно! Не капай! Не капай! О-о-о, как я страшен в гневе!

Летом нашей любимой работой были постоянные походы к Репину в «Пенаты» за водой. Вода в колодце на нашем участке годилась для стирки, для поливки цветов, для умывания, но для питья не годилась. За питьевой мы и ходили в «Пенаты». Там был артезианский колодец.

«Айда!» — и работа (или игра?) — начиналась.

Я бежала в сарай за палкой. Коля, позванивая, уже нес ведро. Боба, который давно уже понимал каждое наше слово, но сам не удостоивал никого ни одним, первый хватался за конец палки, боясь, как бы не ушли без него. Мгновенно оказывались возле нас наши приятели финны: Матти, Павка, Ида.

Эти походы к Репину за водой были через много лет описаны Корнеем Чуковским в книге «От двух до пяти». А тогда он сам шагал по дороге рядом — долговязый, дочерна небритый, в старых штанах, худой и веселый, взрывая босыми ногами клубы теплой пыли с таким же удовольствием, как мы.

Вот и резные ворота «Пенатов». Он открывал их без скрипа и, вытянув губы трубочкой, громким свистящим шепотом требовал, чтобы мы замолчали. Репин работал, тишину мы обязаны были соблюдать полную. Еще и до ворот, едва достигнув репинского забора, он шикал не только на нас — на прохожих. А уж в саду! Чуть не на цыпочках выступал перед нами, гневно оборачиваясь на каждый шорох. Мог и за плечо тряхануть ослушника.

Молчание давалось нам нелегко, но от напряженности этой тишины нам становилось еще веселее: выходило, будто мы не брали воду у Репина, а крали ее.

Без звука вешал он ведро на округлую шею крана, а потом снимал и ставил на крупный гравий. Теперь наша очередь. Мы надевали тяжелое ведро на палку и, не спуская глаз с качающейся — вот-вот выплеснется! — воды, благоговейно несли ее.

— Тише, тише, тише, тише! — свистящим шепотом требовал наш командир.

Но вот он снова открывал перед нами резные ворота и снова затворял их. Вот наконец мы миновали забор, и тут накопившийся в нас шум победоносно вырывался на волю.

Все мы разного роста, палка больно бьет по ногам и бокам, вода норовит расплескаться, но нам это нипочем. Отойдя от «Пенатов», мы привольно выкрикиваем давно уже сочиненную, привычную и каждый раз заново веселящую песню:

Два пня,
Два корня,
У забора,
У плетня, —
Чтобы не было разбито,
Чтобы не было пролито...

Мы в ожидании смолкаем. Ожидание кажется долгим, хотя оно длится мгновение.

— Блямс! — выкрикивает он.

Мы по команде опускаем ведро на землю и плюхаемся рядом. Он вместе с нами. Боба смотрит в воду, с удивлением разглядывая, как комкает и корежит вода его лицо.

— Марш! — выкрикивает наш повелитель. — Одна нога здесь, другая там!

И снова мы затягиваем наш водяной гимн, ожидая блаженного «блямс!».

От него мы всегда ожидали веселого чародейства.

Если с ним, значит уж так завлекательно — не оторвешься. Особенно: «идем путешествовать». На почту ли, рукопись отправить, на берег ли моря, за водой ли в «Пенаты», в лавку ли на станцию, или шагать на край света, или отправиться в плавание — это уже все равно: лишь бы с ним.

Серьезной угрозой из его уст считали мы в детстве одну: «Не возьму с собой». «Завтра не возьму с собой». Куда не возьмет? Это уже и не важно. С собой не возьмет, вот куда. Оставит дома. Расстанется. Все будут с ним, все возле, вместе — а я одна. Без его шагов, голоса, рук, насмешек. Сиди в саду и делай вид, что читаешь. Гляди на калитку и прислушивайся: жди, когда с Большой Дороги в переулок повернут голоса, и вот ближе и ближе его голос, покрывающий все, высокий, с примесью свиста и шепота, командующий и насмешливый вместе.

К счастью, был он хоть и горяч, но отходчив. И устрашающая угроза «завтра не возьму» не исполнялась почти никогда. Он забывал ее, и мы снова оказывались вместе, в путешествии или труде.

Он пытался и уроки превратить в игру

«Сухопарая экономка знаменитого лысого путешественника, заболев скарлатиной, съела яичницу, изжаренную ею для своего кудрявого племянника. Вскочив на гнедого скакуна, долгожданный гость, подгоняя лошадь кочергой, помчался в конюшню...»

Это мне задано. Это я должна к завтраму перевести на английский. Чушь эту сочинил для меня он сам; для Коли — другую, столь же несусветную; он составил эти интересные сочинения из тех английских слов, которые накануне дал нам выучить.

Мне лет шесть или семь; Коле — девять или десять. Мы переводим подобную ахинею верстами и от нее в восторге. Радостный визг и хохот! «Подгоняя лошадь кочергой!»

Наш учитель пытался и уроки превратить в игру. Отчасти это ему удавалось.

«Пестрая бабочка, вылупившись из куриного яйца, угодила прямо в тарелку старому холостяку...»

Бабочка из куриного яйца! Переводить мы любили. А вот слова зазубривать — не очень-то. Ими он преследовал нас постоянно и по-нашему — невпопад. В лодке ли, по дороге ли на почту или в «Пенаты» он внезапно швырял в нас вопросами: как по-английски фонарь? Или аптека? «А скажи-ка, мне, Колечка, — спрашивал он ласковым и чуть-чуть угрожающим голосом, — как по-английски солома? Так. Верно... А ты, Лидо-очек, не скажешь ли, что значит the star? А много звезд? Громче! Не слышу!.. А как будет счастливый? А как хворост? А что такое the spoon?»

С русского на английский и с английского на русский.

Совал нам в руки палку, заставляя писать английские слова на снегу, на песке. Спрашивал заданные слова, вызвав пораньше утром наверх в кабинет. Вразбивку. Подряд. Через одно. Старые. Новые...

Английские уроки, в сущности, мы любили. Только бы не слова! Зато, когда упрямишься со словами, начинаются радости:

«Старая дева, объевшись замазкой, упала в пруд. Бурный южный ветер гнал ее прямо на скалы. Но в эту минуту прилетела ласточка и клювом вцепилась в ее волосы».

Объевшись замазкой! Какая радость! Мы были неприхотливы и смеялись взапуски.

Когда же после ахинеи, белиберды, чуши откроешь, бывало, книгу Диккенса на той странице, к которой он нас готовил, и сама, без его помощи, узнаешь, что случилось дальше с Оливером Твистом, — о! ради этого стоило зубрить слова и даже терпеть его немилость.

Море!

Игрою игр нашего детства было море. С утра мы бежали на берег взглянуть: виден ли Кронштадт? Хорошо ли виден? Не тает ли он на горизонте, не затягивается ли мглой? Кронштадт — наш барометр. Синяя плотная наклейка на голубом небе и золотой купол собора. Отчетливо видные, они, как стрелка, указывают мореплавателю: «ясно».

Теперь... теперь только бы он до сумерек окончил работу!

Слоняясь возле крыльца веранды, мы прислушиваемся к звукам на втором этаже.

Идет! Веселый! С лестницы через две ступеньки!

Выговаривает громким свистящим полупшепотом:

Частью по глупой честности,
Частью по простоте,
Пропадаю в неизвестности,
Пресмыкаюсь в нищете.

Веселый! Едем!

Он не зовет нас, нас не замечает, не подает нам никакого знака. Высоко задрав подбородок, с видом бесстрастным и замкнутым, большими шагами шагает к берегу — будто намерен отправиться в море один... Но мы не пугаемся нисколько; лодочный ритуал давно уже разработан в малейших подробностях, и то, что наш капитан, задрав голову, бесстрастно шагает мимо, тоже входит в игру. Никуда он без нас не уедет! Мы разбегаемся — каждый по своему назначению. У каждого своя морская обязанность. Боба уже мчится в сарай за черпаком. Коля и Павка волочат тяжелые весла, две пары. Ида — уключины. Матти — багор, а я — я именуюсь «хранительницей пресной воды» и несу с ледника заткнутую пробкой холодную бутылку. (Впоследствии в пьесе «Царь Пузан» он написал для меня роль «Хранительницы королевской зубочистки».)

Поджидая нас, он уже успел перевернуть и столкнуть на воду тяжелую широкую рыбацью лодку. Руля на ней нет, вместо якоря — камень, обвязанный канатом. Зато она хоть тяжела, да вместительна. Он быстро нагружает ее всею снастью: уключинами, веслами, якорем-камнем — и приказывает садиться: Коле или Матти на среднюю скамейку, остальным — куда попало, на корму, на нос, на дно; закатывает штаны повыше, спихивает лодку с мели, на которую она плотно уселась, чуть только в нее плюхнулись мы, потом, накренив ее, сам ступает через борт и, выпрямившись во весь свой огромный рост, принимается ловко работать веслом, а то и багром, пока не выводит судно на глубокую воду...

Гладь почти безветренная. Мелкие волнишки мирно толкаются о борт. Широкий след за кормой. Простор, вода и небо. Воздух такой чистый, что каждый вздох ощущаешь как глоток свежей воды. Лодка идет легко, спокойно, устойчиво, чуть-чуть пожурчивает вода за бортом.

Хочется не говорить, а молчать. Мы и молчим, глядя, как удаляется берег.

Итак, в общении отца-Чуковского с детьми было много игр, шуток, веселья, развлечений. Но было не только это. К.Чуковскому удавалось передавать детям и серьезные вещи. Среди них — моральные принципы, культурные и духовные ценности.

Одним из нерушимых принципов для Чуковского было уважение к труду. Человек должен трудиться; *«праздность, в особенности умственную, он всегда*

ощущал как великую пошлость»; безделье — непростительно, почти преступление; также непростительна некачественная работа.

Он преклонялся перед выдающимися мастерами — великими тружениками, и сам был таким. Он благоговел перед искусством. Среди безусловных ценностей для него была поэзия. Дети постоянно сталкивались с тем, что во всех этих важных точках личностного существования отец был для них ярким живым примером и одновременно столь же страстно нетерпимым к нарушениям и отступлениям.

И здесь приходится обратить внимание на одну особенность воспитания, исходящего от темпераментных натур (ведь именно таким был Корней Иванович): они взрывчатые, но и отходчивы. Как реагируют на это дети? И как это сказывается на их воспитании?

Некоторые ответы мы находим у Лидии Чуковской.

«Он не терпел полузнайства, да и полуделанья»

В молодости был он горяч и несдержан — и из-за плохо выученных (английских) слов случалось ему и по столу кулаком стукнуть, и выгнать из комнаты вон или даже — высшая мера наказания! — запереть виноватого в чулан.

Тут уже не пахло игрой. Тут уж было искреннее отвращение.

— Убирайся! — кричал он мне, когда я отвечала с запинкою, не сразу. — Только б лентяйничать и в постели валяться! Я сегодня с пяти часов утра за столом!

(Ему действительно нередко случалось ночи и дни напролет просиживать за письменным столом, и чужое безделье вызывало в нем презрительный гнев. Увидев, что мы слоняемся без толку, он мигом находил нам занятие: обертывать учебники разноцветной бумагой, ставить по росту книги на полках у него в кабинете, полоть клумбы или, открыв окно, выхлопывать пыль из тяжелых томов. Чтобы не валандались, не лоботрясничали.)

Отсутствие в нас аппетита к английскому ставило его в тупик и раздражало безмерно. Он воспринимал это как личную обиду. Когда он кричал на меня за дурно выученное английское слово, я скрывалась в любимом своем убежище, в кустах за ледником, — плакать и учить слова заново. Боба, вздыхая, протягивал мне на ладони три ягодки черники и одну брусничину.

Однажды Коля просидел наказанным в чулане целый час — все из-за тех же английских слов. Не то чтобы Коля совсем их не выучил — нет, выучил, но недостаточно твердо. Это-то и было в глазах нашего учителя преступлением. Вчера Коля не мог ответить, как по-английски ложка, а сегодня ответить — ответил, но написал с ошибкой.

Сам он не терпел полузнайства, да и полуделанья — ни в чем.

«Перебивать — только если загорелся дом!»

Вот, на веранде под вечер он читает стихи. Не нам, а гостям, взрослым. Но и мы тут же: нас не оторвать от его голоса:

Под насыпью, во рву некошеном,
Лежит и смотрит, как живая,
В цветном платке, на косы брошенном,
Красивая и молодая.
Вагоны шли привычной линией.
Подрагивали и скрипели;
Молчали желтые и синие;
В зеленых плакали и пели...

И тут, в этом плаче и пении вагонов, дороги, одиночества ... вдруг наступил нелепый, безобразный перерыв... — на веранду вбежала няня Тоня и запыхавшись спросила: — Подавать самовар? Вскипел.

Вечер был прохладный, с самоваром ее торопили.

Поглядев на нее с таким удивлением, будто кто-то из них двоих сумасшедший, Корней Иванович в бешенстве разбил тарелку, раскровенил себе палец и крикнул:

— Как вы смеете — смеете — говорить при стихах?! — Тоня заплакала. Он накричал на нее не только при стихах — при гостях. И это был тот самый человек, который деликатности с прислугой требовал от себя и от нас, детей, безупречной, который уже больным стариком стеснялся попросить домашнюю работницу принести ему грелку: лишний раз подняться на второй этаж! Вспылив тогда, на веранде, в Куоккале, он мгновенно опомнился и побежал за Тоней на кухню просить прощения. Он утешал ее и при этом по складам выговаривал:

— Когда читают стихи, перебивать можно только в одном случае: если загорелся дом! Других причин я не знаю!

(Мы-то уже обученные. Мы-то усвоили давно, накрепко, что перебивать нельзя не только чтение вслух, а иногда и молчание. Притащишь ему зимою на чужую дачу в мороз — он убегал туда кончать статью, — притащишь кастрюлю супу или чайник кипятку, а он сидит с карандашом в руке и молчит — и этого молчания прерывать нельзя. Ставь еду на подоконник и скорей уходи. Молча. Если невпопад заговоришь — он как рывкнет! А уж когда он или кто другой читает стихи...)

«Рука искусства»

Однажды и на меня было рывнуто — по такому же поводу — и не тише, чем на Тоню.

...Снова Большая Дорога, снова зима, снова возвращаемся мы с ним откуда-то вдвоем. Мороз ненастоящий, градусов пять, не более. Сеется мелкий снежок... Мы вынуждены отступить в придорожный сугроб, из переулка на Большую Дорогу медленно вытягивается нам навстречу обоз со льдом. ...Медленно, нудно тянется обоз; мне надоедает глядеть на лошадей и на прозрачные прямоугольники только что вырубленного льда. Наконец обоз проскрипел. Последняя лошадь, последняя глыба льда, последний шлем.

Мы ступили на дорогу. И тогда новая помеха — Репин. Оказалось, он на той стороне. В теплых башмаках, в мягкой меховой шапке, весь припорошенный снежком, пережидает обоз, как и мы.

Мне досадно: теперь они будут разговаривать! Опять стой!

Репин, сняв перчатку, учтиво здоровается с Корнеем Ивановичем, потом протягивает руку мне.

Нет, долго ждать не приходится. Что-то такое условились насчет «среды».

Снова учтивые рукопожатия — и Репин исчезает в снегу.

Мы движемся сквозь снег в одну сторону, он — в другую.

Но не успеваем мы сделать и десяти шагов, как происходит нечто странное. В отца моего словно вселяется бес. Корней Иванович вдруг срывает с моей руки перчатку и бросает ее далеко в сугроб, к кольям чужого забора.

— Тебе Репин протягивает руку без перчатки, — кричит он в неистовстве, — а ты смеешь свою подавать не снявши! Ничтожество! Кому ты под нос суешь рукавицу? Ведь он этой самой рукой написал «Не ждали» и «Мусоргского». Балда!

Я, как няня Тоня, начала реветь. Я, как няня Тоня, не понимаю, в чем моя вина. Репин со мной поздоровался. Я подала ему руку и ответила «здравствуйте». Откуда мне знать, что в перчатке нельзя? Мне этого раньше не говорили. А это был тот самый, обыкновеннейший Репин, который рассказывал мне про белку, и всегда угощал нас с Колей

конфетами, когда мы приносили ему письмо от папы, и позволял бегать по лесенкам у него в доме. Репин, просто Репин. За что же? Несправедливо!

И чего это они там не ждали! И кто такой Мусоргский?

Наверное, Корней Иванович был в своем гневе несправедлив, не прав, и уж во всяком случае, непедагогичен. Гораздо правильней было бы с его стороны просто объяснить мне — спокойно, весело, полунасмешливо, как он это великолепно умел, что дети, здороваясь со взрослыми, должны всегда снимать перчатку. Ведь объяснил же он Коле, раз и навсегда, без всякого крику, что мальчик, переступая порог любого дома или здороваясь на улице с любым человеком, должен, прежде всего, снять шапку. Зачем же тут надо было на меня кричать? Да еще, проваливаясь в снег по пояс и принеся перчатку от забора, колотить меня ею изо всех сил по плечу, будто бы стряхивая снег, а на самом деле от непрошедшей злости?

Но как я благодарна ему теперь за эту неправоту, за эту несправедливо нанесенную мне обиду!

За этот поучительный гнев, которым он разразился, когда ему почудилось, будто я с недостаточным уважением прикоснулась к руке, протянутой мне искусством!

Исключительное преклонение отца перед мастером помешало в этом случае понять чувства и замешательство ребенка. Со своей горячностью он хотел сразу внедрить в сознание девочки ощущение необыкновенной ценности искусства. Конечно, можно сказать, что «непедагогично» и «обидно». Но дети, как правило, прощают взрывы, если видят, что для взрослого это абсолютно всерьез!

Чуковскому удавалось передавать детям безусловные принципы и ценности потому, что он ими жил, а еще и потому, что огорчения от его взрывов составляли маленькую толику того счастья, в которое он их погружал. Вот описание впечатления от поэзии, которой отец «очаровывал» своих детей.

«Зыбь ты великая! Зыбь ты морская!»

И здесь, на Финском заливе, ясный солнечный день, мерные взмахи весел, ожидающие лица детей рождали в нем жажду читать стихи. Жажда эта жила в нем неутолимо: поэзия смолоду и до последнего дня была для него неиссякаемым источником наслаждения. Стихи он читал постоянно и всегда вслух: себе самому, один на один, у себя в кабинете, Репину в мастерской и репинским гостям в беседке; заходим студентам на песке у моря; друзьям-соседям: Николаю Федоровичу Анненскому, Татьяне Александровне Богданович и Короленко, нам по дороге на почту. И уж конечно в море. Тут, в море, он давал себе полную волю. Ритм волн и ритм гребли естественно выманивали в ответ ритмический отклик.

Никогда я не слышала чтения более пленительного. Как будто все черты его личности собирались в эти минуты в голосе, в интонациях, в губах, которые льнули к звукам, в звуках, которые льнули к губам. В голосе его, когда он читал великую лирику, появлялось некое колдовство, захватывавшее и его и нас. На страницах своих сочинений он не раз говорит, что смолоду привык «упиваться стихами». Упоение заразительно. Наверное, потому мы и упивались, слушая, что он упивался, произнося. И все стихи, которые я узнала потом, одна, сама, без него, звучание всех на свете стихотворных строчек, кто бы их ни произносил, навсегда связаны для меня с моим детством и его голосом. — Зыбь ты великая! Зыбь ты морская! — начинал он, закидывая весла и чуть-чуть раскачиваясь. — Чей это праздник так празднуешь ты?

Волны несутся, гремя и сверкая,
Чуткие звезды глядят с высоты, —

читал он широким, певучим, страстным, словно молящимся голосом, и мне казалось, что теперь уже лодка покоряется не волнам и веслам, а весла и волны — и все вокруг — звучанию голоса.

Итак, образ отца — Корнея Ивановича Чуковского, — как он встает из воспоминаний его дочери, оставляет у читателя незабываемое впечатление. Что же говорить о том, каким он казался его детям! Можно найти много слов, которые описывали бы их чувства к отцу, но все они, скорее всего, будут неполными и недостаточными. Это, конечно, и горячая любовь, и обожание, и восхищение, и вера в его необыкновенность. Ко всему этому нужно прибавить еще «чувство принадлежности», то есть убеждение, что он принадлежит им (*«изготовлен для нас в одном экземпляре»*), а они — ему. Знать и чувствовать, что у тебя не просто есть папа, но что ты ему очень нужен, что он, безусловно, «твой» — бесконечное счастье для ребенка; и такими знанием и чувством пронизана каждая строчка воспоминаний Лидии Чуковской.

Как же это получалось? Можно было бы сказать, что, несмотря на свою постоянную занятость и порой изнуряющий труд, Корней Иванович находил время для детей. Но это были бы бледные и неточные слова. Он не просто *находил время* для детей, а *жил* с детьми, постоянно с ними играя, занимаясь их учебой и образованием, делясь с ними своей любовью к стихам и литературе. И все это он делал так же ярко, эмоционально, страстно, как и работал, как и жил вообще. Он отводил детям не время, а часть жизни. Можно думать, что и вспышки отцовского гнева, когда они случались, дети воспринимали как продолжение его горячей заинтересованности в них, и в душе его прощали.

Все это ему удавалось потому, что он был «ребячливым папой» (как его называли) и в то же время умным, мудрым взрослым, глубоко любившим и понимавшим детей — не только своих, но и других, как и детство вообще.

Можно предположить, а на самом деле так это и было, что увлекательное и увлекающее общение с детьми питало талант и чуткую мудрость писателя Корнея Ивановича Чуковского, так же как он своим эмоциональным талантом обогащал жизнь своих и всех читающих его детей.

Г. Л. Выгодская «Просто жизненно необходимо»²¹

Лев Семенович Выготский (1896–1934) — создатель Культурно-исторической теории психики, основоположник одного из наиболее значительных направлений в отечественной психологии и психологии развития ребенка. Его яркая жизнь оборвалась, когда ему было всего 37 лет, но он успел написать фундаментальные работы, которые принесли ему всемирную известность.

«Глазами дочери» — так назвала Г. Л. Выгодская одну из глав книги об отце. В ней личные воспоминания детства. В этих воспоминаниях Г. Выгодская рассказывает о том, каким человеком был ее отец, кем он был для нее, и как складывались их взаимоотношения. Л. С. Выготский скончался, когда Гите Львовне было всего 9 лет, а писала она свои воспоминания, спустя более полувека. Несмотря на такой срок, мы видим, какой неизгладимый, и значимый след оставил

²¹ Выгодская Г. Л., Лифанова Т. М. Лев Семенович Выготский. Жизнь, деятельность, штрихи к портрету. М., Смысл, 1986.

отец в жизни дочери.

Отрывки воспоминаний сгруппированы в небольшие тематические рубрики; предваряющие их фразы взяты из текста автора воспоминаний.

«Непередаваемое чувство защищенности»

Есть люди, события, которые не забываются, которые память хранит всю жизнь. Очень живо помню я Льва Семеновича, помню все, не только его облик, но и его слова, его поступки, все события, связанные с ним. И если ряд моментов жизни, событий, постепенно тускнеет в памяти, то все, что связано с отцом, остается таким ярким и четким, что порой кажется, что это было только вчера.

Конечно, я была тогда ребенком, причем самым заурядным ребенком, поэтому я не могла понять и оценить, что это был за ученый. Моя память сохранила его как доброго, любящего отца, каким он был до последних дней своей жизни. Я помню отца с тех пор, как помню себя. Но это, по большей части, отрывочные, фрагментарные воспоминания, иногда такие яркие, что напоминают отдельные переводные картинки.

Мои последовательные воспоминания, пожалуй, можно отнести к весне 1929 г.²² Очень хорошо помню, как мы ехали провожать моих родителей, уезжавших в Ташкент, дорогу домой и пустоту вокруг, которую я ощутила, войдя в квартиру. Все были ко мне внимательны, добры, но мне было пусто. Пожалуй, то, что я испытывала, можно назвать дискомфортом. Вот тогда впервые я не поняла, конечно, еще, но почувствовала, что такое для меня отец и какое место в моей жизни он занимает. Это было очень странно, ведь росла я в большой семье, да и отец не мог уделять мне много времени. Но, видимо, то, что он давал мне в то время, что мог уделять мне, было для меня очень важно, было просто жизненно необходимо.

В детстве я очень плохо переносила поездки в транспорте — мне становилось плохо, меня неизменно укачивало. Поэтому, если случалось меня куда-нибудь везти, приходилось ехать на извозчике. Хорошо помню эти поездки!

Мы садились в пролетку, лошадь неспешно шла, и мы долго ехали к нашей цели — через Крымский мост на Арбат. Почему-то больше запомнились зимние поездки. Мы сидим с папой, плотно прижавшись друг к другу, верх у пролетки поднят, так что идущий снег нас не мочит. Лошадь мерно идет, покачивая головой; снег хлопьями падает на землю, так что окружающее видно, как сквозь кружево; папа негромко разговаривает со мной. Как хорошо! Ощущения, испытанные тогда, сохранились на всю жизнь.

Иногда мы едем вместе с мамой. Папа тогда выглядит совсем счастливым. Он попеременно говорит то с мамой, то со мной, то затевает общий разговор, чтобы я не чувствовала себя лишней. Он все время дает мне почувствовать, что его радует мое присутствие рядом. (Оно никогда не тяготило его.) Даже тогда, когда он говорит с мамой — в этот момент он или плотнее обнимает меня, или крепко берет за руку и время от времени пожимает ее. Да, я все время чувствую, что папа ни на минуту не забывает обо мне, что я нужна ему. Все это дает непередаваемое чувство защищенности, близости, уверенности в том, что ты нужна. Как все это в детстве необходимо!

Почему я пишу об этом? Почему так подробно рассказываю, казалось бы, о таком незначительном? Может быть, даже кому-то покажется, что о мелочи? Почему память сохранила не только эти поездки, но и то, что я тогда испытывала? А может, это не такая уж мелочь?..

Уже взрослой, я много думала об этом и часто воскрешала в памяти те минуты, вероятно, по контрасту с наблюдаемым в обыденной жизни.

²² Гите было пять лет.

Вот в вагон метро или в троллейбус входит малыш с кем-то из родителей. Пристроив ребенка, усадив его, взрослый тут же достает книгу или газету и начинает ее читать, не обращая никакого внимания на ребенка. Иногда, правда, не отрывая взора от книги, малышу дается директива: «Не вертись!» или «Сиди спокойно!» Мне в таких случаях всегда бывает так обидно за ребенка — он в это время предоставлен сам себе и не ожидает от родителей ничего, кроме, разве, замечания. А может быть, ему хочется поделиться впечатлениями о том, что он увидел в окно? Или попросить разъяснения? Или просто поговорить? Ведь ему скучно, утомительно и неинтересно такие поездки. Что он вспомнит, когда вырастет? Не здесь ли лежит одна из причин постепенного отчуждения детей?..

К счастью, меня своим вниманием отец не обделил. Я получила его сполна. И всю свою жизнь благодарна ему за это.

Вдумываясь в отношения Льва Семеновича и дочери, стоит вспомнить, что Л. С. Выготский был автором замечательного психологического закона «зоны ближайшего развития²³». Согласно этому закону, взрослый — необходимый участник и «проводник» человеческой культуры в процессе развития психики ребенка — развития, умственного, эмоционального, морального.

В воспоминаниях дочери мы обнаруживаем, что Л. С. Выготский блестяще проводил в жизнь то, о чем говорила его теория. Будучи отцом двух дочерей, он принимал тесное участие во всех сферах их жизни. Старшей дочери, Гите, посчастливилось в сознательном уже возрасте (после трех лет) испытать разнообразное и глубоко эмоциональное общение с ним. Это были многочисленные беседы, в которых отец откликался на трудные и важные переживания дочки; он поддерживал ее в учебе, играх, в общении с детьми; серьезно обсуждал ее мечты и планы. Его высокие человеческие качества освещали жизнь близких и служили для детей, как и взрослых, эталонами чуткости, доброты и скромности. Обо всем этом рассказывает Гита Львовна.

«Скажи, что случилось?»

Это лето для меня было омрачено двумя разными по масштабу, но одинаково огорчительными событиями. Помню, все были потрясены нелепой трагической смертью профессора М. Басова и, по-видимому, поэтому в доме много говорили о смерти. В результате всех этих разговоров я поняла неизбежность смерти, и это меня потрясло. Я была напугана, очень угнетена, все казалось мне непрочным, зыбким. Отец заметил мое состояние и однажды, дождавшись, когда мама уйдет вниз к бабушке, взял меня за руку и привел к нам наверх, на балкончик. Там он посадил меня к себе на колени так, чтобы видеть мое лицо, обнял и спросил: «Скажи, что случилось?» — «Это правда, что все люди умирают?», — спросила я и с надеждой посмотрела на него. Мне так хотелось, чтобы он развеял мой страх и сказал, что это не так. Отец выдержал мой взгляд, погладил по голове и спокойно сказал мне: «Правда. Но только умирают люди очень старые и очень больные. Так что тебе нечего тревожиться. Это все будет очень-очень нескоро, через много-много лет». Говоря это, он сделал неопределенный жест рукой в воздухе, как бы показывая отдаленность этого момента. Становилось спокойнее, но надо было все уточнить: «А ты? А мама?». Он улыбнулся: «Мы тоже нескоро будем старыми, и, видишь, мы здоровы. Так что ты не тревожься, иди спокойно играть». Спустив меня с колен и поцеловав, он мягко подтолкнул к двери: «Иди к детям играть». На душе снова стало спокойно. Помню, меня распирало от любви к отцу и благодарности. Поверьте, я это так помню, как будто это произошло только

²³ См. подробно о нем в двух моих предыдущих книгах (прим. Ю. Б. Гиппенрейтер).

что.

«Шприц для игры — совсем не прихоть!»

В самый разгар моей болезни (а скарлатину тогда лечили 6 недель) мне отчаянно повезло — свалился с тяжелой ангиной папа. Теперь я была не одна, со мной в комнате лежал больной папа. С ним мне было всегда хорошо. Я никогда не раздражала его, даже если приставала к нему или тормошила его во время работы. Он никогда не сердился на меня, мог без конца отвечать на мои вопросы, рассказывать что-нибудь интересное.

То ли моя длительная болезнь, то ли частое общение с доктором и его доброе ко мне отношение, а скорее всего, все это вместе взятое привело меня к тому, что я просто «заболела» игрой в доктора. Мы с Леонидом играли в эту игру изо дня в день и не могли пресытиться. С игрушками тогда было плохо, и наш игровой аксессуар состоял из каких-то коробочек, баночек, бутылочек, палочек и одного, как мы тогда считали, «настоящего» предмета. Им был металлический остов от разбитого шприца. Вот всем этим «инструментарием» мы и пользовались для исцеления наших пациентов. Увидев, что наша игра носит стойкий характер, отец очень сочувственно отнесся к ней и подарил мне свой настоящий стетоскоп. Это, конечно, очень нас обрадовало и оживило нашу игру. Но по прошествии некоторого времени я решила, что шприц нам нужен тоже совсем настоящий и действующий. И я обратилась с просьбой к отцу отдать мне для игры его шприц. Он спокойно и убедительно объяснил мне, что сделать этого не может, так как шприц необходим ему самому, чтобы лечить бабушку (он сам делал ей в случае необходимости инъекции). «Но я понимаю, — добавил он, — что шприц тебе действительно нужен и я обещаю постараться достать его для тебя». Прошло, вероятно, пару месяцев, а может быть, и больше. Однажды вечером я была в гостях у кого-то из ребят. Мне позвонили из дому и сказали, чтобы я собиралась домой, так как сейчас за мной придут. Я начала просить отсрочки, но тут трубку взял папа и сказал мне: «Приходи скорее, у меня что-то для тебя есть». Дважды повторять мне не пришлось — папа дома, да еще что-то принес мне! Я мгновенно собралась и всю дорогу торопила своего провожатого: «Скорее! Скорее!». В дом я ворвалась пулей и, не раздевшись, кинулась к отцу. Он ласково со мной поздоровался, а потом отослал раздеться. Когда я, раздетая, вернулась к нему, он не торопился меня обрадовать. Казалось, он предвкушал мою радость и растягивал удовольствие. Он сел, посадил меня на колени так, чтобы хорошо видеть выражение моего лица, и, взяв что-то со стола, подал мне. Это была маленькая черная коробочка. Я сидела не шевелясь. «Что это?» — спросила я. В ответ на мой вопрос папа открыл коробочку, и я онемела от восторга — на пурпурном бархате лежал прекрасный шприц, гораздо лучше папиного, а рядом с ним — игла. Изнутри крышка коробочки была из красного атласа, она откидывалась, и между ней и крышкой лежала проволока для чистки иглы. Я боялась вздохнуть, мне казалось, что это сон. Видя, что я буквально онемела и ошеломлена, папа сказал мне: «Это тебе. Помнишь, я же обещал тебе шприц. Теперь ты можешь играть в больницу». Я не в силах была сказать ни слова. «Ты довольна?» — спросил меня папа. Я глубоко вздохнула и кивнула головой. Говорить я все еще не могла. Я крепко обняла отца, прижалась к нему и поцеловала его. Он улыбнулся. Сняв меня с колен, он сказал: «Сегодня уже поздно. Ты положи его на место, а завтра будешь играть с ним. Хорошо?» С этого момента все наши с Леонидом пациенты стали получать ежедневные инъекции. А к этому времени папа привез мне из Ленинграда в подарок очень большую матерчатую, набитую опилками, с головой из папье-маше куклу. Вот эта кукла и была главным объектом нашего лечения. Взрослые только удивлялись, почему кукла течет.

А много лет спустя, в 1956 г. я узнала историю этого шприца. Меня как-то попросила прийти к ней одна из давних сотрудниц и друзей отца — Л. С. Гешелина, чтобы передать мне ряд книг. Я зашла, завязался разговор об отце, и вдруг она мне сказала: «Если б

ты только знала, как Лев Семенович любил тебя! Знаешь, однажды я даже отдала ему для тебя шприц, так он тебя любил. А ведь не хотела сначала отдавать!» Я попросила ее рассказать, как это было, и она рассказала мне следующее. «Как-то однажды, кажется, в 1931 г., Лев Семенович спросил при мне: «Товарищи, нет ли у кого-нибудь из вас лишнего шприца? Мне очень нужен». А мне как раз только что привезли из Германии прекрасный шприц, поэтому я сказала ему: «У меня есть, и я его отдам вам с удовольствием». Он немного смутился и сказал: «Это, собственно, не для меня, а для Гиты». Я была поражена и сказала довольно запальчиво: «Ну уж ей, конечно, и не подумаю его отдать!» Лев Семенович молчал, а я добавила: «Нельзя потакать каждой прихоти ребенка! А потом она у вас еще что-нибудь попросит?!» И тут он очень тихо сказал мне: «Если у ребенка интерес к медицине, то шприц для игры — совсем не прихоть, не блажь. Ведь игра в детстве так важна, так значима, она имеет такое кардинальное, незаменимое значение для детского развития... И потом, кто знает, — добавил он, — может быть никогда после я не смогу доставить ей такую радость!» Это все так убедительно прозвучало для меня, что я сказала ему: «Бог Вам судья. Наверное, вы правы. Вот Вам шприц». Этот шприц цел у меня до сих пор.

«Вот, если бы папа был милиционером!»

По правде говоря, папина манера держаться с людьми, его чрезмерная скромность огорчали меня в то время. Он никогда не «выпячивался», всегда старался быть «в тени». Мне казалось, что при этом никто не мог даже догадаться, какой он хороший. Так, или примерно так, думала я в те годы. Идем мы с ним по улице — никто не обращает на него никакого внимания, никто его не замечает, никто не понимает, с каким замечательным папой я иду за руку. А мне так хотелось, чтобы все его видели, чтобы он был в центре всеобщего внимания! Вот, если бы...

На перекрестке, возле нашего дома, был милицейский пост. Там, на возвышении, целый день стоял постовой. В этом, конечно, была необходимость, так как улица наша была оживленной — было много транспорта, пешеходов. Да еще машины и телеги выезжали из переулка. Необходимо было всем этим управлять, и постовой успешно это делал. Я могла часами наблюдать из окна или стоя на улице у подъезда, как одному движению его руки повинуются и громоздкие трамваи, и машины, и извозчики, и пешеходы. Мне он казался таким могущественным! И он всегда был в центре внимания — все на него смотрели, все видели, какую важную работу он выполняет. Вот, если бы папа был милиционером! Стоял бы он на посту, все бы на него смотрели! А я бы гордилась им... Я бы даже могла к нему подойти и постоять рядом с ним на посту... И все ребята видели бы...

Однажды я даже познакомилась с одним из постовых, когда он сдал свой пост другому и направлялся, вероятно, домой. Мы с ним дружески поговорили, он спросил меня о том, где работает мой папа, а мне, увы, похвастаться было нечем: я честно призналась ему, что папа работает за столом, он пишет. Милиционер покачал головой — то ли одобрительно, то ли сочувственно. С той поры мы всегда с ним здоровались.

И вот как-то, после того, как я очередной раз наблюдала из окна за его триумфом, когда вся улица жила по движению его руки, я не выдержала и пошла к папе. Он работал. Я не окликнула его, а остановилась у стола и стала ждать, когда он меня заметит. Обычно папа чувствовал, что ли, мое присутствие и оборачивался ко мне. Так было и в этот раз. Дождавшись, когда он заметит меня, я подошла к нему вплотную. Он понял, что мне надо поговорить с ним, и положил ручку, которой писал. Тогда я сказала ему, что мне не нравится его работа: «Все время пишешь, да пишешь. Что это за работа? Вот если бы ты был милиционер, — мечтательно сказала я, — ты бы стоял на посту, и все бы вокруг видели, какую важную работу ты делаешь!» Мама рассмеялась и сказала что-то, из чего я могла заключить, что такая радужная перспектива ее не увлекает. Папа же был абсолютно серьезен. Он наклонился ко мне, взял за плечи и, немного склонив голову набок, сказал: «Конечно, милиционер выполняет очень важную и ответственную работу. Трудно даже представить,

что было бы на улице без него... Но ведь, понимаешь ли, бывает и другая важная работа — и водить трамваи, и лечить людей, и учить детей — тоже очень важно и необходимо. Это тоже должен кто-то делать... Всякая работа, которая нужна людям, важна». — «И твоя работа — тоже важная?» — с недоверием спросила я. Папа немного помедлил и уверенно ответил: «Мне представляется, очень... Да, то, что я делаю, тоже важно людям».

Помню, помимо всего, меня удивило в этом разговоре и то, что папа, как мне показалось, нисколько не завидует ни милиционеру, ни его могуществу, ни его популярности. Мне это было просто непонятно. Я вздохнула и отошла от него. Приходилось примириться с тем, что папа никогда не будет милиционером.

«Мы с папой работали за одним столом»

Папа очень серьезно и с огромным уважением относился к моим школьным обязанностям. Так, для моих занятий он отвел мне место за своим столом. Он специально освободил для меня половину своего письменного стола, чтобы я могла спокойно, без помех заниматься. Я была чрезвычайно горда тем обстоятельством, что мы с папой работали за одним столом и иногда даже одновременно.

В тот год я особенно пристрастилась к чтению и стала меньше играть. Это папу огорчало. Он не раз сетовал по этому поводу, спрашивал, почему так редко ко мне приходят играть ребята, почему мало играю сама. Его душевная тонкость проявлялась и в том, как он относился к моей реакции на читаемое. Помню, застав меня в слезах над «Маленьким оборвышем» Гринвуда, он не стал говорить мне, что это выдумка, что на самом деле этого не было, а потому не стоит плакать. Присев ко мне и обняв меня, он просто вместе со мной посочувствовал герою. Когда я читала о приключениях Тома Сойера и Гекельберри Финна, порой мне было страшно, и папа всегда находил какие-то слова, которые успокаивали меня, но тем не менее не разрушали создаваемые воображением картины.

Под влиянием школы и чтения у меня родились новые планы на будущее. И, конечно, я пошла поделиться ими с отцом. «Я хочу быть учительницей, писателем и художником. Как мне быть?» Папа серьезно отнесся к моей новой мечте и посоветовал и рисовать, и писать, и заниматься с Асей как с ученицей. А потом посмотреть, к чему душа больше лежит, что лучше будет получаться. Некоторое время спустя, начитавшись Сетон-Томпсона, я снова вернулась в разговоре с папой к своему будущему. «Знаешь, я решила, что буду одновременно и учить детей, и писать книги, и делать к ним рисунки. Ведь Сетон-Томпсон не только писал, но и сам делал рисунки к своим книгам. Я буду учительницей, буду писать книги о ребятах и сама буду рисовать для них». Папа даже не улыбнулся, выслушав мою грандиозную жизненную программу. Он только сказал мне, что все в жизни нужно стараться делать очень хорошо. А делать очень хорошо сразу несколько таких ответственных дел, по его мнению, очень трудно. Для каждого из них нужно долго и упорно учиться. Но если у меня получится то, что я задумала, то он, конечно, будет рад и готов мне помочь, если мне понадобится его помощь. Он не позволил себе ни малейшей иронии, не лишил мечты, не убил ее.

«Можно! Конечно, можно!.. Иди за ребятами»

Мне кажется, что наукой отец занимался всегда, каждую минуту своей жизни, что бы он ни делал, а не только тогда, когда сидел за письменным столом. Условия для работы у него были очень трудные, а точнее — никаких условий для работы не было. Судите сами. Жили мы вчетвером в одной комнате. В комнате было тесно: по стенам стояли книжные шкафы и стеллажи с книгами с пола до потолка, вдоль окон — большой письменный стол отца, кровать родителей, мой диванчик и Асина кровать. Свободным оставалось лишь небольшое пространство в центре комнаты. Вот его-то мы и использовали для игр. При этом,

играя, мы располагали наши игрушки так, что некоторые из них были вплотную придвинуты к письменному столу, за которым работал папа. И все же он умудрялся ежедневно по много часов проводить за столом, и не просто проводить, а напряженно работая. Казалось, ничто не мешало ему работать — ни разговоры рядом, ни наши игры и возня на полу. Он никогда не требовал тишины, не делал замечаний. Мне думается, работа целиком поглощала его, настолько увлекала, что порой он и не замечал того, что происходит вокруг. Вероятно, из-за этого он мог иногда и невпопад ответить. Так мама рассказывала, что однажды оставила меня, еще маленькую, с ним. Он работал, а я играла рядом. Потом мне зачем-то понадобилась бумага, и я обратилась к нему: «Папа, мне нужна бумага». — «В каком смысле?» — спросил он, не в силах оторваться от работы. «В белом», — ответила я. Мой ответ сразу вернул его на землю, он очень смеялся. Кажется, он это тоже использовал в одной из своих работ. Он был очень непритязателен, скромен и никогда не требовал для себя особых условий, никогда никого не стеснял, не ущемлял. Ребята со двора очень любили приходить к нам играть. Частенько они говорили мне: «Пойди спроси, можно к вам?» Очень ярко помню, как вхожу в комнату, вижу склоненную над столом фигуру отца и, стараясь не шуметь, спрашиваю у мамы: «Мама, ребята спрашивают...». Дальше говорить мне не удается, так как быстро, резко повернувшись ко мне, папа отвечает: «Можно! Конечно, можно!» Смотрю на маму, она с сомнением качает головой. Не знаю, как быть, но на помощь мне снова приходит папа: «Можно! Чего же ты ждешь?! Ведь ко мне приходят товарищи. Было бы ужасно, было бы несправедливо, если бы к тебе не могли прийти. Иди за ребятами». Так быстро решается этот вопрос. Это повторялось многократно. И потом, когда мы уже играем тут же, рядом с ним, он время от времени оборачивается к нам, смотрит, улыбаясь, на нас и снова погружается в работу. Приходится лишь удивляться, как, работая в таких условиях, он успел столько написать.

«Он что-то чертил, придумывал...»

А вот в чем совершенно не разбирался отец, чего он совершенно не знал, так это музыка. Эта область была для него *terra incognita*. Может быть, это произошло потому, что в детские годы в семье не уделялось внимания приобщению детей к музыке. Так или иначе, у него был плохой музыкальный слух. Не знаю, мог ли он различать по звучанию различные музыкальные произведения, но передать правильно ни одной мелодии не мог. Ему нравилось, когда мама, что-либо делая, напевала вполголоса. Он шурился при этом от удовольствия. Он хотел, чтобы я училась играть на рояле, и была даже предпринята такая попытка, которая закончилась пару месяцев спустя. (Льщу себя надеждой, что так случилось из-за неблагоприятных условий, а не из-за моей музыкальной тупости.) Дело в том, что у нас дома инструмента не было, поэтому для того, чтобы приготовить задание учительницы, меня отводили в семью живших неподалеку наших знакомых. Там же никаких условий не было. В конце концов, я отказалась ходить туда для приготовления уроков, а другой возможности не было. Но важно не это, важно отношение отца к моим занятиям. Когда мне было задано учить ноты, различные музыкальные паузы, папа старался помочь мне сделать это. Он что-то чертил, придумывал какие-то приемы, чтобы облегчить мне запоминание материала и сделать эти занятия интересными для меня. С ним я занималась этим скучным делом с удовольствием. Для того, чтобы объяснить мне материал, он должен был сначала разобраться в нем сам, так как не владел даже элементарной музыкальной грамотой. И он находил для этого и время, и терпение, и всячески способствовал моему обучению. Когда через несколько месяцев мои занятия прекратились, он огорчился. Спросив у меня, хочу ли я учиться музыке, и получив мой утвердительный ответ, он обещал купить для этого пианино. Это свое обещание ему не суждено было выполнить — он не успел.

Отдельно хочется сказать о редкой способности Л. С. Выготского сочетать в общении с детьми неизменное внимание и тепло с твердостью, заботой

о дисциплине и нравственности. Как он это делал?

«Папа никогда не морализировал, но...»

Однажды, помню, я вернулась из школы гордая и счастливая — за какую-то очень важную контрольную работу я получила самую высшую оценку. Рассказывая об этом, я не без удовольствия сказала, что моя соседка по парте получила отметку ниже, чем я, так как не успела у меня что-то списать. И вдруг вместо ожидаемой радости отца я увидела, что он очень огорчен и не пытается скрыть это. Я не могла понять причины его огорчения. Он сказал, что это, конечно, хорошо, что я справилась с трудной работой. Но он не понимает, как можно радоваться чужой неудаче? Надо быть добрым к людям и всегда стараться им помочь. Мне стало стыдно перед ним за ту радость, которую я испытала от того, что превзошла одноклассницу. Но, осудив мой поступок, папа показал мне путь к исправлению. Он сказал, что советует мне спросить у моей соседки по парте, что ей непонятно, и предложить ей помочь, объяснить непонятное. «Конечно, если ты действительно хочешь ей помочь, то предложить помощь нужно от души, чтобы она поверила, что ты желаешь ей добра». И потом добавил: «Я прошу тебя, пожалуйста, всегда относиться к людям по-доброму, всегда старайся помочь. И никогда не радуйся чьей-либо неудаче». Мне было стыдно, и от моей радости ничего не осталось. Но отец, чтобы научить добру, не побоялся омрачить мою радость, даже разрушить ее. Этот урок запомнился мне на всю жизнь.

Очень нравилось нам, детям, когда к отцу приходил Б. Г. Столпнер. Был он очень близорук и, несмотря на толстенные стекла очков, видел очень скверно. Был ли он к тому же рассеян, судить не берусь. Но по той или другой причине (а может быть, и из-за обеих причин вместе) с ним случались в доме смешные, с нашей точки зрения, истории. Так, помню, собираясь домой, он тщетно старался натянуть на свои огромные растоптанные ботинки маленькие женские галоши на высоком каблуке, да еще стоящие задом наперед. Мы с Леонидом получили массу удовольствия и еле сдерживались, чтобы не захохотать в голос. Папа страдальчески (да, да, именно так) посмотрел на нас, и мы присмирели. Потом, с обычной своей деликатностью, он сказал: «Борис Григорьевич! Мне кажется, это не Ваши галоши», на что Столпнер ответил: «Нет, Лев Семенович, я хорошо знаю свои галоши». Отец пытался очень тактично добавить, что ему кажется, что это женские галоши, но Столпнер продолжал терзать их, пока не убедился окончательно в негодности попытки надеть их. В другой раз он спутал дверь в туалет и ломился в запертый бельевой шкаф. Стоявший рядом отец робко говорил ему: «Мне кажется, Борис Григорьевич, Вы не ту дверь открываете», на что Столпнер ответил: «Нет, Лев Семенович, я отлично знаю Вашу дверь». Папа предусмотрительно посмотрел на нас, и мы сдержались.

После ухода Столпнера папа позвал нас. Он был очень огорчен. Он сказал нам, как это неблагородно и жестоко смеяться над чужими недостатками. Он сказал, что надо всегда быть добрым к людям и стараться помочь им, а не выискивать их недостатки. Он добавил, что ему очень грустно оттого, что мы сами этого не понимаем. Он не требовал ни наших объяснений, ни извинений, ни обещаний на будущее. Просто он встал и вышел из комнаты. До сих пор помню, как мне было стыдно. Весь день я ничем не могла заняться и только и думала об этом разговоре и мечтала, чтобы что-нибудь случилось такое, чтобы я могла показать папе, что я не такая уж злая.

«Сказал, что сам ею займется»

В первые годы своей жизни Ася²⁴ росла нелегким ребенком, она была, как принято говорить, с характером. Это проявлялось в бурных скандалах, которые она периодически устраивала. Мама работала, и нас воспитывала няня, которая очень любила Асю, страшно ее баловала, во всем потакала ей, что, безусловно, не способствовало улучшению ее характера. Увидев однажды один из Асиных фокусов, Лев Семенович сказал, что сам ею займется, и просил никого не вмешиваться. Ася очень любила гулять, очень хорошо играла во время прогулки, но возвращение домой вызывало ее бурный протест. Как только она видела, что мы приближаемся к дому, она ложилась на тротуар, начинала бить ногами, не подпуская к себе, и истошно орала. Вот такую картинку и увидел однажды отец. На следующий день, когда все повторилось как по нотам, он вышел на улицу, велел мне, Леониду и няне идти домой, а сам взял отчаянно брыкавшуюся и орущую девочку на руки, внес ее в подъезд, положил на пол, а сам вошел в квартиру и закрыл дверь. Сначала из подъезда неслись отчаянные вопли, но постепенно они стали стихать — ведь зрителей не было! — и, наконец, совсем прекратились. Когда наступила тишина, отец вышел в подъезд, спокойно помог дочери подняться с пола и, молча, привел ее домой. Он не сказал ей ни единого слова. Умыв, он отпустил ее к няне, которая собиралась ее кормить. Это повторялось несколько дней кряду, с той только разницей, что пару раз Асю забирала из подъезда соседка из квартиры напротив и приносила ее нам через черный ход, со двора. Отец неотступно следовал своей методе и был вполне вознагражден — постепенно все прекратилось, и возвращение с прогулки стало проходить спокойно. Если же Ася устраивала скандал дома, падала на пол, била ногами по полу, кричала, папа требовал, чтобы все вышли из комнаты, а сам, оставшись с ней, не обращал на нее никакого внимания, делая вид, что чем-то очень занят, поглощен.

Когда она успокаивалась, он, опять-таки молча, помогал ей подняться с пола и вел умываться. Он никогда ей при этом ничего не говорил, по-видимому, считая, что она в таком возбуждении, что все равно не в состоянии услышать и осознать сказанное. Как бы то ни было, но выбранный им метод целиком оправдал себя — истерики и скандалы постепенно прекратились. Хорошо помню один из последних скандалов. Я уже училась в первом классе. Школа была на значительном расстоянии от дома и, главное, надо было переходить в нескольких местах Серпуховскую площадь, где было очень оживленное по тем временам движение. Обычно няня переводила меня через площадь, а дальше я шла одна. Ася очень ревниво относилась к няне, и когда она видела, что няня собирается меня провожать, она протестовала, плакала, била меня. Не желая лишний раз огорчать свою любимицу, няня часто уходила из дома раздетой и одевалась только в подъезде дома. На этот раз Ася, увидев, что мы собираемся уходить, начала плакать, больно ударила меня ногой, а потом в бессильной злобе схватила с кровати мое полотенце, окунула его в таз с водой и начала мокрым полотенцем тереть пол. На полотенце от мастики тотчас же образовалось большое рыжее пятно. Мы молча наблюдали за маленькой дикаркой. Отец подошел к ней, взял из ее рук полотенце и медленно, очень раздельно и внушительно сказал: «Отныне это полотенце будет твоим». И, действительно, каждый раз, меняя белье (даже тогда, когда отца уже не было в живых), полотенце с рыжим пятном давалось в пользование Асе. Так в семье свято выполнялись требования отца.

Мне хочется здесь сказать несколько слов о своей сестре. Я считаю необходимым это сделать, так как, к великому сожалению, ее уже нет (она умерла весной 1985 г.). Несомненно, активное участие отца в ее воспитании способствовало выравниванию ее характера, его коррекции. Постепенно все ее срывы прекратились, и к школе она была вполне контактной девочкой, хорошо общалась со взрослыми и сверстниками, среди которых всегда, на протяжении всей своей жизни, имела много настоящих друзей. Я бы сказала даже, что она обладала ценнейшим даром — умением дружить. Она всегда была

²⁴ Сестра, на пять лет младше Гиты.

добра и внимательна к своим друзьям, и они платили ей тем же. Она выросла глубоко порядочным человеком и всегда, в любой ситуации, вела себя очень достойно, никогда и ничем не запятнав ни своего имени, ни имени своего отца.

Таким образом, мы познакомились с еще одним примером замечательных отношений между родителем и ребенком.

Корней Иванович Чуковский — и Лев Семенович Выготский: при всем различии этих выдающихся людей — разнице в их темпераментах, знаниях и взглядах — в одном отношении они были похожи. Каждый из них смог очаровать ребенка своей личностью, своей увлеченностью, тонким пониманием, умной заботой. Их дети чувствовали, что они нужны и важны родителю! В свою очередь, они платили ему безграничной любовью, преданностью, обожанием и благодарностью на всю жизнь.

Хочется завершить итог этих воспоминаний об отце простыми словами, которые написала Гита Львовна спустя многие десятилетия: «Я любила его. Я и сейчас его люблю».

Совсем другую тональность воспоминаний о родителях мы находим у Павла Флоренского.

Павел Флоренский Семья и тетя Юля

Основы личности ребенка формируются в первые 5–6 лет его жизни и зависят от отношений с близкими. Простые чувства: душевное тепло, ласка, понимание и принятие создают основу эмоционального благополучия ребенка, а система семейных ценностей задает ориентиры для растущей личности. Не случайно первые воспоминания о детстве включают рассказы о родителях и взаимоотношениях с ними. В своих воспоминаниях П. Флоренский описывает сложные и неоднозначные чувства к родителям. Это была любовь и одновременно — ощущение отстраненности, или дистанции. Зато глубокая эмоциональная привязанность к тете компенсировала то тепло, которое не давала (или не могла дать) мать. Поражает блестящее психологически глубокое описание атмосферы в семье Флоренских: уважение и почти поклонение перед родителями не только со стороны детей, но и всех окружающих; предельная интеллигентность и вежливость; строгое соблюдение моральных норм; взаимная забота и оберегание чувств друг друга и одновременно умолчание о неприятных переживаниях. Эта атмосфера формировала в мальчике, по его собственному благодарному признанию, такие качества, как честность, порядочность, совесть, ответственность. Но преувеличенный акцент на моральной чистоте, строгости и сдержанности может приходить в противоречие с естественной эмоциональностью, спонтанностью и открытостью и мешать установлению действительно близких отношений, душевной гармонии детей и взрослых. Необходимость такого сложного равновесия между следованием моральным нормам и спонтанностью показывает П. Флоренский на примере нехватки его в семье родителей, фактически на полвека предвосхищая идеи и открытия гуманистической психологии.

Прогулки с папой

Отец часто брал меня с собою на прогулки, в город, и, конечно, всегда они

заканчивались какими-нибудь занимательными для меня покупками, то сластей, то игрушек. Помнится мне смутно, как в одну из таких прогулок была подарена мне первая кукла. Смутно припоминаю, что ноги и руки ее болтались на жидко набитых тряпочках и что куклу эту я страстно любил.

Мы жили высоко, на половине Давидовской горы. Подъем туда и сейчас был бы не очень легким в тифлисскую жару; тогда же я, едва ходивший, от жары размаривался и раскисал. По Головинскому и Дворцовой я ходил с папой, а возвращался домой уже у него на руках или сидя на плече: папа любил носить нас, маленьких, именно на плече. Жгучее тифлисское солнце, дышащий в лицо жар от нагретых скал, стен и мостовой, душный воздух и тяжелые, словно злые, лучи, придавливающие долу своею тяжестью спину и голову, словно прижимающие к мостовой пыль, врезались в мое сознание, и с тех пор во мне живет чувство враждебности Солнца-Молоха, полуденного тифлисского солнца, готового пожрать все живое. В этих прогулках мне открылась еще таинственная и уже определенно враждебная сила природы.

Было ли папе очень трудно вносить меня на Давидовский подъем, я не знаю. Но у меня осталось за эти ношения на плече к нему наиболее благодарное чувство как к избавителю от враждебного и злого Солнца-Губителя. Отчасти, может быть, это так еще и потому, что Люся еще не рождалась или была совсем маленькой, у меня не было с ней столкновений, отец принадлежал мне всецело, и еще не было у меня с ним неприятностей из-за Люси, которые стали омрачать мое детство впоследствии и тем самым вносить несколько отчуждения от отца. Тогда единство сына и отца, в моем сознании, было безусловным, и самый отец был для меня безусловным отцом, а я — его безусловным сыном.

Мать

Этого чувства близости и нераздельности существования у меня никогда не было в отношении к матери. Прежде всего, она мало возилась со мною, занятая Люсей и потом другими детьми. Сдержанная, замкнутая, гордо-застенчивая в проявлении чувств, преувеличенно-стыдливо прятавшаяся от меня уже с самого детства — когда кормила и вынашивала детей, она казалась мне с первых дней моего сознания существом особенным, как бы живым явлением природы, кормящей, рождающей, благотельной, — и вместе далекой, недоступной.

Этому впечатлению от матери — как от Матери-Природы — способствовал и культ, которым отец мой, и по движению чувства, и по сознательному убеждению, чтит мою мать, полагая, что жена-женщина вообще есть существо особое, а его жена — и трижды особое, что, впрочем, было, вероятно, не несправедливо. В ней я не воспринимал лица; она вся окружала наше бытие, всюду чувствовалась и была как-то невидима. Я мог говорить об отце, о тете Юле, о братьях и сестрах, и тетках, и двоюродных братьях и сестрах, но едва ли что-нибудь мог раньше сказать о матери своей. Да и сейчас я очень мало могу сказать о ней — лишь то, что говорили мне о ней другие, но не свое. Ибо сила моего анализа не может расчленить аморфного, хотя и очень сильного, впечатления от матери, не может объективироваться оно, не может выразиться в слове. С отцом я много всегда разговаривал; с тетей Юлей, с тетками, со всеми — тоже. Но с матерью, кажется, никогда, или у меня сложилось впечатление, что я не разговаривал с нею. Отношения к ней мне представляются чувством одинокого путника в большой прохладной роще. Священный трепет и молчание, прохлада и робость... не страх, а... Мать была для меня родными недрами бытия, но прижаться к ней как к родной — было странным, неподходящим. Конечно, я говорю об этом преувеличенно. Конечно, я прижимался к ней, целовал ее, но мне помнится, что она с каждым годом все не то холоднее, не то смущеннее встречала эти ласки, и я чувствовал, что нарушаю какие-то должные грани. А я, надо отметить, был ребенок очень ласковый, все время целовал то одного, то другого и жить без этих ласк не мог, как без воздуха, тепла и

света...

... Тут я не могу не заявить этого решительно, — что с самого начала у меня не было той привязанности к матери, которая бывает у всякого ребенка, — привязанности сыновней. Этою последнею всецело владела тетя Юля. По сказанным я не хочу сказать, что у меня не было никаких отношений к матери. Напротив, они были весьма могучи. Однако они были не личны, они были характера скорее пантеистического, чем нравственного.

В матери я любил Природу или в Природе — Мать. Я знал, что мать очень любит меня; и в то же время у меня было всегда чувство таинственного величия ее. И мне казалось, что она же может встать во весь рост — и, не заметив меня, — раздавить. Я не боялся этого и не протестовал бы против этого. Но при этом не могло не быть отдаления, какого и в помине не было в отношении отца или тети.

Тетя

Тетя, напротив, представляла обратный полюс моей детской жизни. В ней я не отрицал ноуменальной мощи, не удивлялся ей, но любил ее глубоко-личною любовью, был, вероятно, влюблен в нее со всем цельным чувством ребенка. Она была мне и другом, и товарищем, и учителем; с ней я делился своими горестями и радостями; от нее получал выговоры и наказания (хотя таковых бывало очень мало), вообще все человеческое было у нее. Она не подавляла меня своей отрешенностью от мелочей жизни; с нею можно было поболтать о нарядных платьях, кружевах, бантиках и шляпах, до чего я был большой охотник; с нею можно было собирать цветы и делать букеты; вообще с нею можно было жить. Матери же надо было поклоняться. И не потому, чтобы она требовала поклонения. Напротив, ничто, если брать сознание, убеждения, не было столь чуждо моей матери, как притязание на внимание и подобное. Напротив, она тяготилась всяким вниманием, усиливала свою скромность и свое стеснение до невозможности жить в человеческом обществе... И все же, а может быть, и тем более, около нее была атмосфера, требовавшая поклонения, а не жизни.

Атмосфера семьи

У меня была нежная и горячая любовь к родным, собственно и преимущественно к старшим. Точнее сказать, нежная любовь и род влюбленности направлялись на тетю Юлю. Хотя и старше меня, она по складу своего характера откликалась на многие мои чувства и, насколько я теперь могу понять, со мной жила тою жизнью, которая не нашла бы удовлетворения в среде взрослых. Это она охотно рассказывала мне трогательные истории о каком-нибудь засохшем растении или умершей птичке и, как по крайней мере мне тогда казалось, оплакивала погибших вместе со мною. Мое ощущение — то, что пред нею мне не было надобности особенно скрывать мои мысли и чувства. Правда, она их формально не поддерживала, вероятно, по просьбе родителей и из боязни огорчить отца, бывшего предметом ее жгучей и единственной любви. Но я угадывал ее сочувствие и внутренне считал ее за единомышленницу. Сестры матери впоследствии мне говорили, что тетя Юля была сентиментальна. Но я хорошо знаю, что они имеют в виду, и знаю, как это неверно. Между тетей Юлей и другими тетками, несмотря на дружественные отношения, не могло быть настоящего понимания. Мне это ясно всем нутром...

Все они добры, приветливы, стараются окружить теплотой и вниманием и умеют это делать. Однако это — именно теплота, в ней что-то слепое. Действие ее иссякает почти тут же, за пределами небольшого пространства, в ней нет звонкости, нет света. Когда из такого теплого гнезда видишь далекие горы, сверкающие на солнце, тогда не оторваться от этой теплоты. Но если гнездо, ради большего удобства, закрыто со всех сторон, тогда во имя света взбунтуешься против этого уюта. Тетя Юля понимала это влечение к свету. Может быть,

если бы она дожила до более поздних моих лет, она перестала бы понимать мои желания, но тогда, в детстве, мы друг другу соответствовали. Мое восприятие природы ею как-то одобрялось. И мое чувство к тете, вероятно, имело в себе сходство с тем ощущением, что отсутствуют какие-либо разделяющие преграды и происходит взаимная диффузия личности, которая бывает при разделяемой и весьма одухотворенной влюбленности у взрослых...

Я позволял любить себя отцу, испытывал полумистическое благоговение, с чувством какой-то несоизмеримости, что ли, пред матерью, имел приязнь к теткам и вообще ко многим людям, любил же, нежно и страстно, лишь тетю Юлю, однако и ее — не как ее, т. е. без внутренней мотивированности, а за ее отношение к природе. Мне странно думать сейчас, а тем более писать, что в такой насыщенной взаимным признанием и взаимною любовью семье, как наша, такой впечатлительный и нежный, слишком даже нежный, каким я был, я, в сущности, может быть, никого не любил, т. е. любил, но любил Одну. Этой единственной возлюбленной была Природа.

Может быть, мне повредили в детстве люди. Уж слишком у нас в доме было сплошное тепло, сплошная ласка, а главное, сплошная порядочность и чистоплотность. Тут все подобралось одно к одному. Никогда ни одного пошловатого слова, ни одного приниженного интереса, никакого проявления эгоизма; всегдашняя взаимная предупредительность всех друг к другу при широкой, активной доброте отца в отношении окружающих, посторонних.

А со стороны окружающих — признание, уважение, почти благоговение к отцу, ко всей семье. Посторонние мне говорили о благородстве, о великодушии, о щедрости, об уме, о честности отца. Няньки на бульваре нередко поднимали оживленный спор, чья барыня в городе красивее и лучше, и, после обсуждения всех кандидаток, первенство красоты и всех достоинств утверждалось хором нянек неизменно за барыней Флоренской. У папы нередко срывалось искреннее восхищение пред тетей Лизой, в частности пред самодержавным размахом ее характера и пред редкою красотой ее глаз, а в его поддразниваниях тети Сони, тогда еще совсем девочки, опять чувствовалось одобрение. Наудачу указаны здесь некоторые из элементов этой доброкачественности. На самом деле все было пропитано этим, или я так воспринимал это, в данном случае то и другое не составляет разницы. Но если бы и никто ничего не говорил в этом направлении нам, детям, не могли же мы не видеть особого отношения прислуги, особого признания знакомых, подчиненных, сослуживцев. Мне кажется, характер папы не был особенно легким, и времена мрачности в нем сменялись веселостью и оживлением. Как мне кажется, он мог сказать и говорил как в ту, так и в другую полосу что-нибудь резкое, слишком правдивое, иногда дразнительное. Но признание его было настолько велико, что никогда из-за подобных излишеств в слове не происходило ссор, неприятностей, то же, в своем роде, относительно матери. Горделиво застенчивая и охваченная нравственной чистоплотностью до нелюдимства, она еле-еле выполняла обычные светские требования, в гостях почти не бывала, визиты отдавала так, что почти как не отдавала, словом, несмотря на светскую воспитанность, шла в жизни по острию. И все же разрывов, обид и ссор, которые естественно должны были возникнуть, тут не выходило, — несомненно силою личного признания.

Мы все это видели. Отрицательных же свойств жизни других людей мы не только не видели, но и подозревать о них не могли. В нашем доме самый отдаленный намек не только что на сплетни и пересуды, но даже на сообщение вполне невинных новостей о чужих делах услышать было невозможно, — что я говорю — услышать, несомненно, подумать никто ничего такого не мог. Опять повторяю, неважно, насколько правильно освещено здесь строение нашей семьи, а важно, что я-то, во всяком случае, воспринимал его так. Может быть, взрослые, оставаясь одни вечером и весело смеясь чему-то, причем особенно развеселялся папа, может быть, они говорили и что-нибудь в ином роде. Но до нас, до меня это не доходило. Даже ряд слов, около которых обычно выкристаллизовываются пересуды, был решительно исключен из домашнего словаря: служба, начальство, ордена, награды, губернаторы и министры, деньги, жалованье, женихи и невесты, мужья и жены, рождения и

смерти, похороны и свадьбы, священники и всякие богословские термины, евреи и различные щекотливые национальные вопросы и т. д. и т. д., — всего и не перечислишь, — эти понятия, наравне со многими другими, были, по крайней мере, в моем детском сознании, табуированы. Никто формально не запрещал нам употреблять подобные слова и обсуждать соответственные понятия — кроме только двух: деньги и жалованье, почитавшихся безусловно неприличными. Но и без такого запрета я из каких-то неуловимых семейных токов почувствовал с самых проблесков своего сознания полуприличность одних из этих слов и неприличность других. У детей есть абсолютно верный инстинкт, собачье чутье для расценки приличного и неприличного. Между плохим и хорошим нет глубокой разницы, и сделать плохое — это, конечно, нехорошо, потому что огорчит родителей; но, в сущности, — почему бы и не сделать его. А вот неприличное и приличное — это деление абсолютное, и сделать неприличное — хуже чем умереть. А еще хуже, чем сделать неприличное, — сказать его. Плохое дело, плохая речь, неприличный поступок, неприличное слово — такова градация недопустимого; хуже неприличного слова, стыднее, уничтожающее, бесповоротнее — ничего не может быть, кроме одного: *мысли* о нем. В ночной темноте, закрывшись с головою одеялом, — и то не осмелишься подумать таковое, иначе будешь раздавлен каким-то нарушенным категорическим императивом, сгоришь и умрешь от стыда, даже мысль о том, что можешь нечаянно подумать такое слово, приводит в полное содрогание и на мгновение останавливает всякую жизнь.

Но, повторяю, неприличное — это не то чтобы плохое и не какое-либо особенное; у него, у этого неприличного, нет таких внешних признаков, чтобы по ним определить его неприличность и объяснить ее. Скорее всего, оно сродни мистическим понятиям, оно — табу; и только верхним чутьем я постигал, что табу и что не табу, но, конечно, никакие силы в мире не подвинули бы спросить взрослых, что прилично и что неприлично и почему это так. Правда, во мне с раннейшего детства были чрезвычайная застенчивость и еще большая стыдливость. Но я хорошо помню, это чувство неприличия оценивалось мною не как моя застенчивость, стыдливость, вообще не как мое личное свойство, а как правое и должное чувство, именно т?к, как обычно говорят о совести. Малейшее нарушение этого словесного табу, малейшее приоткрытие запретной области мною внутренне сурово осуждалось, ибо казалось бесстыдством, обнажением, хамством, если употребить это слово в его исходном значении. Бытие в основе таинственно и не хочет, чтобы тайны его обнажались словом. Очень тонка та *поверхность* жизни, о которой праведно и дозволено говорить; остальному же, корням жизни, может быть, самому главному, приличествует подземный мрак. Правда, влечет познать его, но это надлежит делать именно поглядывая, а не нагло рассматривая пристальным взглядом, — доходить до неведомого «каким-то незаконнорожденным рассуждением», как говорил о познании первичного мрака материи Платон, но никак не внятыми, да еще вдобавок сообщая, силлогизмами. Вот смысл моих тогдашних ощущений приличного и неприличного. Я хорошо помню, он был именно таков, хотя я не мог бы сказать тогда этими словами, и мне кажется, это не индивидуально случайное мое чувство и не произвольно субъективный круг слов — табу, установившийся в моем сознании, а что-то несравненно более общечеловеческое. Мне кажется еще, не эти ли же слова табуируются у дикарей, психологию которых и по сей день я чувствую родною себе?

Во всяком случае, в нашей семье были какие-то объективные поводы, может быть не вполне сознаваемые и самими родителями, к установлению таких табу. Два-то рода мотивов тут были во всяком случае: один — нравственная *pruderie*²⁵, а другой — такое же, как у меня, ощущение тайн жизни, в особенности жизни семьи, и инстинктивная боязнь огрубить эти тайны, облекши их в слова и дозволив разговор о них. Но как бы ни было, в моем сознании строй семейной жизни был изысканен. И ничего другого я не знал.

Детское сознание привыкло к этой изысканности, раз навсегда приняло ее, но

²⁵ Стыдливость (*франц.*).

приняло как нечто подразумеваемое, естественное. Иначе и быть не может. Отношения личные не могут быть иными, как ласковыми и вежливыми, внешние отношения — бескорыстными, честными и т. д. Люди вообще не могут быть иными, как воспитанными, немелочными, знающими. Ложь, даже оттенок неправды, невозможна и т. д. и т. д. Никто не может сказать слова грубого, обнаженного, неприличного. Вообще, весь мир построен, как и наш островной рай. Правда, боковым слухом я откуда-то узнавал, что случаются нарушения райской тишины. Но такие нарушения мне не представлялись даже неприличными. Они были слишком далеки от наглядно воспринимаемого, и если я интересовался ими, правда очень слабо, то в порядке естественнонаучном: так взрослые могут интересоваться сиамскими близнецами или, скорее, боа констриктором.

Человек невоспитанный, позволяющий себе заговорить о жаловании или не отвечающий в любой час дня и ночи на геологические или астрономические вопросы своего сына, представлялся мне вроде Джэка-потрошителя или преступников, которым убить — все равно, что выпить стакан чаю. Таких людей, если бы кто о них мне сказал, я бы и осуждать не стал, как нечеловеков, хотя и в человеческом образе. Грубое обращение, пресловутые мачехи, невнимательные отцы — право, о них я вовсе не думал, а когда детская беллетристика заговаривала о них, я относился к этим мифическим образам с гораздо меньшим чувством реальности, чем большинство взрослых к шайтанам арабских сказок.

Все, что может быть неблагородного, невоспитанного, нравственно нечуткого, грубого в слове и в действиях, стало для меня как раз тем, что педагоги желают сделать для ребенка мир мистической фауны, т. е. *ничем*, практически ничем, словами и образами, лишенными какой бы то ни было реальности. Есть же, просто есть, само собою подразумевается именно то, что окружает меня, чего не быть кругом меня не может, — эти люди, эти отношения.

Я был привязан к этому бытию и к этим людям органически, как к своему телу, и отдаление от них — разумею пространственное расстояние — вызывало ощущение почти телесной болезненности, растяжение каких-то органических связей с ними.

...Так вот, полное нравственное благополучие нашего уединенного острова воспитало во мне подобное описанному отношению к людям. Хорошие люди, воспитанность, деликатность, всяческая порядочность, ум и т. д. и т. д. — это подразумевается, об этом нечего говорить, нечего это и замечать, даже чудовищно, хотя бы в самом себе, сказать о человеке, что он такой-то, в хорошем смысле, как никто не констатирует, что глаза у человека именно два, а голова — одна. Но вот противное — оно не может не быть замеченным. Однако такой, о ком замечено, — это ведь уж почти что не человек, и внутренне считаться с ним было бы нелепым и претящим.

Итак, с одними почти не считаешься, потому что они подразумеваются, а с другими считаться, по меньшей мере, странно. И я, в теплом гнезде наилучших — так, по крайней мере, оценивал их — людей, пронизанный любовью и нежной заботой о себе, оказываюсь предельно одиноким; только тетя Юля, с ее глухим страданием и с характером менее величественным, чем у отца и матери, протягивает мне нитку к Человеку.

Я не знаю, как объяснить свою мысль. Потом, в совсем другом смысле, уже не в отношении к семье, я расскажу о несколько родственном состоянии, от которого я оторвался с большою потерей крови: назову его несколько приблизительно *фарисейством*. А то, что мне хочется сказать о семье нашей, так названо быть не может. Кроме того, это и не самодовольство, и не американская здоровость и сытость, и, наконец, менее всего сектантское чувство праведности. Все это совсем не то. Но в нашей семье не было бы места Достоевскому. Он со своей истерикой у нас осекся бы, в этом я уверен. Светский дом, или самодовольный дом, или безбожный дом он преодолел бы и перевернул бы все его благополучие. Но наш отнюдь не был благополучным, напротив, в основе его был фатализм и чувство обреченности всего прекрасного. Именно поэтому-то хаосу был раз и навсегда прегражден доступ на этот остров: его можно было разрушить, но — не возмутить скандалом.

Формальная светскость и холод внешних отношений были бы в нашем доме неприличны. Но не менее неприлично было бы патетическое. Рыдания, вопли, восклицания — совершенно не могу представить себе чего-нибудь такого в нашем доме. А если бы Достоевский ворвался с этим в дом, то, ясно представляю, мама сказала бы нам, детям: «Подите побегайте во дворе, Федор Михайлович болен». Потом все взрослые переглянулись бы между собою и из деликатности разошлись бы по своим комнатам. Через четверть часа папа сказал бы маме или тете: «Il faut lui donner un verre d'eau avec sucre»²⁶, — и послали бы тетю Соню, как младшую, тоже из деликатности, с подносом, на котором был бы на блюдечке чайный — непременно граненый — стакан с сахарною водой. Тетя Соня тихо ушла бы, а через несколько минут решили бы, что теперь все кончилось, папа маме, или наоборот, сказал бы: «Pauvre homme, il est tres nerveux»²⁷, — и, делая вид, что ничего не произошло, — пошли бы объявлять: «Федор Михайлович, ужин уже на столе», — причем за ужином обязательно был бы шашлык из лососины или осетрины с ломтями помидор и луку, свежая икра и вино, а после ужина папа поднес [бы] Достоевскому какую-нибудь особенную гаванскую сигару и затеял бы разговор о последней книжке «Revue des deux Mon-des», «Deutsche Rundschau» или же о только что полученном новом томе «Histoire Universelle par Lavisse et Rambaud». Не сомневаюсь, что Достоевский не мог бы не почувствовать, что это ненарочно проделано, и так есть в семье, и, затаив конфуз, искренно осудил бы в себе истерику.

Так вот, Достоевскому не было места, и даже романы его, хотя и стояли в шкафу, но, открыто по крайней мере, никем не читались как что-то сомнительное — в противоположность настольным и провозглашаемым Диккенсу, Шекспиру, Гете и Пушкину, каковые признавались *вполне и насквозь* приличными.

Достоевский, действительно, — истерика, и сплошная истерика сделала бы нестерпимой жизнь, и Достоевский сплошной был бы нестерпим. Но, однако, есть такие чувства и мысли, есть такие надломы и такие узлы жизненного пути, когда высказаться можно только с истерикой — или никак. Достоевский единственный, кто вполне постиг возможность предельной искренности, но без бесстыдства обнажения, и нашел способы открыться в слове другому человеку. Да, конечно, это слово будет истерикой и юродством, и оно безобразно и само собою замрет среди благообразия, подлинного благообразия, но закупоривающего поры наиболее глубоких человеческих общений. Конечно, Достоевскому, чтобы высказаться, не годен наш дом, не годен монастырь, по крайней мере, хороший монастырь, может быть, не пригоден даже храм. Достоевскому нужен кабак, или притон, или ночлежка, или преступное сборище, по меньшей мере, вокзал, — вообще, где уже уничтожено благообразие, где уже настолько неприлично, что этой бесконечности неприличия никакое слово, никакое неблагообразие уже не увеличат. Тогда-то можно дозволенно делать недозволенное, излиться, не оскверняя мирного приюта, не оскорбляя самой атмосферы. Достоевский снова открыл, после антиномий апостола Павла, спасительность падения и благословенность греха, не какой-нибудь под грех, по людскому осуждению, поступка, а всамоуделишнего греха и подлинного падения.

Достоевскому у нас нечего было бы делать. Но это укор не только ему, но и дому. Невысказанные жили в членах семьи чувства патетические, к которым на самом деле, как к подземному ветру, втайне прислушивались все, но каждый сам за свой страх и скрывая от других. Бетховенский стук судьбы в окно остро чувствовался, и смертельным ужасом сжималось сердце каждого из членов, начиная от отца и кончая не только нами, детьми, но и собакою, делавшеюся членом семьи. И каждый понимал, что этот стук услышан другими, но старался своим видом уверить всех прочих, что он ничего не слышал. Исключительно

²⁶ «Надо дать ему стакан сладкой воды» (франц.).

²⁷ «Бедняга, он очень нервен» (франц.).

близкие между собою и в этой близости полагавшие цель жизни, члены семьи, именно ради этой близости, из деликатности и желания дать другим жизнь гармоничную, отделялись от близости и в самом важном, самом ответственном затаивались в себе. Я начал говорить о своем одиночестве, но, на разные лады, все были одинокими.

Глава 4

Занятия, учеба, школа

Карл Густав Юнг «Передо мной оказалась глухая стена»
Александр Звонкин Грустные размышления о школе
Святослав Рихтер «Школу я ненавижу»
Марина Цветаева «Музыкального рвения у меня не было»
Наталья Сац «Мне рано и горячо захотелось учиться»
Иегуди Менухин «Золотые дни. Скрипка-половинка. Семья»
Карл Роджерс «Вопросы, которые я бы себе задал, если бы был учителем»
Александр Нилл Воспитание свободой

Учить ребенка — не это ли становится главной заботой родителей после того, как малыш покинул колыбель? И сколько сил взрослых, да и самих детей направляется на эту задачу в последующие пятнадцать — двадцать лет!

В этом разделе собраны тексты, которые затрагивают разные вопросы вокруг учения, обучения и образования детей. Большинство из них написаны из позиции ученика — того, кто учился и кого учили. Но есть также несколько текстов профессиональных психологов и педагогов, которым удалось сделать заметный вклад в науку и практику обучения детей.

Каждый знает, что учение как освоение нового происходит двумя путями. Во-первых, ребенок (человек) **учится сам**; во-вторых — его учат или **обучают учителя** («учителя» в широком смысле). Эти формы учения, конечно, тесно переплетены, и, как правило, одна невозможна без другой. Тем не менее в жизни — домашней, личной, общественной — они часто разделены. Ребенку, а затем и взрослому **полагается** освоить определенный объем знаний, и он это делает «по заказу», под руководством учителя. Так возникли школы, программы, методики, оценки, экзамены и т. д. Одновременно, в той мере, в которой у ребенка или взрослого остается свободное время и вообще свобода от направленных воздействий, он имеет возможность учиться сам. И это происходит в играх, занятиях-увлечениях, самостоятельном чтении, общении, поисках ответов на возникшие вопросы.

Тексты, в которых описывается свободное самообучение детей, помещены в основном в первой главе этой книги. Здесь же мы обращаемся больше к воспоминаниям о **школе** в широком смысле (это может быть и детский сад, и домашний учитель, и даже вуз). Всем понятны важность и необходимость официального **направленного** обучения. Без него в наше время человеку трудно найти место в обществе. Тем не менее, с обязательным образованием до сих пор связано много острых психологических проблем, о которых рассказывают авторы воспоминаний. Среди них — нелюбовь к школе, конфликты с учителями и родителями, «лень», безразличие и отвращение к урокам, формализм требований, а порой и грубое непонимание со стороны учителя (*К. Юнг, С. Рихтер, М. Цветаева, А. Звонкин*).

С другой стороны существуют вдохновляющие позитивные примеры

разрешения этих проблем. Об этом можно прочесть в текстах выдающихся ученых-педагогов (*А. Нилла, К. Роджерса*), а также в воспоминаниях об увлекательных занятиях с родителем, или учителем (*И. Менухин, Н. Сац*). В таких занятиях через эмоциональное общение происходило не только усвоение знаний, но и особый, творческий контакт двух личностей — ребенка и взрослого. Кстати, последняя тема особенно сильно звучит также в текстах третьего раздела — о значимых близких взрослых.

Почти во всех текстах можно видеть, как не похож процесс учения, когда он основан на интересе, свободном выборе заниматься тем, что нравится, что ощущается как «свое», на школьное традиционное обучение. Часто он идет параллельно со школой и независимо от нее, порой в ущерб ей. Куда девается «лень», «безразличие», «дурной характер», капризы? Ребенок просит, требует, пристаёт, ходит по пятам, проявляет настойчивость и волю, не слушается советов пойти гулять, слишком утомляет себя, его не оторвать от книги, занятий. Но в итоге это оказывается истинным учением и нередко началом серьезного жизненного пути.

Карл Густав Юнг «Передо мной оказалась глухая стена»²⁸

Карл Густав Юнг (1875–1961) — известный швейцарский психолог и философ, основатель «аналитической психологии». Оказал большое влияние на культурологию, сравнительное религиоведение и мифологию.

Карл Юнг рос одиноким нелюдимым ребенком. По умственному развитию он опережал своих сверстников, многие часы проводил в библиотеке за чтением книг. Уже взрослым ученым он много размышлял над проблемами становления личности ребенка, в том числе вспоминая значимые события своего детства.

Мы помещаем небольшой отрывок из воспоминаний К. Юнга. В нем он рассказывает об остро пережитом эпизоде столкновения с учителем немецкого языка. Учитель позволил себе грубо оскорбить мальчика, незаслуженно обвинив его во лжи и мошенничестве.

По воспоминаниям Юнга, этот случай не только оставил надолго чувство горести, и отвратил от изучаемого предмета, но еще больше усилил чувство отчужденности, от которого и так страдал неординарный подросток.

Я ощущал свое вынужденное «отличие», и оно пугало меня (означая не что иное, как изоляцию) и приводило к очевидной несправедливости: меня делали козлом отпущения куда чаще, чем я мог это вынести. На уроках немецкого я выглядел весьма посредственно: ни грамматика, ни синтаксис совершенно меня не интересовали. Я скучал и ленился. Темы сочинений казались мне, как правило, пустыми и глупыми, а собственные работы — беспредметными и вымученными.

Оценки я получал средние, что вполне устраивало: я старался не выделяться, не подчеркивать свое проклятое «отличие». Меня тянуло к мальчикам из бедных семей, которые, как и я, вышли из ничтожества, но многие из них были тупыми и невежественными, а это уже раздражало. Притягивало же меня то, что эти одноклассники в своей простоте не замечали во мне ничего особенного. А я из-за своего «отличия» уже начал бояться сам себя: мне казалось, что есть во мне нечто такое, чего я сам в себе не знаю, из-за чего меня не любят учителя и избегают товарищи.

²⁸ Юнг К. Воспоминания, сновидения, размышления. М., АСТ-ЛТД, 1998.

Тогда же произошла история, которая меня доконала. Мы наконец получили тему для сочинения, которая показалась мне интересной. Я писал добросовестно и с увлечением и, как мне казалось, мог рассчитывать на успех — получить один из высших баллов, не самый высший, конечно, это бы меня выделило, но близкий к нему.

Наш учитель имел обыкновение начинать обсуждение сочинений с лучших. Сперва он прочел сочинение первого ученика, это было в порядке вещей. Затем последовали другие, а я все ждал и ждал, когда же прозвучит мое имя. Меня не называли. «Этого не может быть, — думал я, — неужели мое сочинение настолько плохое, ведь он уже перешел к откровенно слабым работам. В чем же дело?» Или я снова оказался «вне конкурса» и обнаружил свое проклятое «отличие»?

В конце концов, когда все сочинения были прочитаны, учитель сделал паузу и произнес: «У меня есть еще одно сочинение — Юнга. Оно намного превосходит другие, и я должен был бы отдать ему первое место. Но, к сожалению, это обман. Откуда ты списал его? Скажи начистоту!»

В ужасе и негодовании я вскочил с криком: «Я не списал ни единого слова! Я же потратил столько сил, я старался написать хорошее сочинение». Но учитель был неумолим: «Ты лжешь. Ты не мог написать такое сочинение. Это маловероятно. Итак — откуда ты его списал?»

Напрасно я клялся в невинности, учитель стоял на своем. «Значит, так, — сказал он, — если я найду, откуда ты его списал, тебя исключат из школы». И отвернулся. Мои одноклассники бросали на меня странные взгляды, и я с ужасом понял, что они думают: «Ах, вот оно что». И снова передо мной оказалась глухая стена.

Теперь на мне было клеймо — клеймо моего проклятого «отличия». Униженный и опозоренный, я клятвенно пообещал отомстить учителю, и, если бы такая возможность вдруг появилась, я рассчитался бы с ним по закону джунглей. Но как мог я доказать всему свету, что не списывал сочинение?

Я днями размышлял над этой историей и снова приходил к выводу, что ничего нельзя было поделать, что волею слепой и глупой судьбы я оказался лжецом и обманщиком. Теперь до меня стало доходить многое, чего я не понимал раньше, например, почему один из учителей сказал моему отцу, когда тот пришел поинтересоваться моей учебой: «Ну, он, конечно, средний ученик, но работает с похвальным усердием». То, что я числился в «недалеких» и «поверхностных», сказать по правде, меня не задевало. Меня убивало то, что они считали меня способным на ложь. Я уже не в силах был сдерживать горечь и негодование. И тут случилось то, что я замечал в себе и прежде: в сознании воцарилась внезапная тьма, будто захлопнулась глухая дверь, отгородив меня от всех.

Трудный опыт детства, а затем — и глубокие размышления ученого-психолога привели К. Юнга к безоговорочному выводу о том, что **воспитатели сами нуждаются в воспитании**. По его убеждению, «ни один человек из окончивших школу и даже университет не может считаться вполне воспитанным». Что касается непосредственно деятельности школ и учителей, то также хочется привести краткие и веские слова Юнга: «Часто в школе все сводится лишь к тому, чтобы методически вдалбливать в головы учеников учебный материал. Но в этом заключается самое большое только половина действительного значения школы. Другую половину составляет подлинное психическое воспитание, опосредствуемое личностью учителя». Но для этого учитель **«сам должен быть честным и нравственно здоровым человеком»**.

Александр Звонкин Грустные размышления о школе²⁹

²⁹ Звонкин А. К. Малыши и математика. Домашний кружок для дошкольников. М., 2006.

Звонкин Александр Калманович, московский математик, кандидат физико-математических наук, до 1989 г. сотрудник одного из исследовательских институтов нефтяной и газовой промышленности. В настоящее время профессор университета в г. Бордо (Франция).

В своей книге «Малыши и математика» А. К. Звонкин делится уникальным опытом ведения математического кружка с дошкольниками. Это своего рода дневник занятий, насыщенный интересными задачами, ценными наблюдениями и размышлениями автора о математике и детях.

В моей книге «Продолжаем общаться с ребенком. Так?» можно найти примеры, отражающие поиски и замечательные находки А. Звонкина как настоящего учителя с большой буквы, который сумел не только вызвать и поддерживать длительный интерес детей к занятиям, но и развить их способности самостоятельно мыслить, обсуждать вопросы, доказывать гипотезы. В результате его ученики-дошкольники смогли освоить некоторые темы, традиционно попадающие в программу средних классов школы, а то и вовсе выходящие за ее пределы.

В начале занятий «кружка» (март 1980) самому младшему их участнику Диме (сыну автора) было неполных четыре года. Занятия длились немногим более трех лет и закончились вскоре после поступления детей в школу. Публикуемый здесь отрывок из книги А. Звонкина относится к началу школы (осень 1983). В нем мы видим разительный контраст между результатами внимательного и вдумчивого обучения детей в кружке и официального школьного образования³⁰.

3 октября 1983 года. После первого месяца в школе.

Мне почему-то до самого последнего времени казалось, что на Диму школа не подействует так, как она действует на других ребят (страшно применять к нему слово «отупляюще», поэтому скажем так: «негативно»). Однако в последнее время я начинаю замечать у него некоторые сбои.

Так, недавно, он у меня спросил:

— Папа, а 4 недели — это сколько дней? Нужно к 228 четыре раза прибавить по 7 или четыре раза отнять?

Я так и не смог у него добиться, откуда он взял число 228.

В другой раз мы вместе шли из школы и вычисляли, может ли один учитель вести уроки физкультуры во всей школе. Он очень плохо понимал, что и зачем надо делать, не мог сосчитать количество уроков в неделе, не знал потом, следует делить на 2 или умножать (2 урока в неделю в классе) и т. п.

Вот и сегодня он тоже был не на высоте. И не в том дело, что он соображал медленнее, чем раньше, а в том, что его поток гипотез был менее интенсивен, чем обычно, и они были менее разнообразны.

Характерен в этом отношении рассказ Гали З. о своем сыне. В их учебнике (кажется,

³⁰ «Я хочу сделать здесь одно важное замечание. В дальнейшем тексте будет ещё много инвектив и филиппик в адрес школы. Я не хочу их убирать: именно так я тогда думал и так чувствовал. Однако несколько позже я приобрел собственный — совсем небольшой — опыт работы в школе. Я не хочу сказать, что моя точка зрения кардинально изменилась; но она очень сильно обогатилась большим количеством дополнительных нюансов и более ясного понимания школьных проблем. Проблемы эти столь трудны, что мне сегодня кажется почти чудом тот факт, что школа умудряется решать хотя бы даже небольшую их часть. При этом она в очень большой степени лишена моральной поддержки со стороны общества. От авторов вроде меня учителя не слышат в свой адрес ничего кроме критики. Увы.» (примеч. А. К. Звонкина).

второго класса) есть так называемые «задачи нестандартного содержания». В течение года ни одну из этих задач Лева решить не мог. Однако началось лето, и через две недели каникул он легко решил все задачи до единой: что-то его «отпустило».

Ноябрь 1983 года. Школа наводит ужас. [Записано в те дни, когда Дима сложил все нечетные числа сначала от 1 до 99, а потом от 1 до 999.³¹]

Так случилось, что в день занятия кружка (17 ноября) Дима поздно вернулся из школы, а погода была очень хорошая, и я после обеда выпустил его погулять. Поэтому уроки он стал делать после кружка, и контраст между его успехами на кружке и в школе оказался особенно ярким. Дело в том, что оценки первоклассникам начинают ставить только со второй четверти, т. е. с 10 ноября. За прошедшую неделю Дима получил четыре оценки по математике. Вот они в порядке поступления: 3, 2, 3, 2. Как раз в четверг, 17-го, Дима получил свою тетрадь домой: мы как родители двоечника должны были расписаться возле каждой оценки, чтобы показать, что мы с его успехами ознакомлены. В чем же дело? Я внимательно просмотрел его тетрадь. Исписано около трети. Прежде всего, хочется отметить, что в ней нет ни одной — подчеркиваю, ни одной — арифметической ошибки. Я был даже удивлен: я привык, что в счете он нередко ошибается. Наивысшая оценка — тройка — стоит за решение «примеров», т. е. за чистые вычисления типа: $9 - 4 = 3 = 2$. Здесь претензии только к почерку. Написал бы красиво — вполне мог бы получить 5. Остальные оценки — за задачи, и с ними дело хуже. Конечно же, все задачи решены правильно — этот факт я выношу за скобки (и, видимо, учительница его выносит за скобки тоже). Однако *запись* — вот в чем корень зла! Есть, конечно, замечания и по почерку, но не они главное. Замечания другого рода таковы (я смешиваю в одну кучу «ошибки» из разных задач): слово «задача» написано с маленькой буквы; после него не стоит точка; слово «ответ» тоже с маленькой буквы; в другом месте вместо «ответ» написано сокращенно «от.». После слова «ответ» следует ставить двоеточие; сначала Дима этого не заметил, потом после моего вопроса, заданного дома, специально в школе посмотрел; оказалось, двоеточие таки нужно. Но на следующий раз он поставил его не там — написал «Ответ 6: р.». (Какой смысл для него в этом знаке?) Тонким моментом является также употребление именованных величин (а они у них сейчас таковы во всех задачах). Допустим, нужно сложить 3 и 4 коровы. Тогда в так называемой краткой записи условия задачи нужно написать соответственно 3 к. и 4 к., например:

На лугу — 3 к.

На поле — 4 к.?

Затем, в момент выполнения действия, размерность исчезает: $3 + 4 = \dots$ Когда же получается результат, то размерность появляется снова — но на этот раз обязательно в скобках: $= 7$ (к.). (В принципе — вполне разумно, иначе слева стояли бы безразмерные величины, а справа — уже коровы. Но что понимают в этом первоклашки?) Наконец, в ответе это самое «к.» пишется опять без скобок. Дима поначалу не разобрался в этой системе и иногда писал лишние скобки где не надо, а иногда забывал поставить размерность вообще. Трудности вызывает также место для вопросительного знака. Если в задаче спрашивается, сколько штук чего-то у кого-то, то и знак вопроса ставится в той же строчке, например:

На поле —? — на 1 к. больше.

Если же требуется узнать суммарное количество, то к обоим строчкам ставится

³¹ Решение задач этого типа участники кружка обсуждали раньше. Например, для того, чтобы сложить все нечетные числа от 1 до 19, можно делать так: сложить $1 + 19$; $3 + 17$; $5 + 15$ и т. д. Каждый раз получаем 20. Остается понять, сколько таких 20-к мы получим? Очевидно, пять. Таким образом, в ответе получаем 100. Теперь у читателя есть возможность довольно просто найти сумму нечетных чисел от 1 до 99 и от 1 до 999, то есть проделать то, что сделал первоклассник Дима, в школе оказавшийся «двоешником» (примеч. Ю. Б. Гиппенрейтер).

квадратная скобка, и знак вопроса после нее — как в примере выше. В этом случае, кстати, сразу ясно, что задача — на сложение. Однако Дима этой условности тоже не уловил. Он не приписывал квадратной скобке никакого определенного смысла или понимал ее интуитивно как то, что «требуется что-то узнать». В результате он иногда навешивал эту скобку и на задачи на вычитание (это уже было не в школьной тетради, а в наших тренировках).

Одним словом, как читатель уже догадался, мы приступили к тренировкам. Алла задала Диме такую задачу: «У Светы было 8 ромашек; 3 она подарила другой девочке; сколько ромашек у нее осталось?». (Это после наших-то прогрессий!) Требовалось, конечно, не решить эту задачу, а правильно записать условие и решение.

Сначала все шло гладко: слово «Задача» он написал с большой буквы, и точку не забыл. Дальше возник спор; я считал, что следует писать: «У Светы — 8 р.», а Дима утверждал, что они всегда в таких случаях пишут «Света — 8 р.». Вопрос отнюдь не праздный — ведь и за гораздо меньшие отклонения от формы оценка снижается. Мне это показалось странным, но, в самом деле, предыдущие задачи были записаны именно так. Я отступил, хотя и не был твердо уверен в его правоте. Написав первую строчку, Дима надолго задумался, и тут я *впервые в жизни* услышал от него то, что, думал, не услышу вообще никогда:

— *Мы таких задач еще не решали.*

Что такое?!! Оказывается, непонятно, как записать вторую строчку условия.

Если написать Света —? — на 3 р. меньше, то это вроде бы противоречит первой строчке.

— Нужно обязательно, чтобы у кого-то другого было меньше, — объяснил нам Дима.

Внутренне схватившись кто за голову, кто за сердце, мы с Аллой стали менять условие: «...А у Гали на 3 ромашки меньше». Это, однако, не ликвидировало всех вопросов. Нужно ли писать тире *после* вопросительного знака или только перед ним? Следует ли писать «На 3 р. меньше.» с большой буквы? Я чувствовал себя совершенно беспомощным. А ведь одновременно нужно писать красиво, аккуратно, *письменными буквами* — в точности такими, каким их учат, но на бумаге в клетку, а не в линейку. Можно лишь удивляться, что за всеми этими проблемами Дима все же сумел правильно вычесть 3 из 8. Между прочим, считать их учат тоже не лишь бы как.

— Вот, например, нужно сложить 7 и 3, — рассказывает Дима. — Но если ты сложишь $7 + 3$, это будет неправильно. Нужно складывать так: $7 + 2 + 1$.

(Я в этот момент ему не поверил, стал спорить, но дальнейшие примеры убедили меня в том, что он говорил правду.) А если нужно сложить 6 и 4, то нужно складывать $6 + 2 + 2$. Вот, например, Ольга Ильинична спрашивает:

— Сколько получилось?

— 10.

— А как ты считал?

— $6 + 4$.

— Садись, неправильно. А ты как считал?

— $6 + 1 + 1 + 1 + 1$.

— Садись, неправильно! А ты? — $6 + 2 + 2$.

— Правильно!

— Ну, а ты как считаешь? — спросила Алла.

— Ну, я вообще-то считаю $6 + 4$, но когда у меня спрашивают, отвечаю, что считал $6 + 2 + 2$, — сказал Дима и сам засмеялся от того, какой он хитрец.

Видимо, методика обучения счету состоит в том, чтобы идти по натуральному ряду с шагом 1 или 2. Возможно, для тех детей, которые еще совсем не умеют считать, это и имеет какой-то смысл. Но это тупое чудовище (я имею в виду школу — учителя в этом не виноваты) заставляет всех повиноваться своим примитивным принципам. И некуда деться!

Святослав Рихтер «Школу я ненавидел»³²

Святослав Теофилович Рихтер (1915–1997) — выдающийся советский и российский пианист, культурный и общественный деятель, один из крупнейших музыкантов XX века.

Когда знакомишься с судьбой творческого человека, пытаешься понять, что в детстве способствовало его будущему успеху. Обстоятельства и причины оказываются очень разными.

Мы увидим, что в случае Святослава Рихтера это было счастливое сочетание нескольких вещей. Во-первых, *высокая музыкальная культура* в доме: отец был композитором, регентом хора, органистом, пианистом и музыкальным педагогом, к тому же фанатично увлекался Вагнером. Это создавало такую атмосферу вокруг маленького Славы, что, можно сказать, он «родился в музыку».

С другой стороны, и это, судя по всему, оказалось фактором столь же сильным, *его не принуждали к занятиям музыкой*. Мальчик просто тянулся к музыке сам. Мать защищала его желание не играть гаммы и этюды и позволяла ему заниматься так, как он хочет. Короче говоря, Славе предоставили *свободу*, а это — непереносимое условие пробуждения и развития творчества! Мы видели, что так же поступала и мать другого выдающегося музыканта — Сергея Прокофьева.

В Одессе мы жили в немецком квартале. Отец служил регентом церковного хора — он ведь еще и на органе играл — и одновременно вел в консерватории класс фортепиано.

Я читал запоем. В свои десять лет или около того я просто глотал книги. Матушка корила меня за нелюбовь к Толстому, и это чистая правда, его я не читал, но обожал Гоголя, которого начал читать совсем еще маленьким, и Диккенса тоже... Меня завораживал Метерлинк — конечно, «Пелеас и Мелисанда» и еще «Принцесса Мален».

Поэзия начала волновать меня позднее. Я попрежнему страстно люблю Расина, Рембо, Шекспира, Пушкина и Пастернака, но это та форма художественного выражения, которую моя голова не удерживает, что же касается прозы, то я храню в памяти все, что прочел.

Я всегда столько читал, что однажды (много лет спустя, уже в Москве, во время войны) органист и композитор Александр Гедике сказал кому-то: «Непременно скажите Р-рихтеру (он произносил «р» на немецкий лад), что читать на ходу на улице опасно!» Где-то в городе он столкнулся со мной, но я был так поглощен «Поэзией и правдой» Гете, что не поздоровался.

Девяти лет от роду я сочинил нечто вроде маленькой драмы под названием «Дора», пьесу из восьми действий и пятнадцати картин, с тринадцатью персонажами; мы представляли ее на одном из вечеров, которые устраивали иногда родители в нашей небольшой квартире. При случае задавались и костюмированные.

Эту традицию я продолжил у себя в Москве.

Все шло чудесно, и до одиннадцати лет у меня было счастливое детство. Но вот началась самая ужасная пора в моей жизни: школа! Школу я ненавижу, и даже сейчас при одном воспоминании о ней меня бьет дрожь. Все в ней меня отвращало, и прежде всего то, что она была обязательна. Все дети считались «бандитами», хотя школа была немецкая и у нее была превосходная репутация. Нашей классной дамой была строгая учительница фрау Петере. Наш страх перед ней усугублялся тем, что обычно она была очень спокойной и казалась мягкой и ровной. Но вдруг раздавался ее зычный, подобный иерихонской трубе

³² Монсенжон Б. Рихтер. Дневники. Диалоги. М., 2007. Пер. О. Пичугин.

воплъ: «Вон!».

Довольно недурная собой — было в ней что-то от Джоконды, — она даже благоволила ко мне, но однажды воскликнула, и на немецком языке это звучало ужасно: «Alle sind so faul, faul, alle! Aber der Richter, der stinkt von Faulheit!» (Все вы лодыри, лодыри все до единого! Но от Рихтера просто разит ленью!)

Я правда ничего не делал, был и остался ленивым. Есть у меня такой недостаток: я от природы лентяй.

Однажды я сделал вид, будто иду в школу, но не пошел, а отправился бродить по окрестностям Одессы. Эскапада длилась десять дней. Я пошел открывать мир, полагаясь лишь на себя, вовсе не потому, что мне что-то там пытались вбить в голову. Я несравненно больше узнал, прогуливая уроки, чем посещая их в немецкой школе.

Как бы то ни было, в пятнадцать-шестнадцать лет этому пришел конец. Я с великим трудом сдал экзамены. В математике я ничего не смыслил, к тому же был слишком поглощен музыкой, которую открыл для себя лет в восемь, когда начал пробовать силы в игре на фортепиано.

Отец был действительно замечательный пианист и, когда располагал свободным временем, два-три часа занимался по вечерам. Я, понятное дело, слушал. Впечатления от его игры, несомненно, оказали сильное влияние на меня. Но когда я сам сел за пианино, папа пришел в ужас. Я до сих пор слышу, как он кричит: «Просто невероятно, что выделяет этот малыш!»

На первых порах я занимался с ним, но скоро у него опустились руки, потому что я обходился с ним без особого почтения. Он был человек очень мягкий, молчаливый... Ходила к нему прелестная ученица, чешская арфистка, уехавшая впоследствии в Сан-Франциско, где стала первой арфисткой Оперы. Она дала мне несколько уроков, и я быстро усвоил то, что положено знать, чему учат детей в самом начале, все, чему мне было необходимо научиться, чтобы отдаться целиком единственному занятию, меня интересовавшему: разбору партитур. После этого я решил, что могу обходиться без ее уроков.

Папа, как истый немец, явно не был согласен с моей методой, вернее, с полным отсутствием какой бы то ни было методики. Мама же, напротив, не раз повторяла: «Оставь его в покое, пусть делает так, как хочет». Наверное, она была права. Где-то в уголке ее сознания шевелилась мысль, что мне надо предоставить свободу. «Если у него нет охоты играть гаммы, — говаривала она, — значит, ему нет нужды в них». Так что гамм я не играл. Ни разу, как, впрочем, и упражнений. Никогда и никаких. Черни тоже не играл.

Первой сыгранной мною пьесой был Первый ноктюрн Шопена, за ним последовал ми-минорный этюд опус 25 № 5. Потом я пытался разобрать сонаты Бетховена, в особенности сонату ре-минор. Спустя еще какое-то время, поскольку я часто слышал, как отец играл Вагнера — он был фанатичным вагнерианцем, в Вене все время просиживал в опере, слушая Вагнеровы сочинения, и пересказал мне сюжеты всех его опер, — я заинтересовался им и начал проигрывать сокращенные варианты для фортепиано «Тангейзера» и «Лоэнгрина». Можете вообразить, каково было мое исполнение! Но я играл все, что мне хотелось: Вагнера и Верди, Масканы и Пуччини.

В нашей квартире было три комнаты. Большая была разделена надвое громадным шкафом. По одну сторону находилась мамина комната, а по другую — столовая, но ели мы на кухне. В маленькой комнате стоял рояль, и там я спал. Порою я слишком увлекался и заявлял: «Сегодня вечером я проиграю всю оперу от начала до конца». Мама сердилась: «Нет-нет, уже поздно, тебе пора спать!».

Одновременно я сочинял музыку. Сначала мои сочинения записывал папа, но потом я начал делать это самостоятельно. То были небольшие, разумеется, чрезвычайно нескладные вещицы, все для фортепиано. Первым моим «серьезным» сочинением оказалась, как можно догадаться, опера по мотивам лермонтовской «Бэлы». Текста не было, только музыка. Позднее на свет появились соната-фантазия и фокстрот на еврейские мотивы (и то и

другое для фортепиано), а также опера-сказка «Ариана и Синяя Борода». Тем не менее, композитора из меня не получилось. А ведь что-то могло и выйти, ибо первые вещицы, написанные мной лет в одиннадцать-двенадцать, отличались заметным своеобразием. Но когда я стал постарше, началось подражательство, я принялся сочинять музыку в духе Франца Шрекера, потому что мне в руки попала его опера и совершенно околдовала меня. Ну да что там...

Самое важное заключалось в неодолимой силе, с которой меня притягивал театр. Отец обладал одним удивительным качеством, совершенно особенным даром: он бесподобно импровизировал на органе, и ему предложили место органиста в Одесской опере. Поскольку он работал там, меня пропускали к нему. До сих пор помню второе действие «Царской невесты», третье действие «Богемы». Театр завладел мною без остатка, мало-помалу я разучил все, «Аиду», «Риголетто»...

Именно это меня интересовало, а не фортепиано. По сути, я был воспитан на опере.

Летом 1931 года мы перебрались в Житомир. К тому времени мне уже исполнилось шестнадцать лет, и отец представил меня своим старинным приятельницам и поклонницам, восьмерым сестрам Семеновым. Они жили все вместе в чудном особняке с колоннами — казалось, вы переносились вдруг в тургеневский роман. Они были очаровательны, но немного смешны, оттого что держались как молоденькие девицы, а им было уже под семьдесят... Старые дамы, старомодно одетые. Все над ними подтрунивали, но это были замечательные женщины, каждая на свой лад, — настоящие чудачки!

Они устроили у себя что-то вроде домашнего концерта, где я играл на рояле концерт Шумана, исполняя одновременно и партию фортепиано, и партию оркестра. На другой день они прислали моим родителям букет цветов из своего сада, находившегося вблизи какого-то монастыря, на краю оврага. Очень красивый сад.

Так восемь сестер стали моей первой публикой — первой публикой, у которой я имел успех. Это событие решило, по существу, мое будущее. Именно тогда во мне возникло желание стать пианистом. Подумать только, сразу восемь восторженных поклонниц! До этого мне никогда в голову не приходила мысль стать профессиональным пианистом.

Правда, в четырнадцатилетнем возрасте я выступал пианистом-аккомпаниатором в одесском Дворце моряков. Там был кружок певцов-любителей, исполнявших под аккомпанемент фортепиано отрывки из опер. Мне было интересно, я проводил там много времени. Да и они обожали, как и положено любителям, свое занятие. Конечно, певцы были прескверные, с ужасными голосами, тем не менее, я приобретал некоторый опыт. Например, я сопровождал целое действие «Черевичек» Чайковского и «Пиковую даму».

В пятнадцать лет мне предложили выступать аккомпаниатором на небольших концертах в клубах. Я колесил по всему району, меня отправляли в тот или иной загородный клуб; известно было только его местонахождение — и это все. Приходилось разбирать ноты прямо на сцене, я никогда не знал заранее, чего ждать. Могло быть что угодно. Нужно было аккомпанировать певице, скрипачу, балетному номеру, цирковому — и всегда с ходу! Иногда представления устраивались на открытом воздухе, и однажды на пианино хлынул ливень. В другой раз я аккомпанировал скрипачу, исполнявшему «Хоровод эльфов» Баццини. Я сыграл несколько тактов, и тут началась какофония. То, что он исполнял, не имело ничего общего с тем, что я видел в нотах. Мне перевернули сразу две страницы! Мы начали заново, благополучно пропустили опасные страницы и... Новая катастрофа! Вырвана страница! А он похлопывает меня по плечу:

— Слушай, парень, тебе не надоело?

Я чувствовал себя опозоренным. Но виновата-то была партитура! Вся рваная, страниц не хватало... Такие концерты всегда давались без репетиций. Вышел на сцену — и играй.

Именно тогда, странствуя по клубам с концертами в свои пятнадцать лет, я начал зарабатывать немного денег. Иногда платили натурой, и так было даже лучше. Однажды, после концерта в каком-то клубе, меня одарили мешком картошки, которая пришлась весьма

кстати. Дело было сразу после коллективизации, время очень трудное, нужно было как-то жить... Но, в общем-то, это меня никак не затрагивало...

Мне хотелось работать, и, конечно, мама это одобряла, не из-за денег, а ради того, чтобы я мог выступать. Мне этого очень хотелось.

В восемнадцать лет, благодаря тому, что мы многих знали в Оперном театре — я ходил туда вместе с отцом, игравшим на органе, и постоянно торчал в оркестровой яме, — меня взяли, наконец, балетным аккомпаниатором. Главный дирижер Самуил Александрович Столерман был в высшей степени профессиональным и честным человеком, малосимпатичным, но... достойным уважения. Под его руководством я многому научился, ибо, поработав некоторое время аккомпаниатором балета, стал концертмейстером оперных хоров.

Столерман, благожелательно настроенный по отношению ко мне, даже обещал, что мне дадут поддирижировать. Какой соблазн для меня! Речь шла о «Раймонде» Глазунова, довольно сложном произведении. Кончилось тем, что дирижировал кто-то другой, кто-то, державшийся правильной линии и состоявший в партии. В этом балете есть вариация на двух страницах, где исполняется сольная партия фортепиано. Мне пришлось довольствоваться партией фортепиано.

Мне уже приходилось слышать Генриха Густавовича Нейгауза во время одного из его приездов в Одессу, и я просто влюбился в его манеру игры — он исполнял сонату «Hammerklavier» Бетховена — и в то, как он держался. Было что-то в его лице, очень напоминавшее моего отца, но черты гораздо мягче. Можно сказать, что у меня было, в сущности, три учителя: Нейгауз, папа и Вагнер.

В Москве жили друзья, согласившиеся приютить меня, — знак необыкновенного гостеприимства, когда знаешь, что, подобно большинству граждан, они жили в убогой коммунальной квартире. Едва я приехал в Москву, как эти друзья, Лобчинские (г-жа Лобчинская сама была его ученицей), привели меня в класс Нейгауза, чтобы он послушал меня. Я пустил в ход, среди прочего, главный мой козырь той поры, Четвертую балладу Шопена.

После прослушивания мы говорили о разном, в том числе о Вагнере. Судя по всему, я произвел на него благоприятное впечатление, потому что меня сразу же приняли в консерваторию без экзамена и конкурса, с тем, однако, условием, что я буду изучать все обязательные предметы. Занятия эти не имели ничего общего с музыкой, какая-то политико-философская, совершенно чуждая мне мешанина, но подлежавшая чрезвычайно строгим экзаменам. Мне не хватало духу посещать эти лекции, и в первый же год меня дважды исключали из консерватории. Я вернулся в Одессу с твердым намерением не появляться более в учебном заведении, которое меня не устраивало. Родителям я и словом не обмолвился о происшедшем. Но — о ужас! — они получили письмо от Нейгауза на мое имя. Профессор писал что-то вроде: «Ты — мой лучший ученик. Вернись!» Письмо было проникнуто таким сердечным теплом, что оно стало орудием моего спасения. В те годы Нейгауз был ректором консерватории. Конечно же он устроил так, что меня приняли без всяких формальностей, и он же теперь сгладил углы, возникшие из-за моего поведения.

Нейгауз стал мне как бы вторым отцом. Поразительно щедрая душа; мы были без ума от него. Никогда больше не встречал я человека, наделенного таким обаянием. Прелестный, легкий, чуть ли не беспечный, и тем не менее!..

Как и мой отец, он имел немецкие и польские корни, приходился двоюродным братом композитору Каролю Шимановскому. В юности дружил с Владимиром Горовицем и всю жизнь поддерживал очень близкие отношения с Артуром Рубинштейном. В начале века он учился не только в России, но и в Берлине, в Италии, где прожил много лет и которую обожал, а также в Вене, где был учеником великого пианиста Леопольда Годовского. Он обладал огромной литературной, философской и художественной культурой, бегло говорил по-русски, по-польски, по-немецки, по-французски и по-итальянски. Лингвистические познания такого рода были нередки в прежней России, но почти исчезли в стране,

отгородившейся от мира после большевистской революции. Несмотря на слишком маленькие руки, он был выдающимся пианистом, но, поскольку ему так и не дали разрешения на выезд, его знали за пределами страны лишь как педагога.

Рассказ Генриха Нейгауза о том, как Святослав Рихтер попал в его класс Московской консерватории

«Студенты попросили прослушать молодого человека из Одессы, который хотел бы поступить в консерваторию в мой класс.

— Он уже окончил музыкальную школу? — спросил я.

— Нет, он нигде не учился.

Признаюсь, ответ этот несколько озадачивал. Человек, не получивший музыкального образования, собирался в консерваторию!.. Интересно было посмотреть на смельчака.

И вот он пришел. Высокий, худощавый юноша, светловолосый, синеглазый, с живым, удивительно привлекательным лицом. Он сел за рояль, положил на клавиши большие, мягкие, нервные руки и заиграл.

Играл он очень сдержанно, я бы сказал, даже подчеркнуто просто и строго. Его исполнение сразу захватило меня каким-то удивительным проникновением в музыку. Я шепнул своей ученице: «Помоему, он гениальный музыкант». После Двадцать восьмой сонаты Бетховена юноша сыграл несколько своих сочинений, читал с листа. И всем присутствующим хотелось, чтобы он играл еще и еще... С этого дня Святослав Рихтер стал моим учеником».

Судя по всему, для Рихтера ощущение свободы было **очень важным условием жизни вообще**. Он был своевольным ребенком (а потом таким же взрослым) в высоком смысле этого слова: у него была **своя воля** — такая, которая позволяла идти наперекор мнениям, обстоятельствам и порядкам, если они его не устраивали. Мы видели, что гимназистом он стал прогуливать ненавистную школу, а еще раньше не захотел заниматься с отцом, позже отказался от общественно-политических предметов в консерватории и за этот отказ был готов заплатить дорогой ценой — отчислением из консерватории.

Что же он защищал всем этим? Делать то, что хотел, что ему было интересно и нужно, чем он был увлечен, что он чувствовал как свое призвание. Так проявлялась в нем вера в себя — в то, что он имеет право выбирать собственные пути и способен это делать. Здесь снова сказалась мудрость родителей, отпускавших его на самостоятельные поиски и «приключения».

Способность к самоопределению — это стержень зрелой личности. Человек, нашедший свой путь, — будь то ребенок, подросток или взрослый — трудится ярко и упорно. Известно, например, что уже зрелым пианистом С. Рихтер занимался по восемь — десять, а иногда и шестнадцать часов (!) в сутки. Если он не выполнял намеченную для себя программу, то возвращал себе «долг», добавляя часы, иногда ночью. Но тот же упорный труд-увлечение мы можем увидеть и в его детстве. Вспомним его слова: *«отдавался целиком разбору партитур»*, и это в восемь — десять лет, а ведь «партитурами» были целые оперы! Или: *«Театр завладел мною без остатка, мало-помалу я разучил все, „Аиду“, „Риголетто“...»*.

Как здесь не вспомнить слова А. Маслоу, что для творческих людей труд — это игра, а игра — это труд. И это потому, что они увлечены (зачарованы) делом!

Как нелепо на этом фоне звучат слова гимназической наставницы о подростке-Рихтере как о безнадежном лентяе! Но еще более комичны слова самого Рихтера: *«Я и правда ничего не делал, был и остался ленивым. Есть у меня такой недостаток: я от природы лентяй»*.

Перед нами психологическая загадка: как можно думать об увлеченном,

«захваченном» человеке как о лентяе?! Ну, можно еще простить гимназическую наставницу — у нее, можно сказать, по определению, профессиональные шоры на глазах. Но сам Рихтер — о себе (?!).

Однако, разгадка парадокса — в его же собственных словах и в его судьбе: *«Школу я ненавидел, и даже сейчас при одном воспоминании о ней меня бьет дрожь. Все в ней меня отверщало, и, прежде всего то, что она была обязательна»*. Вот в чем дело: **обязательные занятия** — вот где он был «лентяем»!

Мы сталкиваемся здесь с серьезной позицией «общества», школы, учителей и родителей. Она навязывается детям, а потом становится собственной оценкой для детей и взрослых. Позицию эту можно кратко выразить словами: ленивый — тот, кто не умеет работать по принуждению.

Еще раз повторим, С. Рихтер, как и некоторые подобные ему дети, помимо специальной одаренности, обладал еще одним даром: **чувством собственного пути**. Это особый, **личностный дар**, который пора понять, признать и всячески оберегать в детях! «Лень» таких одаренных детей — это сопротивление затягиванию их на чуждый путь. Чем одареннее ребенок, тем он «ленивее» в этом смысле. И тогда судьба его зависит от жесткости рамок, в которых он оказывается, а точнее — от соотношения прочности рамок и сил сопротивления (протеста) личности.

Подросток-Рихтер покидает немецкую гимназию с ее муштрой; отказывается от занятий с по-немецки методичным отцом — и тот почти в отчаянии опускает руки. А мудрая мать отпускает сына на свободу — «пусть делает, что хочет»; «значит ему это нужно». Так спасается талант!

Марина Цветаева «Музыкального рвения у меня не было»³³

В повести «Мать и музыка» М. Цветаева рассказывает о музыке в их доме и в ее собственной жизни. Из ее яркого рассказа мы узнаем много интересных подробностей, среди которых — неудачные попытки матери сделать из нее музыканта. Марина рано ощутила свое «рожденное» писательское призвание, но ее мать этого не видела или не хотела видеть. Будучи сама блестящей пианисткой, она мечтала о музыкальной карьере дочери и настаивала на серьезных занятиях. Поражает контраст: мать выдающегося композитора С. Прокофьева **не разрешала** сыну играть на рояле дольше двадцати минут в день, мать М. Цветаевой **требовала** от девочки играть в течение двух часов подряд утром и вечером!

У Марины были «все данные» — общая музыкальность, большая рука, упорство и послушание. Но все напрасно! «Честные» усилия девочки не приводили к успеху, ибо они были подчинены не ее воле, а требованиям матери. Занятия музыкой превращались в механическое отбивание за инструментом под ненавистный звук метронома.

Зато как оживал ребенок, погружаясь наперекор всем и всему, в любимую «стихию стихов»! Снова и снова убеждаешься, как необходимы таланту свобода самоопределения и как он добывает ее для себя!

Музыкального рвения — и пора об этом сказать — у меня не было. Виной, верней причиной, было излишнее усердие моей матери, требовавшей с меня не в меру моих сил и способностей, а всей сверхмерности и безвозрастности настоящего рожденного призвания. С

³³ Цветаева М.

Мать и музыка. СПб., 2001 (с сокращениями).

меня требовавшей — себя! С меня, уже писателя — меня, никогда не музыканта.

«Отсидишь свои два часа — и рада! Меня, когда мне было четыре года, от рояля не могли оттащить! «*Noch ein wenig!*»³⁴ Хотя бы ты раз, раз у меня этого попросила!»

Не попросила — никогда. Была честна, и никакая ее заведомая радость и похвала не могли меня заставить попросить того, что само не просилось с губ. (Мать меня музыкой — замучила.) Но и в игре была честна, играла без обману два своих положенных утренних часа, два вечерних (до музыкальной школы, то есть до шести лет!), и даже не часто оглядываясь на спасительный круг часов (которых я, впрочем, лет до десяти совершенно не понимала, — с тем же успехом могла бы оглядываться на «Смерть Цезаря» над нотной этажеркой), но как их глубокому зову — радуясь!

Играла без матери так же, как при матери, играла, несмотря на соблазны враждовавшей с матерью немки и сердобольной няньки («совсем дитя замучили!») и даже дворника, топившего печку в зале: «Пойди-ка, Мусенька, пробегись!» — и даже, иногда, самого отца, появлявшегося из кабинета, и, не без робости: «А как будто два часа уже прошли? Я тебя точно уж полных три слышу...».

Нет, несмотря ни на какие соблазны, соболезнования и зовы — играла. Играла твердокаменно.

Жара. Синева. Мушиная музыка и мука. Пот льет, пальцы красные — играю всем телом, всей своей немалой силой, всем весом, всем нажимом и, главное, всем своим отвращением к игре. Смотрю на кисть, которую в детстве матери нужно было держать на одной линии (напряжения!) с локтем и первым пальцевым суставом и так неподвижно, чтобы не расплескать поставленной на нее (оцените коварство!) севрской чашки с кипящим кофе или не скатить серебряного рубля, а ныне, в моем — держать в непрерывном движении свободы, в чередовании поклона и заброса, чтобы играющая рука, в совокупности локтя, кисти и концов пальцев, давала пьющего лебедя, и на обороте которой (кисти) голубые жилы, у меня, если нажать, дают явную букву Н — того Николая, за которого, по толкованию немки, я через двенадцать лет выйду замуж, — по французенке же: *Henri*. Все на воле: Андрюша с папой пошли купаться, мама с Асей «на пеньки», Валерия в Тарусу на почту, только кухарка одна стучит котлетным ножом — и я — по клавишам.

Или, осень: Андрюша строгаёт палку, Ася, высунув язык, рисует дома, мама читает «*Eckerhardt*», Валерия пишет письмо Вере Муромцевой, я одна — «играю». (Зачем??) «Нет, ты не любишь музыку! — сердилась мать (именно сердцем — сердилась!) в ответ на мой бесстыдно-откровенный блаженный, после двухчасового сидения, прыжок с табурета. — Нет, *ты* музыку — *не* любишь!»

Нет — любила. Музыку — любила. Я только не любила — свою. Для ребенка будущего нет, есть только сейчас (которое для него — всегда). А сейчас были гаммы, и ганоны, и ничтожные, оскорблявшие меня своей малюточностью «пъески». И моя будущая виртуозность была для меня совершенно тем мужем Николаем или *Henri*. Хорошо ей было, ей, которая на рояле могла все, ей, на клавиатуру сходявшей, как лебедь на воду, ей, на моей памяти в три урока научившейся на гитаре и игравшей на ней концертные вещи, ей, с нотного листа читавшей, как я с книжного, хорошо ей было «любить музыку».

Мать — залила нас музыкой. (Из этой Музыки, обернувшейся Лирикой, мы уже никогда не выплыли — на свет дня!) Мать затопила нас как наводнение. Ее дети, как те бараки нищих на берегу всех великих рек, отродясь были обречены. Мать залила нас всей горечью своего несбывшегося призвания, своей несбывшейся жизни, музыкой залила нас, как кровью, кровью второго рождения. Могу сказать, что я родилась не *ins Leben*, а *in die Musik hinein*³⁵. Все лучшее, что можно было слышать, я отродясь слышала (будущее

³⁴ «Ну, еще немножко!» (нем.).

³⁵ Не в жизнь, а в музыку (нем.).

включая!). Каково же было, после невыносимого волшебства тех ежевечерних ручьев (тех самых ундинных, лесноцаревых, «жемчужны струи»), слышать свое честное, унылое, из кожи вон лезущее, под собственный счет и щелк метронома «игранье»? И как я могла не чувствовать к нему отвращения? Рожденный музыкант бы переборол. Но я не родилась музыкантом. (Помню, кстати, что одна из ее самых любимых русских книг была «Слепой музыкант», которым она меня постоянно попрекала, как и трехлетним Моцартом, и четырехлетней собой, а позже — Мусей Потаповой, которая меня обскакивала, и кем еще не, и кем только не!..)

Щелк метронома. Есть в моей жизни несколько незыблемых радостей: не идти в гимназию, проснуться не в Москве 19-го года и не слышать метронома. Как это музыкальные уши его переносят? (Или музыкальные уши другое, чем музыкальные души?) Метроном я, до четырех лет, даже любила, почти так же, как часы с кукушкой, и за то же: за то, что в нем тоже кто-то живет, причем кто — неизвестно, потому что я его, в доме, обновила. Это был дом, в котором я сама хотела жить. (Дети всегда хотят в чем-нибудь немислимом жить, — так мой сын, шести лет, мечтал жить в уличном фонаре: светло, тепло, высоко, все видно: «А если в твой дом бросят камнем?» — «Тогда я в них буду бросаться огнем!») Но как только я под его методический щелк подпала, я его стала ненавидеть и бояться до сердцебиения, до обмирания, до похолодания, как и сейчас боюсь по ночам будильника, всякого равномерного, в ночи, звука... За ужасом звука я даже забывала ужас вида: стальная палка, вылезаящая, как палец, и с маниакальной тупостью качающаяся за живой спиной.

О, я никогда не отставала от метронома! Он меня держал — не только в такте, но физически приковывал к табурету. Открытый метроном был лучшей гарантией, что я не оглянусь на часы. Но мать, к счастью, иногда забывала, и никакая моя — ее! — протестантская честность не могла заставить меня напоминанием обречь себя на эту муку. Если я когда-нибудь кого-нибудь хотела убить — так метроном. И не перестал еще идти из глаз моих тот взгляд сладострастной мести, которым я, отыграв и с самым непринужденным видом проходя мимо этажерки, его, через все высокомерие плеча, дарила: «Я — иду, а ты — стоишь!»

Но мимо этажерки я не только проходила, я у нее подолгу стояла. Этажерка была та же библиотека... Нотная этажерка делилась на «мамино» и «Лерино». Мамино: Бетховен, Шуман... и Лерино — Нувеллист. Нувеллист+Романсы (через французское an). И я, конечно, предпочитала «ансы». Во-первых, в них вдвое больше слов, чем нот (на одну нотную строчку — две буквенные), во-вторых, я всю Лерину библиотеку могу прочесть подстрочно, минуя ноты... Романсы были те же книги, только с нотами. Под видом нот — книги. Только жаль, что такие короткие. Распахнешь — и конец.

Всю эту Лерину полку я с полным упоением и совершенно всухую целый день повторяла наизусть, даже иногда, забывшись, при матери. «Что это ты опять говоришь? Повтори-ка, повтори!» — «В сердце радость и гроза». — «Что это значит?» Я, уже тихо: «Что в сердце радость и гроза». — «Что? Что?» — мать, наступая. Я, уже совсем тихо (но твердо): «Гроза — и радость». — «Какая гроза? Что значит — гроза?» — «Потому что ей страшно». — «Кому ей?» — «Которая подошла к старушке, потому что старушка — страшная. Нет, это старушка — подошла». — «Какая старушка? Ты с ума сошла!» — «Из Лериной песни. Одна барышня обдирает маргаритку и вдруг видит: старушка — с палкой... Это называется «Ворожея» (ударяю на предпоследнем слоге). Мать, так же: «А что значит Ворожея?» — «Я не знаю». Мать, торжествующе: «А, вот, видишь, не знаешь, а говоришь! Я тебе тысячу раз говорила, чтобы ты не смела читать Лериных нот. Не могу же я, наконец, от нее и этажерку записать на ключ!» — мать, торопливо проходящему с портфелем в переднюю, внимательно-непонимающему отцу. Пользуясь отводом, скрываюсь в недостижимость лестницы, но уже с половины ее: «На устах ее улыбка, в сердце радость и

гроза... Та-та, та-та, та-та, та-та... Он глядит в ее глаза...»

Так, из-под самого метронома, из-под самого его, полированного, носа лились на меня потоки самой бестактной лирики. А иногда я, застигнутая, просто — врала. (До четырех лет я, по свидетельству матери, говорила только правду, потом, очевидно, спохватилась...) «Что ты опять тут делаешь?» — «Я смотрю на метроном». — «Что значит „смотрю на метроном“?» Я, с противоестественным восторгом: «Он такой красивый! (Пауза и, ничего не найдя): желтый!» Мать, уже смягченная: «На метроном нужно не смотреть, а слушать». Я, уже на верху спасательной лестницы, разрываясь между желанием и ужасом быть услышанной, громким, но шепотом: «Мама, а я в Лериных нотах рылась! А метроном — урод!»

...После смерти матери я перестала играть. Не перестала, а постепенно свела на нет. Приходили еще учительницы. Но те вещи, которые я при ней играла, остались последними. Дальше при ней достигнутого я не пошла. Старалась-то я при ней из страха и для ее радости. Радовать своей игрой мне уже было некого — всем было все равно, верней: только ей одной мое нестарание было бы страданием — а страх, страх исчез от сознания, что ей оттуда (меня всю) видней... что она мне меня — такую, как я есть — простит?

Учительницы моих многочисленных школ, сначала ахавшие, вскоре ахать перестали, а потом уж и по-другому ахали. Я же молчаливо и упорно сводила свою музыку на нет. Так море, уходя, оставляет ямы, сначала глубокие, потом мелеющие, потом чуть влажные. Эти музыкальные ямы — следы материнских морей — во мне навсегда остались.

Жила бы мать дальше — я бы, наверное, кончила консерваторию и вышла бы неплохим пианистом — ибо данные были. Но было другое: заданное, с музыкой несравненное и возвращающее ее на ее настоящее во мне место: общей музыкальности и «недюжинных» (как мало!) способностей.

Есть силы, которых не может даже в таком ребенке осилить даже такая мать.

Мы видим, что от музыки Марину отталкивало принуждение заниматься «не своим». Но музыку она любила. Она любила *музыку матери*. «Мать — залила нас музыкой. (Из этой Музыки, обернувшейся Лирикой, мы уже никогда не выплыли...!)»

Музыка матери была для ее детей, конечно, бесценным даром. В часы своей вдохновенной игры она, свободная от всяких мыслей о воспитании и обучении, погружала детей в мир возвышенных чувств и образов.

И здесь — еще один урок, который преподает нам М. Цветаева, а точнее, обе они, мать и дочь, — нам, родителям, подчас замороженным проблемами воспитания и желающим как можно раньше и как можно больше «дать», «привить», «научить», «сформировать». Будем помнить о том, что ребенок по-настоящему растет и развивается рядом со взрослым в те минуты, когда тот сам увлечен и живет полной жизнью!

Наталия Сац «Мне рано и горячо захотелось учиться»³⁶

Наталия Ильинична Сац, (1903–1993), российский режиссер, театральный деятель. Создатель первого государственного драматического и первого музыкального театра для детей. Народная артистка СССР (1975), лауреат Ленинской и Государственной премий. Родилась в семье композитора И. А. Саца, работавшего в Московском Художественном

³⁶ Сац Н. Новеллы моей жизни. М., Эксмо-пресс. 2001.

театре (автора музыки к *Синей птице* М. Метерлинка и другим спектаклям театра).

На страницах своих воспоминаний Наталия Сац живо описывает обстановку родительского дома: бедный быт, но зато — душевная теплота, забота и внимание к детям. Талантливый отец щедро делился своим увлечением музыкой и театром. Обращают на себя внимание слова Наташи: «Мы самые счастливые!» И это — на фоне, когда в доме подчас не хватало еды, дров, чтобы согреться. Зато была радость общения и увлекательные занятия всей семьей вместе!

У девочки рано появилась мечта учиться музыке. Замечательна ее активность, настойчивость и упорство в осуществлении этой мечты — так знакомые нам черты других увлеченных детей. Она «выспрашивает» музыкальные задания у отца, настаивает на приеме в музыкальную школу, тренирует волю в занятиях. История маленькой Наташи Сац заставляет задуматься нас, родителей, когда мы стараемся делать «все», чтобы ребенок «только бы» учился. То ли мы делаем? И правильно ли понимаем его путь к «наукам»?

У нас, на Пресне

Детство — это Москва, одноэтажный домик в переулке за зоологическим садом, на Пресне. Детство — это мама, младшая сестра Ниночка, папа, музыка и театр.

Да, театр.

Мысли о нем, как белые хлопья одуванчика под ветром, носятся в моей едва осознавшей свое собственное существование голове — настойчиво и часто.

Меня в этот театр еще не водили. Там для взрослых: «Драма жизни», «У жизни в лапах». Я люблю непонятные слова и знаю: театр — это самое главное. Когда мама говорит: «Наш папа пошел в театр», ее голос звучит торжественно, хотя папа туда ходит почти каждый день: он — композитор Московского Художественного театра.

Музыку к спектаклям этого театра наш папа пишет по ночам, когда нас с Ниной укладывают спать и в доме становится совсем тихо.

Но мы не спим: притворяемся. Наш папа звучит так интересно! Его музыка нам про театр рассказывает. Вот из его комнаты несутся аккорды, его голос, снова аккорды. Папа говорит за артистов, пианино плачет, стонет...

А вот папин голос стал громким, страшным, музыка колючая, чужая, упрямая... Про кого она?

Утром папа сказал: про Анатэму. Он вроде черта. Зубы вперед, чтобы всех проглотить...

Папина музыка к «Гамлету» — самая моя любимая. Только фанфар я боялась больше, чем Нина Анатэму. Мне никогда не говорили, о чем эта музыка, но, когда я ее слушала, похоронная процессия почему-то всегда ползла в воображении...

Помню ясно, как некоторое время папа не позволял нам ходить в его комнату, сделал там какие-то приспособления, подвесил колокол и однажды ночью, когда дул сильный ветер, открыл настежь окно (хотя была поздняя осень), играл то на рояле, то на фисгармонии, окно стучало ставнями, колокол звонил, а потом к папе в одной рубашке вбежала мама, закричала: «Сумасшедший, простудишься», прибежала кухарка от Плевако: «Что случилось?» — и папа после долго ходил с завязанным горлом, но был очень доволен.

— Нашел, что мы с Крэгом искали. Спленидид!³⁷.

Когда Зверевы «звереют»

³⁷ Блестяще! (англ.).

На вывеске самого большого магазина у нас на Пресне написано «Братья Зверевы». Там все продается. Но где взять деньги? Они у нас далеко не всегда есть. Наш папа получает деньги, только когда напишет хорошую музыку.

— Жалованья у нас нет, — говорит мама.

Таким, как мы, Зверевы дают продукты в долг, это называется «на книжку». Только у братьев Зверевых короткое терпение. Оно кончается каждый раз, как мы перебираем за сорок рублей. Мама становится мрачной: «Зверевы больше... «на книжку» не дают», — а папа пытается шутить: «Когда наши долги доходят до сорока рублей, Зверевы «звереют», а мы знаем, что паузы в музыке приятнее, чем паузы в желудке».

Мы с Ниной даже рады: не будет супа, значит, не будут заставлять его есть и кашу тоже, дадут что придется — это интересней.

Но, оказывается, потухнут все наши лампы — они не могут гореть без керосина, а керосин тоже зависит от всесильных братьев...

Самое плохое, когда «кончились дрова». Зима. В комнате холодно, как на улице. Утром нас с Ниной быстро одевают под одеялом, а потом заворачивают обоих вместе в оба одеяла, «чтобы было теплее». У мамы грустное лицо, но она шутит:

— Сидите тихо, мои сиамские близнецы, не слезайте с кровати, пока ваш папа не «найдет денег».

Единственное развлечение — фантазировать, где и как «ищет деньги» наш папа, а еще — дышать и смотреть, как застывает пар в холодном воздухе.

И вдруг, когда уже стемнело, за окном раздается стук в ритме польки из «Жизни Человека», смех, похожий на лошадиное ржанье, папин голос: «Анночка, сюда, ко мне». Это наш удивительный папа нашел где-то большую вязанку дров, уложил их на салазки и прикатил на себе. Вот уже мама затапливает печку, а папа на столе, на подоконниках — везде, везде налепляет разноцветные свечки, он их взял у Сулержицких, остались от прошлогодней елки. Огненные язычки болтают так весело!

В карманах у папы две бутылки кваса — шипучего, клюквенного, а в руках большущая коробка с розовыми бантами, золотой подковой и бархатными фиалками. Внутри шоколадные конфеты! Пока мама готовит обед, я шестнадцать конфет съесть успела (у Нины живот заболел раньше).

Помню мамины большущие глаза при виде разнаряженной коробки на продырявленном стуле: «Откуда это?» Папа хохочет и не просто рассказывает, а представляет нам, как он, запряженный в санки, с разлохматившимися усами и бровями, трусил к воротам нашего дома, и вдруг перед ним предстал гладко выбритый статный лакей в белых перчатках; лакей прищурился и слегка улыбнулся, передавая в папины красные от мороза руки конфеты и записку: «Жду «Пастушескую песню», привет жене и девочкам. *Надежда Плевицкая*».

Мама говорит насмешливо:

— Лакей этот, наверное, подумал: «Моя должность куда приличней, а музыкант — что уличный шарманщик, что знаменитый композитор — просто голытьба».

— Мы с Ниной Плевицкую видели. Она летом на рысаке к папе приезжала. «Из-за острова на стрежень» пела. К папиному окну весь наш переулок сбежался...

И снова у нас весело, горячая мамина еда даже вкуснее шоколада.

А потом начинается самое главное. Папа говорит:

— Сюрприз. За то, что наши девочки не хныкалки какие-нибудь, а хорошие товарищи, я написал для них оперу. За мной!

Мама, Нина и я выскакиваем из-за стола и бежим вслед за папой к пианино. Опера называется «Сказка о золотом яичке». Папа играет аккомпанемент и поет за деда, мама — за бабу, я — курочка (жили себе дед да баба, была у них курочка-ряба). Нина будет мышкой.

— Наташа, докажи, что ты у нас музыкальная: у курочки трудные интервалы.

Ничуть не трудные. Пою точно, с восторгом. Куд-куда с неожиданной нотой кверху в моем исполнении, по мнению мамы, очень напоминает соседскую курицу — высший комплимент!

Но елочные свечки Сулержицких стали совсем маленькими. Спать. Сладко спать, чтобы скорее было завтра. Папа обещал целое утро с нами репетировать «Сказку о золотом яичке». Я уже придумываю, как наклею на свой фартук «с крылышками» кружочки из коричневой бумаги — стану «курочка-ряба». Курятник сделаю себе за папиным диваном и появлюсь из-за него только на свою музыку — она вся во мне звучит.

Мы — самые счастливые!

Разная музыка, разные люди

Бывает и так: папа долго не может найти денег, а долго сидеть в одеяле без супа дети не могут. Тогда нас отправляют «на время» к какой-нибудь родственнице, чаще всего к тете Оле.

— По крайней мере, будете хорошо питаться, вовремя ложиться спать, — со вздохом говорит мама.

Да, в этой семье все «вовремя», совсем по-другому, чем у нас.

Дядя Саша (муж тети Оли) встает в будни рано утром, всегда в одно время, бреется, надевает мундир, делается прямой, как жердь, голову вскидывает высоко (ее воротничок стоячий под самый подбородок подпирает).

— Он в чинах, — важно говорит тетя Оля.

Зато, когда дядя Саша приходит домой, надевает халат и шлепанцы, он сразу делается как чехол от самого себя. Полулежит в кресле, молчит и курит. Один раз я его спросила:

— Дядя Саша, расскажи, что у тебя было сегодня нового на службе?

Он ничего не ответил, удивленно поднял бровь, а тетя Оля закричала:

— Невоспитанная девчонка! Какое ты имеешь право задавать вопросы старшим?

Но папа нам всегда рассказывает про свой театр! Наверное, дядя Саша не любит эту службу, а папа о своей работе думает всегда.

Помню, как-то мы приехали с папой весной в деревню, шли лугом по опушке леса. Еще светло-зелеными были листья на деревьях, первая трава под ногами. Словно радуясь и удивляясь вновь пришедшей весне, где-то высоко щебетали птицы. Отец учил нас слушать музыку жизни.

— Только что мы были с вами, девочки, на птичьем дворе, а здесь — лесные птицы. Как не похожи их звуки и ритмы, как разнообразна музыка жизни.

— А иногда все молчит, — говорит Нина.

— Паузы бывают в жизни, как и в музыке, — точно взрослой, отвечает ей папа и добавляет: — Но и молчание звучит по-разному.

Верно. Когда молчат сердито, это совсем другое, чем когда молчат ласково.

Растем

Выдумывать новые игры, сказки было в нашем доме так же естественно, как дышать. Главный «выдумщик» был папа — он зажигал веру в свои силы и у нас с Ниной.

Как-то мы с ней сочинили для папы «баюкательную песню» (Нина — слова, я — музыку). Ночью папа работал, днем иногда ложился на наш единственный диван, но не мог уснуть — наша песня должна была ему помочь спать, как нам помогали мамины колыбельные.

Но, кроме «выдумывания», мне рано и горячо захотелось учиться. Взрослые много знали, но всегда куда-то спешили. Зацепить их внимание, хоть ненадолго, выпросить «свое», а потом, ухватившись за нитку узанного, самой распутать клубок нового — это ли

не самое интересное?! Лет пяти принесла родителям свою первую «нотную баюкательную». Печатные буквы и хвостовые ноты были «нарисованы» на листе криво разлинованной оберточной бумаги.

Долго и упорно перед этим «выспрашивала свое» у старших, но что-то сообразила и сама. Родители сжалились, и папа объявил меня своей ученицей. Высшая награда! Теперь не успевал папа утром открыть глаза, как я уже была около его дивана и, пока он умывался, одевался, ел, жадно глотала его задания — простучать ритм одной песни, подобрать мотив другой, записать ноты третьей. Скоро эти полуигры переросли в занятия теорией музыки и сольфеджио. Когда после завтрака отец шел куда-нибудь по делу, я увязывалась его провожать, и он давал мне задачи по устному счету: какое число к какому прибавить, из того, что получится, что вычесть, на сколько разделить — и все в голове. Ответ один, когда дойдем до места. Позже, в гимназии на уроках арифметики, по устному счету соперниц не имела, а когда стала директором (это на меня рано навалилось), обсчитывать меня никому не удавалось.

Папа говорил: где-то музыка и арифметика — родные сестры, а в чем-то они очень разные.

Девчонка я была молчаливая, большеглазая и озорная. Как-то папу спросил его старый знакомый:

— Говорят, Илья, ты женат, две девочки у тебя?

Отец ответил:

— Младшая, точно, девочка, а старшая — без пяти минут мальчик.

Скакать по крышам чердаков и сараев, играть в казаки-разбойники с дворовыми ребятами — плохо ли?! Мерила силой с самим Аркадием. Он на два года меня старше, курносый, ловкий, но атаманом ребята чаще выбирали меня.

Однажды этот Аркадий меня побил. Не особенно больно, но самолюбие было задето. Побежала домой, пожаловалась папе и, когда папа взял меня за руку и вместе со мной отправился на квартиру, где жил Аркадий, заранее вкушала «радость победителя». Узнав, что пришла Наташа со своим папой, Аркадий струхнул не на шутку и как-то боком вышел из комнаты в переднюю, где мы стояли. Папа поздоровался с ним вежливо, а потом сказал:

— Вот, Аркадий, серебряная монета, десять копеек. Я буду давать тебе каждый раз столько же, когда ты будешь бить Наташу; буду давать до тех пор, пока она не научится сама за себя заступаться.

Папа протянул Аркадию гривенник, Аркадий ничего не понял, отдернул руку, монета упала и исчезла в щели пола. Аркадий заревел, а у меня от удивления слезы высохли. Мы вышли из чужой квартиры и долго молчали. Только перед сном папа меня обнял и сказал:

— Не годится тебе, моя ученица, жаловаться! В жизни будет много трудностей. Учись их преодолевать, а не хныкать. Учись бороться и побеждать.

«Бороться и побеждать»

Очень рано слово «воля» стало моим любимым.

— Воспитывай волю, — часто повторял отец.

К шести годам воля моя стала довольно настойчивой. Неотступно я повторяла:

— Хочу учиться играть на рояле, хочу сама делать музыку.

Но тут отец неожиданно сказал мне:

— Нет. Руку должен ставить специалист, а мой инструмент — виолончель. Позже отдадим тебя в музыкальную школу.

Почему позже? К счастью, право «сметь свое суждение иметь» было предоставлено нам чуть не от рождения.

Как-то мы с Ниной попросили папу «объяснить» нам вальс, который он написал для

будущего спектакля «Miserere», — мы его сегодня ночью слышали. Папа объяснил: этот вальс танцует юноша Левка с красавицей Тиной на свадьбе Левки... с Зинкой. Левка говорит: «Я люблю Тину, а должен жениться на Зинке», и в последний раз он танцует с той, которую очень любит и которая никогда не будет его женой.

Папа играет по нашей просьбе музыку: вальс и грустный, и «словно со всеми спорит», — говорю я.

— Да, это протест, — отвечает папа.

— А в середине этого вальса, кажется, кто-то всхлипывает. Верно, папа?

Папа отвечает серьезно:

— Да. Понимаете, они танцуют молча, а в сердце у них слезы.

Значит, музыка — сердце. Это запомнила навсегда. Папа добавляет:

— А в конце музыки — вы заметили? — никаких всхлипов. Ведь он, этот Левка, ничего не может изменить — подчиняется.

Зачем? А я бы не стала подчиняться, раз несправедливо.

Моя настойчивость, мое «хочу учиться играть на рояле» росло. Однажды по Б. Никитской улице к двухэтажному белому дому с вывеской «Музыкальный институт Е. Н. Визлер» зашагала девочка в шубе и капоре, в правой руке папина рука, в левой — мамина.

На экзамен привели много детей. Все старше меня. Я стараюсь держаться солидно, лет на восемь. Все время молчу. Родителей оставляют в передней, нас ведут в класс. Проверяют слух, ритм — все отвечаю верно. Моим родителям объясняют:

— Слух хороший, но пальцы слабые, лучше год подождать.

Раздается оглушительный рев. Многие смеются. Маленькая девочка ревет низким, почти мужским голосом и повторяет:

— Это несправедливо, я все ответила.

Напрасно учительница просит меня замолчать. Может быть, Левка в «Miserere» согласен мириться с несправедливостью, а я ни в коем случае.

На пороге появляется директриса Музыкального института Евгения Николаевна Визлер, в синем платье с белыми кружевами, полная, важная.

Ору еще громче. Она уводит меня вместе с родителями в свой кабинет. Папа просит Евгению Николаевну еще раз меня проэкзаменовать.

В кабинете знаменитые музыканты, профессора: Е. В. Богословский и Марк Мейчик. Меня экзаменуют все трое. Слезы высыхают моментально, отвечаю на все вопросы точно — угадываю ноты, подбираю, пою.

— У нее низкое контральто, — с удовольствием говорит Евгения Николаевна, — она мне очень пригодится в хоре.

— А рояль? — спрашиваю я угрожающе.

Марк Мейчик заливается хохотом, а папа стискивает мне руку в знак того, что я чересчур осмелела.

— Мы примем вашу Наташу на испытательный срок и по фортепьяно, а на хор пусть она обязательно ходит в основную группу.

Счастливая, иду с родителями по улице домой.

— Высечь тебя мало, — весело говорит мама. — Взяла всех на горло.

— У меня контральто, — важно отвечаю я, и мы все смеемся...

Воля! Папа учил меня ее воспитывать, закалять, отличать большое устремление к цели «я хочу» от капризного, недодуманного «мне хочется».

Началось со съестного: дадут шоколад «Галапетер» и скучную кашу. Съесть только ее. Шоколад будет несколько дней меня ждать, хотя я его куда больше, чем кашу, хочу съесть сейчас.

Зимой хочется поспать. А воля?

Реши проснуться в шесть утра и проснись даже без часов точно, оденься тихо, выйди во двор.

То, что папа задаст по сольфеджио, трудно? Сделай больше заданного — и станет

легче. Сперва всякие такие задачи мне задавал папа, а потом полюбила задавать их себе сама. Когда сама — еще интересней. Воля эта ведь моя. Сама решила, сама хочу, а без сильного «хочу» всякие Аркадии будут меня лупить. Не согласна!..

Иегуди Менухин «Золотые дни. Скрипка-половинка. Семья»³⁸

Иегуди Менухин (1916–1999) — знаменитый музыкант, один из выдающихся скрипачей XX века. Родился в Соединенных Штатах в семье раввина, выходца из Белоруссии. Первый сольный концерт с симфоническим оркестром Сан-Франциско дал в 7-летнем возрасте. С концертной деятельностью объездил весь мир. Долго жил в Англии. Был возведен английской королевой Елизаветой II в достоинство рыцаря, затем лорда. Основатель знаменитых международных фестивалей, посол доброй воли ЮНЕСКО. Доказывал, что музыка — универсальный язык народов разных стран и культур.

Отрывки из воспоминания И. Менухина о его детстве можно было бы поместить в любую главу этой хрестоматии. В них есть все, что вошло в содержание других глав: и особенности восприятия мира глазами маленького ребенка с его зачарованностью увиденным, а главное — услышанным (от звуков «заходило сердце»); и раннее чувство своего предназначения с настойчивым стремлением играть на скрипке; и горячая поддержка близких, в первую очередь, родителей. Тем не менее, этот текст мне показался особенно ценным для настоящей главы, потому что в нем можно увидеть, как происходило **образование** этого выдающегося музыканта в детские годы. Причем «образование» в двояком смысле: и как становление его таланта, и как процесс учения, то есть приобретение знаний, опыта, умений в общении со взрослыми. Кто были его учителя? Как и чему они его учили? Как он учился сам? Какой эмоциональной атмосферой были окружены эти занятия? Какую роль играли в его судьбе родители? Все эти вопросы универсальны и волнуют каждого взрослого, озабоченного воспитанием и образованием детей. И хотя ответы на них очень индивидуальны и зависят от обстоятельств жизни семьи, психологической компетентности учителей, особенностей ребенка, характера и системы ценностей родителей, тем не менее есть некоторые базисные условия успешного обучения и подлинного образования ребенка. На примере описания поры детства и ученичества Иегуди Менухина мы имеем возможность познакомиться с некоторыми из этих условий.

И еще, за пределами моей сознательной памяти, была музыка. В 1918 году, когда мне было два года, родители пронесли меня на дневной концерт Сан-Францисского симфонического оркестра и после этого, поскольку все сошло благополучно, регулярно продолжали такую контрабанду, до тех пор пока я не вырос и на меня уже требовался отдельный билет. В последующие годы Имма рассказывала, что они с Абой³⁹ взяли меня с собой на концерт, так как не было денег, чтобы пригласить кого-то посидеть с ребенком...

Самого первого концерта, на который меня взяли, я не помню, но повторяющиеся впечатления сохранились в памяти. С галереи, сидя у Иммы на коленях, я смотрю вниз, как с обрыва, словно в подзорную трубу не с того конца, а там, внизу, ярко освещенные, музыканты, маленькие, но отчетливо видные, они что-то там делают со своими инструментами, производя звуки, и от этих звуков заходится сердце...

Взгляд мой скользил мимо дирижера, чье участие в исполнении прекрасной музыки

³⁸ Менухин И. Странствия. М., 2008. Пер. Инна Бернштейн.

³⁹ Имена родителей Иегуди

было мне пока еще непонятно, и, в конце концов, задерживался на концертмейстере скрипок Луисе Персингере. Он время от времени вступал с сольным пассажем, и я научился ждать, предвкушая, когда настанет драгоценная минута и чудесный голос скрипки взлетит до галерки, будоража душу, лаская и чаруя сильнее всех остальных голосов. И однажды на концерте я попросил родителей подарить мне на четвертый день рождения скрипку и Луиса Персингера, чтобы научил меня на ней играть.

Если я так подробно описываю здесь этот эпизод, то для того лишь, чтобы опровергнуть сложившееся, быть может, у кого-то представление, будто бы я один день был бесформенным комком протоплазмы, а на завтра вдруг преобразился и стал самим собой, — что якобы музыкальный дар проявляется внезапно, как чудеса преобразования в пантомиме. Я указал пальцем на Луиса Персингера, потому что в основе моего выбора лежали четыре года, успевшие дать мне то, что нечасто дает своим выпускникам школа: чувство призвания. Не знаю, может быть, оно вообще присуще детству. Может быть, отдельные счастливицы из утраченного века невинности приносят с собой веру в безграничные возможности, понимание подлинных ценностей, отчего детям близко величие и простодушие, но чужда ловкая посредственность. Право же, глядя на детей с позиций взрослого, я уже давно думаю, что наш мир недооценивает юных, восхищаясь честолюбием и мнимыми достижениями. В четыре года я был слишком мал, чтобы понимать, что скрипка потребует платы за милости свои, за счастье полета, за покорение головокружительных вершин, за власть над нервами, мышцами и костями. За восторг их растворения. Ничего этого я не знал. Зато чувствовал, подсознательно, что играть — значит жить.

Попросту говоря, я хотел быть Персингером и придумал прямой способ, как осуществить это свое желание. По-моему, родители не сочли его чрезмерным. Но они, возможно, решили, что это всего лишь выдумка, а не потребность, и колебались, стоит ли тратить свои скудные средства на то, что может оказаться детским капризом. А затем они, как всюду поступают любящие родители, повели о моей просьбе родным и знакомым, и в итоге я получил сначала игрушечную скрипочку, а потом и настоящую.

Никогда не забуду, как меня разочаровала игрушечная скрипка. Жестяная, с железными струнами, прикоснешься — холодная, и с ужасным голосом, жестяным, как она сама. Эта насмешка над моими мечтами впервые в жизни (насколько помню) привела меня в бешенство. Сценой ее подношения и моей неблагодарности был большой красивый парк на холме в конце Стейнер-стрит.

Я увидел, что на скамейке рядом с папой и мамой сидит наш знакомый, из школы, где папа преподавал, и этот человек протягивает мне в подарок скрипочку. Бедняга, наверно, страшно удивился, когда я, услышав ее голос, громко разрыдался, швырнул игрушку на землю и не пожелал больше до нее дотрагиваться. Весьма сожалею, что мой первый скрипичный благодетель наткнулся на такую черную неблагодарность. Я ведь не знал, что желание мое все равно скоро сбудется.

И оно сбылось вскоре после этого в виде чека на восемьсот долларов, присланного из Палестины бабушкой Шер, которая услышала про мои музыкальные наклонности и оказалась достаточно мудра, или щедра, или опрометчива, чтобы отнестись к ним серьезно. Мои практичные родители прикинули, что на скрипку для начинающего хватит половины этой весьма изрядной суммы, а на остаток купили наш первый автомобиль.

Затрудняюсь сейчас сказать, которая покупка меня больше обрадовала.

Но расскажу, на что пошла вторая половина наследства бабушки Шер. Ответственная в каждом деле мама, после того как в доме завелась скрипка, естественно, не могла не отнестись всерьез к моему обучению. Мне были созданы все условия и оказывалась всяческая поддержка. Однако сначала пришлось разобраться с несколькими фальстартами. Прежде всего, я с новенькой скрипкой в руке был доставлен к живущему по соседству учителю музыки, у которого на вывеске над крыльцом старого дома значилось: «Уроки скрипичной игры». Мы с мамой поднялись по темной лестнице на самый верх, но были

изгнаны оттуда пылью и плесенью, душным запахом винного перегара и клубами табачного дыма. Если старик и преподавал мне урокдругой перед нашей ретирадой, у меня от них в памяти ничего не осталось. Вторая вылазка была к Луису Персингеру, не столько, я думаю, по моей давнишней просьбе, сколько потому, что, ознакомившись с наихудшим вариантом, мама теперь была готова согласиться только на самый лучший. Кантор Райндер пропел мне положенные хвалы, но Персингер наслушался таковых от любящих родителей и знакомых во всевозможных вариациях и остался к ним глух. Четырехлетний приголовишка не сулил новых успехов в его доверху заполненной, успешной жизни. В результате я оказался между худшим и лучшим, в руках Зигмунда Энкера, который у себя в студии, как сержант на плацу, муштровал мальчиков и девочек, пачками производя из них виртуозов.

Бизнес Энкера состоял в том, чтобы добиться от учеников блестящего исполнения Сарасате и Чайковского, и мне смутно помнится с тех давних времен, что более тонкие задачи его не интересовали и едва ли ему были по плечу. Он не разбирался в стиле, в классике, в камерной музыке; особенно важно, что он не понимал самого процесса игры на скрипке, или если и понимал, то не умел передать ученикам своего понимания. Конечно, он не один был такой темный, тогда учили игре на скрипке по методу «как попало», да и сейчас, к сожалению, еще многие так учат. Энкер ставил перед учащимся цель: верная интонация, полный, округлый звук или еще что-нибудь, и гнал к ней, нахлестывая и ничего не объясняя. В результате ты выучивался — или не выучивался — сам, подобно тому, как в младенчестве сам обучался ходить и говорить. Но умение играть на скрипке — навык более сложный, чем врожденная человеческая способность ходить и говорить, пояснения сверх того, что могут подсказать свои нервы и мускулы, тут очень полезны.

Поначалу трудно было даже просто держать скрипку на вытянутой руке, крепко-крепко, чтобы только не упала и не отскакивала, — а где взять вторую пару рук, для того чтобы ими играть? От меня требовался полет — а я вцепился и повис. Там, где левое запястье в позиции «золотого сечения» должно описывать спираль вокруг грифа (как правое — вокруг смычка), у меня левая кисть намертво замыкала гриф в кольцо между большим пальцем и основанием указательного. Где пальцы должны мягко изгибаться над грифом, каждый — свободный, мышечно независимый от остальных, — мои двигались вплотную один к другому (кроме мизинца, отвисающего сзади). как три дрессированные лошадки в цирке, скачущие со ступеньки на ступеньку по хроматической лестнице, словно в единении сила. Где скрипка должна лежать на ключице, легко придерживаемая естественным поворотом головы, я ее с силой придавливал подбородком. Где правая кисть (а с ней и запястье, локоть и лопатка) вместе со смычком должны вращаться, чтобы благодаря вращательному движению кисти смычок не сбивался с пути, я пилил по прямой и при каждом нажиме «сворачивал с дороги» (да на беду, еще смычок оказался для меня слишком длинным). И в ответственных местах, где звук должен свободно вибрировать, он получался плоским. Все эти безобразия служили свидетельством тому, что природу скрипки я не понимал, а на помощь со стороны не приходилось рассчитывать, надо было использовать собственный опыт.

За шесть месяцев успехи мои были минимальны. Мистер Энкер ничего хорошего уже не предрекал, хотя сначала сулил золотые горы. Мама докладывала отцу о гибнущих надеждах, отец молчал, а я чувствовал себя умирающим, над которым спорят будущие гробовщики. И вдруг, не могу объяснить почему, скрипка перестала быть чужой, мышцы освободились, тело научилось забывать себя, и я начал испытывать удовольствие от того, что делаю. Наконец-то я вышел на дорогу. С расстояния стольких лет мне отчетливее всего помнится моя победа над вибрато. Обучая ему, Энкер ограничивался тем, что орал: «Вибрируй! Вибрируй! Дрожащим звуком!» — и ни намек на то, как этого добиться. Я был бы и рад его послушаться, если бы знал как. Мне очень хотелось исполнить вибрато. Ибо какой прок от скрипки мальчику русско-еврейского происхождения, если он не может придать звуку биения жизни? Вроде того, что было раньше с буквой «р»: как оно должно

звучать, я представлял себе, но не понимал, что мне следует для этого делать. С вибрато было еще труднее. А позже, лет в шесть или семь, когда я уже распрощался с Энкером, мои мышцы вдруг, в один прекрасный день, сами по себе нашли решение. Таким же загадочным озарением, оставляющим в неведении, без объяснения, многим скрипачам открываются тайны их ремесла.

Раз в году многообещающие виртуозы Энкера давали в «Фэрмонт-отеле» концерт для родных и знакомых, полупоказ, полуконкурс. Моя очередь выпала на ноябрь 1921 года. Я сыграл небольшую пьеску под названием «Воспоминание» и занял, к своей досаде, второе место. У меня плоховатая память на имена, но своего удачливого соперника я помню до сих пор. Это была двенадцатилетняя девочка по имени Сара Крейндлер, которая исполнила «Цыганские напевы» Сарасате, за что заслуженно получила первое место.

Это первое публичное выступление было для меня вехой в нескольких смыслах. Во-первых, оно знаменовало конец эры Зигмунда Энкера. То ли мама решила, что он больше ничего не может мне дать, или, вполне возможно, причина была в том, что я сыграл хуже Сары Крейндлер, но мама опять обратилась к Луису Персингеру. Какие дополнительные доводы были пущены в ход, не имею представления, но на этот раз он согласился взять меня в ученики.

Я храню о Персингере благодарную память за многое, и прежде всего за то, что он с самого начала указал мне высший ориентир. На первом нашем уроке он велел мне сыграть маленькую пьеску, я сыграл, он дал мне несколько наставлений, но, покончив с этим, предложил маме и мне сесть, взял в руки скрипку и объявил, что сейчас он нам поиграет. С удивительной интуицией этот человек, никогда профессионально не обучавший маленьких детей, не стал потрясать нас чудесами пиротехники, а сыграл одно из самых прекрасных в мире произведений: адажио из баховской Сонаты соль-минор для скрипки соло. Это такое трогательное и страстное сочинение, что как-то, через много лет, при мне Пабло Казальс за роялем так им увлекся, что сыграл аккомпанемент ломаными арпеджио в псевдомадьярском духе в доказательство того, что у Баха в жилах текла цыганская кровь. Тогда, в пятилетнем возрасте, слыша адажио впервые, я бы не мог оценить подобные соображения. Я только знал, что эта музыка мне близка и волнует душу. Мы сидели с мамой как зачарованные, пока не замерла последняя нота и комнату переполнила тишина, а потом, все еще не спустившись на землю, опьяненные Бахом, пошли домой. Я понял, к какой высоте мне надо стремиться, и понял, что мама ждет от меня этого так же страстно, как я сам. Это переживание действовало на нас обоих.

Мои родители были оба музыкальны, а мама еще успела немного поучиться музыке. До рождения сестер она брала уроки игры на виолончели, но потом пожертвовала своим обучением ради моего и вложила весь свой пыл, энергию и воображение в мои занятия. Она не сидела возле меня, когда я занимался, она слушала со стороны ... Несмотря на груз обязанностей, она все же успевала прислушиваться к моей работе. Если у меня получался красивый звук, мама не пропускала этого мимо ушей и непременно хвалила; если я равнодушно скрипел смычком, она говорила, что я просто сапожник, и требовала полного звучания. Она велела задираť скрипку вверх, как Хейфец, и устраивала со мной игру в сольфеджио. Мой первый урок чтения нот состоялся в парке на скамейке, по соседству от незабвенного игрушечного магазина — мама писала ноты на нотном листе, а я пел их названия. А так как мои ошибки сместили ее, я иногда прикидывался дурачком, предпочитая позориться, но зато слышать ее смех. Скрипку мне тоже настраивала она.

В один незабываемый день, опаздывая на урок, мы наняли такси, и мама, увидев, как мне понравилось это непривычное роскошество, сказала, что в будущем, если я буду хорошо заниматься, то смогу часто ездить на такси. Бах, и такси, и мамины надежды на мои успехи — вон сколько у меня было обязательств. Но дети — это не чистые страницы, на которых можно писать; желание во что бы то ни стало играть так, чтобы весь мир плакал и смеялся, жило во мне самом.

Скептицизм — свойство взрослых. Вспоминая детство, многие, я думаю,

признаются, что детьми собирались сдвинуть горы. Я тоже верил, что смогу творить чудеса, но не потому, что считал себя каким-то особенно способным. Скорее это было убеждение, что, если очень стараться или даже если очень горячо молиться Богу, можно вырваться из-под власти естественных законов.

Я верил в свою способность совершать подвиги в музыке. Что мастерство и понимание накапливаются со временем, этим мое воображение пренебрегало; надо сегодня постараться получше учить пьесу, и тогда к завтрашнему дню я уже буду ее знать, в этом я не сомневался — уверенность, что все доступно, помогала достижению.

От Персингера я узнал не больше секретов игры на скрипке, чем от Зигмунда Энкера. Персингер только показывал, а я подражал, добиваясь цели на слух и не отвлекаясь на обращение к рассудку. Как музыкант он учил меня проникновению в музыку, а как учитель показывал пример сосредоточенного внимания к ученику, на какое, как я убедился лишь недавно, не все учителя способны. Он исключительно много со мной работал. Наши два урока в неделю незаметно превратились в три, а потом стали четырьмя и пятью. (Позже, когда он аккомпанировал мне в поездке, мы работали вместе с утра по три часа ежедневно.) Чтобы сделать занятия увлекательнее, он придумывал для меня упражнения, один раз записал гаммы в терциях в виде игрушечных поездов, движущихся по холмам и долинам. Я бы не удивился, если бы теперь узнал, что тут его вдохновил автограф Баха, но тогда его рисунки подтверждали мое глупое убеждение, что всякие экзерсисы — это для маленьких, а меня только отвлекают. В Персингере я получил учителя, не приемлющего авторитарического метода преподавания, когда выше всего ценятся трудные упражнения и этюды просто ради них самих. Его главным достоинством был здравый смысл. Полстолетия тому назад его убеждение, что ухо должно управлять пальцами и что кисть должна привыкнуть к полупозициям, вовсе не были общеприняты. Трудно сказать, многому ли бы я выучился, если бы схватывал все не так быстро. И сколько бы хитрых упражнений он придумал, если бы не сердился на то, что я сразу повторяю то, что он показывал! Несомненно, он и тогда был убежден (и справедливо!), что гаммы в терциях полезны, но, будучи прагматиком, давал мне волю делать с ними что хочу, не считаясь с его наставлениями. Чувствовал ли он, что моя сила — в непокорстве и что, добиваясь усвоения школьных истин, он рискует исковеркать талант, просто чтобы доказать свою правоту?

Не обучая меня принятому методу, Персингер побуждал меня создать со временем свой метод, так что выходит, даже промахи и неувязки приносили пользу. Где другой учитель не допускал бы меня до великих произведений, пока я не достигну той высоты и того веса, которые считались соответствующими глубине, Персингер предоставлял судить своим ушам.

Подобно тому, как родители самоотверженно преданы детям, так же, на мой взгляд, учителя преданы ученикам, и пусть в этом мнении чувствуется самодовольство, зато подразумевается ответная преданность ученика.

Я хорошо знал, что за привилегии надо расплачиваться столь же весомыми обязанностями. У меня в детстве было развитое чувство ответственности, и, мне кажется, я работал с большим старанием, но, наверно, и другие дети в такой же ситуации стараются не меньше. Просто мне помогало то, что мои часы занятий учитывались в семейном расписании, которое все усложнялось по мере того, как мы росли и у нас становилось все больше разных дел; но сложное взаимосвязанное расписание не позволяло, с одной стороны, расслабляться и пренебрегать дисциплиной, а с другой — слишком перегружаться. Конечно, никакое расписание, как бы строго его ни придерживаться, не гарантирует, что имеющееся в твоём распоряжении время будет использовано наилучшим образом. Скрипач, восьми лет или пятидесяти, живет одинокой, сосредоточенной внутренней жизнью, и от него одного зависит, какое направление принимают его мысли. Одно время, еще на Стейнер-стрит, во время упражнений мои мысли свободно блуждали, я играл автоматически, как бы в трансе, а сам придумывал увлекательные приключения, разные интересные разговоры. Естественно, родители не могли знать, что отсутствующее выражение лица и остановившийся взгляд —

это признаки рассеянности, а не сосредоточенности. Но к счастью, я сам понял, какую вредную привычку я в себе вырабатываю, и это меня настолько встревожило, что я заставил себя от нее избавиться.

По-моему, Пикассо как-то сказал, что великое искусство врачует зубную боль. Я убедился в его целительной силе, когда, играя Адажио из ми-мажорного Концерта Баха, вызвал улыбку у мамы. Шел час послеобеденных занятий, мама готовила ужин, а я работал, предоставленный самому себе, стоя под бабушкиным портретом в толстой раме. И вдруг каким-то таинственным образом мои чувства и мысли совпали с музыкой Баха, и я четыре раза подряд, если не больше, проиграл в пустой комнате это неисчерпаемое волшебное Адажио. Портрет на стене одобритительно подмигнул, дверь из кухни, отворявшуюся обычно для порицания, в тот день мама распахнула, ликуя, и, наверно, подхватила бы меня на руки и расцеловала, если бы не сдержалась в последнюю минуту и вместо меня не обняла папу, который как раз вернулся с работы. Его встретил такой радостный смех и восторг, что память об этом потом не один месяц служила ему поддержкой. Благие мечты, порожденные этой сценой, с лихвой превзошли фантазии Пикассо: я вообразил себя миротворцем, разрубаящим гордые узлы, немедленно умиротворяющим все наши нервные бури, зовущим людей выйти из-за крепостных стен и объединиться во всемирном объятии. Наверно, узлы, так и оставшиеся неразрубленными, неулаженные разногласия и непокинутые крепости должны отучить художников брать на себя слишком много. Но я до сих пор не отучился.

Растить одаренного ребенка — примерно то же, как я понимаю, что растить идиота. Во-первых, на это требуются огромные затраты, без которых не обойтись и которые нельзя урезать до уровня нормальных. Приходится уделять этому особое внимание, отчего переворачивается вся градация ценностей. Бесспорно, я управлял жизнью родителей, как они управляли моей, принуждал их проходить обратно дорогой, которую они проделали раньше, впрягаться в мою карьеру и, в конце концов, оставил их без работы, когда, взрослый, покинул родной дом. Но при всем том я уверен, что моим сестрам и мне уделялось бы столько же внимания и заботы, даже если бы мы не могли — и не пытались — сыграть ни одной ноты. Я служил стержнем их жизни и, наверно, поводом для того, чтобы они могли жить в согласии со своими принципами. Аба и Имма имели исключительно твердые взгляды на воспитание детей, и ни он, ни она ни при каких обстоятельствах не склонны были бы передоверить сей труд другим людям. К счастью, в Калифорнии 1920-х годов закон не принуждал к этому родителей.

Я, например, ходил в школу ровно один день. Мне было тогда пять лет, и я вполне умел читать, а писать и производить арифметические действия — лишь отчасти. Школьному эксперименту предшествовали грандиозные дискуссии, а из того, что он длился так недолго, видна готовность моих родителей ухватиться за первый же знак неудачи и вернуться на первоначальные позиции. Единственное утро в школе не причинило мне страданий, я просто был обескуражен. Я мирно сидел в классе, прямо передо мной стояла учительница и долго говорила нечто совершенно мне непонятное. Постепенно я отвлекся и перевел взгляд на окошко. А за ним росло дерево. Дерево это оказалось единственным, что я запомнил и смог описать потом дома. На том мое школьное образование и кончилось. Некоторое время спустя в эту же школу пошла Хефциба и проучилась там целых пять дней, после чего директор пригласил родителей и сообщил им, что у них дочь умственно отсталая. Хефцибу тоже забрали домой, и не прошло и года, как она уже могла свободно читать и писать. После двух неудач о третьем эксперименте, с Ялтой, даже мысль не возникала.

Словом, мы учились дома. Что мы при этом потеряли? В первую голову, естественно, общение с другими детьми. В десять лет я уже привык, что взрослые относятся ко мне как к ровне, зато с мальчиками и девочками, моими ровесниками, держался скованно и едва обменивался двумя-тремя словами. Академические преимущества и недостатки такой системы обучения оценить труднее. Математику мы прошли на уровне начал алгебры и геометрии, физику и химию не изучали совсем, латынь и греческий тоже, зато, как мне

кажется, наши главные предметы, иностранные языки и литература, нам были преподаны в объеме, значительно превосходящем школьный. Мне было тринадцать, моим сестрам — девять и семь, когда на отдыхе в Италии мы ежедневно читали вслух «Божественную комедию» в оригинале.

Для преподавания иностранных языков в дом приглашались репетиторы, а в остальном, пока мы жили в Сан-Франциско, родители делили между собой учительские обязанности. Папа, конечно, взял на себя точные науки, а мама, не имевшая ни малейшей склонности к математике, занималась прочими основными предметами. Позже прибавилась география, не статистическая, а скорее живая, физическая, знакомая в связи с нашим образом жизни, и в качестве постоянного аккомпанемента — то, что можно приблизительно обозначить как общественные науки.

У папы были настроения типичного русского социалиста. Его беспокоило, что надо сделать для людей вообще, а не как помочь кому-то в отдельности. Всякая социальная несправедливость возмущала его, но оптимизм побеждал разочарования.

Папа и за столом разговаривал о политике. Почти сразу же, как я научился читать, он стал каждый день вырезать для меня из газет разные интересные сообщения. (Сами газеты мне читать не позволялось, поскольку пороки и насилие — неподходящая пища для детского воображения.) Иногда папины газетные вырезки бывали про интересующую его политику, но он также считался и с моими вкусами и подбирал публикации про новые изобретения, приключения в джунглях, попытки летать с помощью одной только мускульной силы и тому подобные мальчишеские дела. Как и большинство американских мальчиков моего поколения, я увлекался разными аппаратами и машинами, так что можете себе представить, поддерживать разговор в обществе толком не умел. Конверты с газетными вырезками я продолжал получать от папы до самой его смерти. Тематика изменялась, конверты приходили по почте, но сама по себе традиция — отчасти передача сведений, а отчасти ритуал проявления душевной близости — сохранялась до конца.

Главные преимущества домашнего образования состоят, разумеется, в том, что учитель уделяет ученику больше внимания, поэтому учение идет быстрее и в день на уроки требуется гораздо меньше времени. Мы вставали в семь часов, в Сан-Франциско, с его свежими, бодрящими утрами, это было нетрудно; после завтрака и ванны я до одиннадцати занимался на скрипке. Затем следовал час на воздухе, пока солнце в самом зените; за ним второй завтрак, по большей части в доме, но иногда пикник на морском берегу; потом отдых. В три часа начинались уроки, по окончании которых оставалось еще несколько минут, чтобы побегать, а потом я закруглял рабочий день часом упражнений на скрипке, начиная с пяти тридцати. К семи я уже был в постели, и хотя со временем час отбоя передвинулся на восемь, а затем и на девять, но позже уже не сдвигался, сколько бы лет мне ни было, не считая, конечно, вечеров с концертами. Впоследствии рабочий день удлинялся, становился разнообразнее, но при всей своей изменчивости сохранял устойчивый алгоритм, с которым мы не расставались, пока не достигли зрелости. В результате наша домашняя жизнь была настолько отлажена, что можно было сколько угодно рассуждать о цели мироздания, не опасаясь нарушить целостность окружающего нас мира.

Я чуть не с первого вдоха осознал, что в дне содержится столько-то часов и каждому часу соответствуют свои дела, но такой распорядок не рождал суеты, наоборот. Время было дорого, но двигалось не спеша.

Несмотря на то, что высшим авторитетом для меня был Энеску, визит к Изаи я считал делом далеко не пустячным. Меня воспитали в преклонении перед ним, он был, как мне внушалось, сверхчеловеком, колоссом, возвышающимся над миром, и я всему этому верил. К сожалению, ни у Персингера, ни у меня не было его пластинок (впервые я услышал его Пимен тридцать пять лет назад и нашел их потрясающими), но о великолепии, силе и яркости его игры я судил с чужих слов. Понятно, что великолепие Изаи было для меня не так очевидно, как великолепие Энеску, которого я слышал и видел сам. Но, тем не менее, я всю дорогу, сидя рядом с мамой в такси, был охвачен предчувствием восторга. Увы, вместо

гиганта моих детских фантазий я увидел слишком обыкновенного человека в слишком обыкновенной обстановке.

Мадам Изаи провела нас наверх в небольшую комнату, где среди разбросанных по всему полу нот в одном из мягких кресел сидел Изаи, все еще внушительного вида, но обрюзгший, старый, больной, дряхлый и прикованный к креслу, как цепями, диабетической гангреной ноги (как я узнал впоследствии). «Гварнери» лежала рядом на столе. Мы поздоровались, мама сняла с меня пальто, и я по его выбору сыграл первую часть «Испанской симфонии». А он, сопровождая меня, играл пиццикато, и так ловко, что создавалось впечатление оркестрового аккомпанемента, лишь иногда делая паузу, чтобы внимательно последить за моими руками.

«Ты меня порадовал, мальчик, очень порадовал», — сказал он, когда мы доиграли. Если бы он тогда же отпустил меня! Для меня это было не столько прослушиванием, сколько данью поклонения престарелому монарху, ужасному в своей тучности, недоступному, согбенному под грузом лет и чествований. Я лихо исполнил пассаж и заслужил его похвалу. Я сохранил верность Персингеру. И теперь свободен, могу идти на все четыре стороны. Но каково же было мое удивление, когда он велел мне сыграть ля-мажорные арпеджио на четыре октавы! Я метался пальцами туда-сюда по грифу, как слепая мышь. «Тебе, Иегуди, будет полезно поучить гаммы и арпеджио», — лаконично заключил он.

Мы ушли, как шесть лет назад ушли от старика со скрипкой на вывеске над входной дверью: вниз по темным ступеням, прочь от распада. На этот раз я еще бежал от пророческого совета. Но другого выбора не было.

Если я почувствовал, что не могу принять совет Изаи насчет гамм и арпеджио, как и его предложение пойти к нему в ученики, то в этом виноваты, наверно, мои звезды или, во всяком случае, темперамент, с которым я родился на свет. Изаи мог бы добавить методичности моим музыкальным занятиям (помимо многого другого, разумеется) и тем самым сократить неизбежные долгие поиски, без которых я не мог обходиться, но усваивать чужие методы, по-видимому, не в моем характере. С людьми я был и остаюсь очень доверчив; а идеи, мнения, традиции и приемы я никогда не принимаю на веру, пока на собственном опыте не удостоверюсь в их правильности. Музыка для меня — живая, она сама все выражает; я подозреваю, что бессчетные часы работы над инертной материей скорее бы притупили, чем усовершенствовали мою игру. Мне кажется, я в этом не одинок. Позже мне приходилось убеждаться, что особенно тщательная работа над разучиванием музыкального текста, как это принято в России, сглаживает индивидуальную выразительность, заменяя ее безличным блеском. Лишь самые негибкие и упорные заканчивают курс, не утратив личные черты и музыкальность. Разумеется, я вовсе не хочу сказать, что Изаи растоптал бы мои тонкие чувства, но то, что он мог бы мне дать, я был принят не в силах. Пусть это утверждение и спорно, однако мое развитие как скрипача все же аргумент. Я шел путем вдохновения, на который меня наставили вдохновенные учителя, требовавшие от меня не совершенного владения гаммами и арпеджио, но поклонения величию и отклика на него.

Какие же ответы на наши вопросы мы получаем, знакомясь с детством Иегуди Менухина? Можно сказать, что несколько счастливых обстоятельств с самого начала определили его блестящий музыкальный путь. Конечно, была одаренность мальчика, однако любой талант нуждается в «питательной среде», заботе и поддержке. Все это Иегуди сполна получал от своих родителей, и с самых ранних лет. Его отец и мать были не просто внимательны к жизни и образованию сына (взяв на себя, в том числе, обучение школьным предметам), но и принимали горячее участие в его музыкальной судьбе. Иегуди прекрасно чувствовал их безраздельную преданность и эмоциональную вовлеченность. Достаточно процитировать его слова: *«я был для своих родителей зеницей ока», «служил стержнем их жизни», «мама вкладывала весь свой пыл, энергию и воображение в мои занятия».*

Но родители давали сыну и нечто большее: они смогли передать ему

высокие моральные принципы, чувство ответственности, организованность и дисциплину. В доме была создана атмосфера безусловного уважения к труду и строго упорядоченного быта. И снова об этом просто и точно пишет автор воспоминаний: *«Моя тяга к моральной чистоте отражала высокие идеалы родителей», «У меня в детстве было развитое чувство ответственности», «Мои часы занятий учитывались в семейном расписании, ... расписание не позволяло расслабляться и пренебрегать дисциплиной».*

Другим даром, которым наградила судьба маленького Иегуди, были его учителя! Трудно без волнения читать воспоминание о первом уроке с его любимым учителем Персингером. Тот просто *«сыграл одно из самых прекрасных в мире произведений», «трогательное и страстное»* и своей игрой потряс мальчика и его мать. *«Я понял, — заключает И. Менухин описание этого знаменательного события, — к какой высоте мне надо стремиться», «он указал мне высший ориентир».*

Талант выживает, когда вдохновенная мечта ученика оберегается учителем и не забывается преподаванием техники. Это понимал первый учитель И. Менухина: *«В Персингере я получил учителя, не приемлющего авторитарического метода преподавания, когда выше всего ценятся трудные упражнения и этюды просто ради них самих». «Как музыкант он учил меня проникновению в музыку».* Такими были и другие учителя И. Менухина, а точнее, таких он выбирал позже в лице знаменитых скрипачей своего времени.

Как бы ни был значителен вклад родителей и учителей в блестящую карьеру Иегуди, многое определялось его собственной природой и характером. Мы узнаем о целом ряде его замечательных свойств, кстати, характерных для многих талантливых детей. Это — особенная впечатлительность: голос скрипки *«будоражил душу»*; ранняя мечта: *«играть так, чтобы весь мир плакал и смеялся»*; отчетливое *«чувство призвания»* уже в четырехлетнем возрасте; детская вера в свои силы: *«смогу творить чудеса», «покорять головокружительные вершины».* Но хотелось бы отметить еще одну важную черту: высокую собственную активность мальчика. В своем упорстве и стремлении добиваться целей он шел много дальше ожиданий и требований родителей и учителей. Больше того, он сопротивлялся тому, что не отвечало ощущению его собственного пути: *«Моя сила — в непокорстве, — говорит он и, обсуждая традиционное академическое образование, замечает: «лишь самые несгибаемые и упорные заканчивают курс, не утратив личные черты и музыкальность».* И Менухин был таким *«несгибаемым и упорным»* ребенком, вкладывая в музыку свою личность, музыка для него была *«живая»*, и играть для него — *«значило жить».*

Заметим, что с описанием тех же свойств упорства и непокорности мы встречались в заметках о своем детстве других известных людей, например С. Рихтера, М. Цветаевой, Н. Сац. Такие наблюдения подводят нас к выводу, что талант и свобода ребенка выражать себя, слышать и слушать себя взаимообусловлены: одно порождает и питает другое.

Эпиграфом к творческой биографии И. Менухина могут служить заключительные слова помещенного здесь отрывка. Хочется их еще раз повторить: *«Я шел путем вдохновения, на который меня наставили вдохновенные учителя, требовавшие от меня не совершенного владения гаммами и арпеджио, но поклонения величию и отклика на него».*

Так учат выдающиеся учителя, и так становятся знаменитыми их ученики!

Карл Роджерс «Вопросы, которые я бы себе задал, если бы был учителем⁴⁰»

⁴⁰ Доклад на конференции учителей «Способные и талантливые дети» 1973 г

Карл Роджерс (1902–1987) — известный американский психолог и психотерапевт, один из основателей гуманистической психологии. Был убежден, что от природы человек стремится к росту и развитию и главная задача психотерапевта — поддерживать это стремление. Разработал метод «эмпатического слушания» (который более известен как «активное слушание»).

Роджерс доказал успешность своего подхода при работе с людьми различных возрастов и профессий. Его клиентами были студенты, проблемные подростки и их родители, учебные классы и учителя, супруги, руководители учреждений и бизнеса. В 1986 году К. Роджерс посетил Москву и провел 3-дневную группу-семинар (группу «личностного роста») с профессиональными психологами. Работа и личность К.Роджерса произвели глубокое впечатление на участников семинара, а для некоторых стали поворотным пунктом в их жизни и деятельности. Разъясняя свой подход к воспитанию ребенка, К. Роджерс использовал замечательную метафору. Согласно ей, ребенок подобен крепкому молодому ростку, который изначально обладает жизненной силой, стремится к росту и развитию. Родитель или учитель выступает в роли садовника. Задача садовника — заботиться о растении: и удобрять и рыхлить почву, поливать его, обеспечивать ему защиту, солнечный свет... но он не должен тянуть его за верхушку в своем желании ускорить его рост! Приводимый ниже текст — выступление Роджерса на съезде американских учителей. В нем Роджерс делится своим опытом, обращаясь к разным периодам своей жизни. Он говорит и как ребенок-школьник, и как опытный профессор, и как ученый, много сделавший для понимания человеческой природы. Ответы, которые К. Роджерс дает себе-учителю, обращены также к ищущим учителям и думающим родителям, ко всем, кто озабочен не только обучением ребенка, но и гармоничным развитием его личности.

Ко мне обратились с просьбой выступить от имени гуманистической психологии и рассказать, что мы можем сегодня дать тем детям, которых обычно называют способными или талантливыми. Однако думаю, что все, что мне удастся сегодня сказать, будет относиться ко всем детям. Я убежден, что ребенок обладает громадным нераскрытым потенциалом творческих возможностей... Я выбрал следующую тактику: я попытался представить, какие вопросы я бы задал себе, если бы внезапно стал учителем любых детей, одаренных и самых обычных.

Вопрос 1. *Что значит быть ребенком, который сам учится чему-то нетривиальному?*

Пожалуй, это первый вопрос, который я задал бы себе перед тем, как идти к детям. Я стал вспоминать свое детство, такую ситуацию, когда я чему-то учился бы в подлинном смысле этого слова, учился творчески.

Однажды, когда мне было лет 13, я случайно набрел на книжку о ночных мотыльках (в целом это было какое-то очень красочное пособие о дикой природе). В это же время я обратил внимание на очень красивую ночную бабочку с удивительными зелеными крыльями с красной окантовкой. Я до сих пор вижу этого мотылька как тогда, глазами ребенка: нечто удивительное, сияющее зеленым и золотом, с великолепными пятнами цвета лаванды. Я был покорен. Я нашел коробку и стал устраивать жилище для таких бабочек. Семья мотыльков вывела личинки, и я стал корить маленьких гусениц. Постепенно я научился ухаживать за ними. Я прошел через опыт выращивания целого поколения ночного мотылька. Я видел чудо — как на моих глазах крошечные, величиной с ноготь, крылья вырастали до пяти-семи дюймов. Это было фантастически захватывающе. Но большая часть времени это была работа, тяжелая, по сути, работа, которой я занимался сам, никем не принуждаемый. Я каждый день собирал для них свежие листья, выбирая правильные породы деревьев; в

течение долгой зимы я поддерживал жизнь коконов. Постепенно я оказался включенным как бы в большой исследовательский проект. В свои 15 лет я стал специалистом по этому виду мотыльков, неплохим специалистом. Я знал многое о питании этого вида, условиях, в которых они живут; я легко определял по внешнему виду дерево, на котором всегда можно было найти мотылька, и т. д.

Но вот что главное: я никогда не рассказывал никакому учителю о своем увлечении. Тот проект, который поглощал меня целиком, для меня лично не был частью моего официального образования. Образованием было то, что начиналось в стенах школы. Учителям мое увлечение было не интересно. Кроме того, я знал по этому вопросу гораздо больше них. Но ведь они должны были обучать меня, а не я их. В школе было несколько учителей, которые мне нравились, но то, что интересовало меня, было чем-то личным. Это не входило в отношения с учителями. Не должно было входить в них.

Итак, у меня было дело, было настоящее дело, которому я отдал несколько лет. Это дело требовало работы, дисциплины, знаний, практических навыков. Но для того мальчика, который реально учился, отдавая себя вот такому настоящему делу, для него это не было учением.

Я уверен, что подлинное учение всегда очень индивидуально: оно не бывает одинаковым у мальчиков и девочек, у отстающего ребенка и, наоборот, у ребенка успевающего. Но если бы я был учителем, я бы очень серьезно подумал над тем, что значит учение для этого конкретного ребенка и что оно значит для другого. Я попытался бы увидеть глазами этого ребенка тот мир, в котором он нечто усваивает. И самое меньшее, что я бы сделал, это попытался бы превратить школу в дружелюбный дом, дом, в который ребенок мог бы естественно внести этот свой мир учения.

Вопрос 2. *Я спросил бы себя, осмелился бы я не закрываться от своих учеников, а быть с ними таким, как я есть: человеком, часто не знающим то или другое, колеблющимся, ошибающимся, ищущим? Сумел бы я пойти на такой риск и что бы это дало?*

Да, риск в этом деле есть. Но есть одна вещь, которая стоит этого риска. Я приведу пример. В одном фильме («Потому что я так хочу») участвовали учитель, мальчик-наркоман и полицейский. После окончания работы группы один из ее участников (это был старшеклассник) сказал: «Я никогда не думал, что учитель, полицейский и наркоман — это люди, со своими желаниями, надеждами, целями, со своим миром! Я никогда бы раньше в это не поверил!» И действительно, в опыте своей школьной жизни этот подросток никогда не сталкивался с такими открытыми отношениями, как в группе терапии.

Мы проводили широкий эксперимент по гуманизации производственных отношений в одном из медицинских учреждений. И одним из наших общих открытий, открытий для каждого из нас — исследователей и их помощников — было следующее: мы обнаружили, что наше начальство, деканы, члены факультета такие же личности, как и мы. Нам показалось тогда это невероятным. Мы имели аналогичный опыт при проведении такого же эксперимента в одной из школ колледжа. И там тоже обнаружили, какие перспективы несет в себе неролевое, гуманизированное общение и для студентов, и для школьников, и для учителей. Для тех и других это был совершенно новый опыт общения, новый тип осознания себя и других.

Знаю, что навряд ли в каждой школе, в любой группе я рискнул бы вступить в такие отношения, сойти с привычного пьедестала «учителя» и стать одним из тех, кто помогает учиться и учится сам у тех, кому помогает. Но в глубине души я знаю, что делал бы так. Я шел бы на риск, и в итоге выиграли бы все. Это заразительно — сам опыт гуманистического общения людей друг с другом.

Вопрос 3. *Что интересует моих учеников?*

Возможно, я ошибаюсь, но думаю, что узнать, чем более всего интересуется ученик, не так уж трудно. Это можно сделать и прямо, спросив его, и косвенно. Но лучше всего —

создать такую атмосферу доверия и творчества, в которой интересы проявятся естественным образом.

Я помню, как однажды в детстве на полях одного из моих сочинений (кажется, я писал о своей собаке) обнаружил вопрос учителя, обращенный ко мне: «Почему, Карл?» Прошло много лет, я многое забыл, а вопрос учителя помню до сих пор. Моего учителя искренне интересовало, почему я что-то сделал. Прошло 60 лет, а искреннюю неформальную заинтересованность учителя по делу, которое касалось только меня одного, я хорошо помню. Это показывает, насколько учителя редко задают вопросы, действительно интересуясь каким-то событием в жизни ребенка, а не преследуя некоторую дидактическую цель, и как это воспринимается ребенком!

Вопрос 4. *Как сохранить и поддержать любопытство ребенка к миру?*

Всем хорошо известно, что по мере школьного обучения дети теряют любопытство, становятся менее любознательными. Это один из самых тревожных показателей школьного неблагополучия. Ректор Калифорнийского университета однажды сказал мне, что он отбирал бы студентов только по одному-единственному показателю: любознательности. Я часто думаю о том, что в силу некоторых странных обстоятельств школа как бы делает все возможное, чтобы забить в детях живое естественное любопытство, поиск необычного в мире, в котором они живут.

Не раз замечалось, что пятилетний ребенок моментально овладевает иностранным языком, если оказывается в другой стране и чувствует себя там как дома. Но попробуйте обучать ребенка иностранному языку, и вы увидите, что процесс усвоения языка будет невероятно долгим. В этом случае утеряно главное — желание найти в ситуации что-то для себя новое.

Один из профессоров Калифорнийского университета пишет мне: «Я хочу поделиться своим опытом, тем, как я пытался применить в своей студенческой группе те принципы гуманистического обучения, которые вы описываете в книге «Свобода учиться» (1969). Я поступил следующим образом: подробно рассказал студентам принципы, на которых будет построено наше обучение, сказал также, что посещение эксперимента — добровольное. В классе было 60 учащихся. И это был для меня самый восхитительный курс из всех, какие прежде довелось проводить. Но оказалось, что и студенты были не менее меня увлечены атмосферой наших занятий. И работы моих студентов были на таком творческом уровне, какой я раньше встречал редко или от случая к случаю. Здесь же шел поток хороших творческих работ: доклады, сообщения, самостоятельные исследования, проекты и т. д. Эта приподнятость передалась студентам других групп. Они подходили к моим испытуемым и просили поделиться той радостью открытий, которые несли в себе мои студенты.

А вот оценки самих студентов: «Ни в одном из прежних курсов обучения я не научился так многому, как на это раз». Или: «Первый раз в моей жизни учитель спрашивал меня, чему я хочу учиться, и было удивительно хорошо самому обнаружить в себе, что я сам хочу». Но, возможно, самым приятным для меня были отзывы тех студентов, которые написали после окончания наших занятий: «Я не научился так многому, как мог, но это была моя ошибка. И главное, Карл, удивительно приятно было находиться в ситуации, в которой студенты имели возможность учиться так, как им самим казалось наиболее правильным. И как свободно чувствовал себя я сам в роли не учителя, а человека, который помогает учиться и учиться сам».

Вопрос 5. *Как обеспечить поступление для моих учеников таких материалов, которые были бы интересными, захватывающими, отвечали бы разным склонностям и способностям, могли бы обеспечить свободный выбор на личный вкус того, что хочется, что посылно усвоить «именно сейчас и именно мне» и, может быть, никому другому?*

Думаю, что это самая серьезная проблема, которой хороший учитель должен уделять 90 % времени подготовки к занятиям: обеспечить поток материалов, избыток их.

Считаю, что важно не столько учить детей, сколько создать ситуацию, в которой

ребенок просто не мог бы не учиться сам и делал бы это с удовольствием. И один из путей — подбор богатого, развивающего воображение материала.

Мой сын врач. Почему? Однажды, когда он учился в старшем классе, всем учащимся, как обычно, дали несколько недель на то, чтобы они сами выбрали себе где-нибудь работу и стажировались, попробовали свои силы в каком-нибудь деле. Мой сын сумел добиться расположения к себе одного врача, и тот эти несколько недель водил его в палаты, на операции, в приемную. Дейв как бы на короткое время погрузился в подлинную жизнь медицинской практики, и она его захватила, превратила временный интерес в постоянный. Кто-то помог ему, и я бы хотел быть на месте этого человека.

***Вопрос 6.** Достаточно ли у меня мужества и терпения для того, чтобы помогать зарождению творческих идей у моих учеников? Достаточно ли у меня терпения и человечности, чтобы переносить часто раздражающие, надоедающие поступки, частое сопротивление и иногда странности тех, у кого чаще всего возникают творческие мысли? Могу ли я «дать простор» творческому человеку?*

Мне кажется, в каждом методическом пособии для учителей должна быть глава «Забота о выращивании крохотных творческих мыслей у детей». Творческие мысли в начале своего зарождения столь же малы и беспомощны, как только что родившийся ребенок: они слабы, незащищенны, легко уязвимы. Всякая новая идея всегда проигрывает перед идеей, уже устоявшейся, признанной. Дети полны таких новых небольших творческих идей, но эти последние, как правило, забиваются школьной рутинной.

Есть, как верно пишут американские психологи Гизел и Джексон, есть большая разница между теми, кто просто умный, и теми, кто умен и умеет творить. Творческие люди менее предсказуемы, более беспокойны. Смогу ли я в качестве учителя позволить им обнаруживать и проявлять свои творческие способности, не дергать их, а помогать им? А ведь большинство великих мыслей появлялось и заявляло о себе, когда все вокруг утверждали, что они тривиальны, неинтересны. Томас Эдисон считался глупым.

Я бы хотел, чтобы в моем классе создалась атмосфера, которую часто боятся воспитатели — атмосфера взаимного уважения и свободы выражения себя. Она непременно позволит творческому индивиду писать стихи, рисовать картины, пробовать новые рискованные ситуации без страха, что его, такого ребенка, осудят и придавят. Я бы хотел быть учителем, который его сбережет.

***Вопрос 7.** Смог ли бы я обеспечить своим ученикам развитие не только в сфере познания, но и чувств? Смог ли бы помочь им осуществить то, что Томас Ханна назвал «сомой»: физическое состояние и интеллект, «чувства и интеллект»?*

Все мы прекрасно понимаем, что одна из трагедий существующей системы обучения состоит в том, что в ней признается в качестве основного только интеллектуальное развитие. Я рассматриваю книгу Дэвида Хеберстена «Лучшие и талантливые» как выражение этой трагедии. Люди, которые окружали Кеннеди и Джонсона, были все талантливы и способны. Но, как пишет Хеберстен, тогда людей связывало и определяло способ их работы лишь одно мнение, что только интеллект и рациональность могут разрешить любую проблему, вставшую перед человеком. Конечно, такое убеждение сформировалось нигде иначе, как в школе. Это абсолютизированная опора только на интеллект была причиной тех военных и других последствий, к которым привела страну эта группа людей, стоявших у власти.

Компьютеры, к мнению которых они прибегали, не учитывали ни чувств, ни эмоциональной преданности своему делу людей в темных пижамах, которые жили и боролись во Вьетнаме. И недоучет этих человеческих факторов обернулся поражением. Человеческий фактор не был заложен в компьютеры, поскольку Макнамара и другие не придавали значения эмоциональной жизни людей.

Я бы хотел, если бы был учителем, сделать так, чтобы в моем классе происходило обучение, втягивающее в себя всего человека, всю его личность. Это трудно, но это необходимо.

Заключение.

Позвольте мне суммировать ответы на вопросы, которые поставил бы перед собой, если бы я был учителем, и выразить их в несколько иной форме.

Вот вопросы, которые я задал бы себе, если бы взял на себя ответственность за детей, к которым пришел в класс, чтобы помочь им учиться.

1. Умею ли я входить во внутренний мир человека, который учится и взрослеет? Смог бы я отнестись к этому миру без предрассудков, без оценок, смог ли бы я лично эмоционально откликнуться на этот мир?

2. Умею ли я позволить самому себе быть личностью и строить открытые, эмоционально насыщенные неролевые взаимоотношения с моими учениками, в отношении, в которых все участники этого взаимодействия учатся? Хватит ли у меня мужества разделить со своими учениками этот интенсивный внутренний мир наших взаимоотношений?

3. Сумею ли я обнаружить интересы каждого индивида в моем классе и смогу ли позволить ему или ей следовать этим индивидуальным интересам, куда бы они ни вели?

4. Смогу ли я помочь моим ученикам сохранить живой интерес, любопытство по отношению к самим себе, к миру, который их окружает, сохранить и поддержать самое дорогое, чем обладает человек?

5. В достаточной ли степени я сам творческий человек, который может столкнуть детей с людьми и с их внутренним миром, с книгами, всеми видами источников знаний, теми, что действительно стимулируют любопытство и поддерживают интерес?

6. Смог ли бы я принимать и поддерживать нарождающиеся и в первый момент несовершенные идеи и творческие задумки моих учеников, этих «посланников» будущих креативных форм учения и активности? Смог ли бы я лично принять тех очень творческих детей, которые так часто выглядят беспокойными и не отвечают принятым стандартам в поведении?

7. Смог ли бы я помочь ребенку расти целостным, интегрированным человеком, чувства которого порождают идеи, а идеи — чувства?

Если бы я мог совершить чудо и ответить «да» на эти вопросы, тогда бы я решился стать тем, кто не «учит», а способствует подлинному усвоению нового, помогает ребенку реализовать потенциал своих индивидуальных возможностей.

А. Нилл **Воспитание свободой⁴¹**

Александр Нилл — выдающийся английский педагог XX в. Начав свою карьеру в качестве школьного учителя и разочаровавшись в традиционных методах воспитания и обучения, он организовал собственную школу-интернат, сначала в Германии (в 1921 г.), а с 1924 г. в Англии. Школа получила название Саммерхилл (в переводе с англ. — Летний холм).

В школе А. Нилла было введено много «революционных» порядков, в частности, не требовалось обязательного посещения уроков. Школа А. Нилла ко времени написания его книги существовала уже более сорока лет⁴². В течение этого времени результаты ее работы продолжали поражать. Дело в том, что в школу принимались в основном «трудные» дети, от которых отказывалась традиционная школа и даже родители. В Саммерхилле они «излечивались»: начинали учиться и становились счастливыми детьми с нормальным поведением.

⁴¹ Нилл А. Саммерхилл: Воспитание свободой. М., 2000. Пер. Э. Н. Гусинского, Ю. И. Турчаниновой.

⁴² После смерти А. Нилла школу возглавила его дочь, Зоя.

В приводимых отрывках из книги, А. Нилл рассказывает о своих убеждениях, идеях и поисках, которые легли в основу его педагогических успехов. Эти отрывки в основном не пересекаются с теми, которые использованы в моей второй книге «Продолжаем общаться с ребенком. Так?». Таким образом, тексты этой хрестоматии и моей книги, равно как и комментарии к ним, стоит рассматривать как дополняющие друг друга. Надеюсь, их чтение поможет глубже понять выдающийся вклад А. Нилла в педагогику и психологию ребенка.

Вступление, идейные предпосылки

Саммерхилл сегодня в своих главных чертах — тот же, что был при его основании в 1921 г. Самоуправление для учеников и персонала, свобода ходить на уроки или не ходить, свобода играть целыми днями, неделями или даже годами, если необходимо, свобода от навязывания какой-либо идеологии — религиозной, моральной или политической, свобода от целенаправленного формирования характера...

Огромная беда состоит в том, что стандартное школьное обучение очень мало связано с жизнью за ее пределами. Сколько бывших учеников читают Мильтона, Т. Харди или Шоу? Сколько слушают Бетховена или Баха? Школа игнорирует воспитание чувств ребенка, по крайней мере, так построены школьные предметы, поэтому эмоциональная жизнь ребенка протекает под влиянием других факторов: телевидения, популярных групп, бинго, футбола, комиксов, эротических журналов. А поскольку все эти факторы — элементы хорошо налаженной индустрии развлечений, у бедного учителя в соревновании с ними нет никаких шансов. Кто из школьных педагогов способен вызвать такую же бурю аплодисментов, как «Битлз»? Толстопузый учитель математики хотел бы, чтобы вся школа восторгалась иррациональными числами.

На мой взгляд, самая насущная задача образования — разрешить противоречие между сложившимся еще в Викторианскую эпоху набором школьных дисциплин и стремлением современной молодежи к полноте жизни.

Никто не может отрицать ни того, что общество больно, ни того, что оно не хочет расставаться со своими болезнями. Общество борется с любыми человеческими усилиями, направленными на его улучшение. В некотором смысле задача педагогов — противостоять массовой — овечьей психологии: когда у всех овец одинаковые шкуры и одинаковое бе-бе-бе-е, когда загоняют в угол паршивую овцу, бунтаря. У наших школ свои пастыри, отнюдь не всегда великодушные. Наши барашки-ученики одеты в миленькую одинаковую форму. Я не хочу излишне развивать эту метафору, но смею предположить, что символический «настриг шерсти» с множества скупающих учеников этому обществу подходит.

Образование призвано готовить детей к жизни в обществе и одновременно помогать им стать независимыми личностями, и самоуправление, без сомнения, делает и то, и другое.

В обычной школе добродетелью является послушание, причем доведенное до такой степени, что очень немногие ее выпускники во взрослой жизни способны бросить вызов хоть чему-нибудь. Тысячи студентов в педагогических учебных заведениях полны энтузиазма в отношении будущей профессии. Но уже через год после окончания колледжа они сидят в своих учительских и полагают, что в понятие «образование» входят только учебные предметы и дисциплина. Конечно, они не смеют бунтовать открыто, потому что это грозит потерей работы, но даже в мыслях бунтуют немногие. Человеку нелегко вырваться из пут сформировавшего его жизненного опыта. И вырастает новое поколение, которое навязывает все те же запреты, устаревшие нравственные правила и педагогические глупости уже следующему поколению, — и замыкается добрый старый порочный круг. Печальный факт: обработанные таким образованием люди принимают пороки своего общества как должное...

Все это — естественное следствие нашего благоденствующего общества,

привычного «так хорошо еще никогда не было». Подлинной культуры там нет и не было. Мне кажется, что наши телевизионные программы ориентированы на зрителей с эмоциональной зрелостью восьмилетних детей. Что же происходит? Может, во всем виновата большая бомба, которая висит над нами? Давайте есть, пить и веселиться, потому что завтра мы умрем. Или, скорее, это новый вид материализма, полагающего, что единственными источниками удовольствия являются автомобили, электрифицированные кухни, ночные клубы, бинго и прочие инфантильные идиотства?

Я иду на ощупь. Я безуспешно пытаюсь понять, почему человечество творит так много зла. Я не могу поверить во врожденную порочность людей, в существование первородного греха. Я повидал слишком много злобных детей, которые в условиях свободы и принятия их взрослыми становились хорошими.

Я задаю себе вопрос: если Саммерхилл может растить людей, не склонных к ненависти, жестокости, милитаризму и предрассудкам, почему весь мир не может иметь школы, дающие подобные результаты? Две тысячи лет назад люди выбрали Варавву и распяли Христа. Сегодня они повторяют тот же выбор. Почему? Хотел бы я знать...

Все великие мира сего — его Сократы, Христы, Фрейды, Дарвины, папы и епископы — не смогли разгадать загадку человечности. И мы, малые, тоже не знаем ответа. Диагноз нам известен: разрушьте любовь, и вы получите ненависть. Нам только неизвестно, почему, собственно, мы разрушаем любовь.

В самые трудные дни Саммерхилла малолетние мошенники избавлялись там от своих пороков, так и не осознав корни своего непреодолимого стремления к воровству. Человечество излечилось бы от своих болезней, если бы мы смогли избавиться от тирании в семье, строгих школ, жизнеотрицающей религии. Но как же огромно это «если бы»! И все же либо такое «если», либо человечество погибнет — от атомной бомбы, отравленных почвы и воздуха или отравленных чувств.

Может быть, в конце концов, первородный грех и существует... грех неучастия. Если Саммерхиллу и есть что сказать, то следующее: ты не имеешь права на неучастие. Борись с нездоровьем мир а, но не лекарствами вроде нравственных поучений и наказаний, а натуральными средствами — принятием, нежностью, терпимостью. Я не осмеливаюсь использовать слово «любовь», потому что оно стало почти неприличным, как и множество других ясных и чистых коротких англосаксонских слов.

С тех пор как я оставил теоретическую педагогику и занялся детской психологией, мне пришлось поработать с самыми разными детьми: поджигателями, ворами, лжецами, теми, кто мочился в постель, и теми, кто страдал приступами ярости. Годы напряженной работы убедили меня, что я довольно мало знаю о движущих силах жизни. Я уверен, однако, что родители, которые имеют дело только с собственными детьми, знают гораздо меньше, чем я. И поскольку я считаю, что трудным ребенка почти всегда делает неправильное обращение с ним дома, я осмеливаюсь обратиться к родителям.

В чем состоит задача психологии? Я предлагаю слово «лечение». Однако я вовсе не хочу быть излеченным от предпочтения оранжевого или черного цвета; от пристрастия к курению, равно как и от моей привязанности к бутылочке пива. Ни один педагог на свете не имеет права лечить ребенка от желания извлекать шум из барабана. Единственное, от чего можно лечить, — это несчастье.

Трудный ребенок — несчастливый ребенок. Он находится в состоянии войны с самим собой, а следовательно, и со всем миром.

Трудный взрослый сидит в той же лодке. Ни один счастливый человек никогда не нарушал порядок на собрании, не проповедовал войну, не линчевал негра. Ни одна счастливая женщина никогда не придиралась к своему мужу или детям. Ни один счастливый мужчина никогда не убивал и не крал. Ни один счастливый начальник никогда не держал своих подчиненных в страхе.

Все преступления, всю злобу, все войны можно свести к несчастью. Эта книга

— попытка показать, как возникает несчастье, как оно разрушает человеческую жизнь и что можно сделать, чтобы несчастье, по возможности, не возникало. Более того, это книга о конкретном месте — Саммерхилле, где детское несчастье излечивается и, что еще важнее, дети воспитываются в счастье.

Саммерхилл: замысел, порядки, дети их судьбы

Несколько слов об учениках Саммерхилла. Дети попадают в нашу школу обычно в возрасте 5 лет, но могут прийти и в 15. Заканчивают школу в 16 лет. Как правило, у нас около 25 мальчиков и 20 девочек.

Дети разделены на три возрастные группы: младшие — от 5 до 7 лет, средние — от 8 до 10 и старшие — от 11 до 15. У нас учится довольно много детей из других стран.

Дети размещаются в школе по своим возрастным группам. Комнаты как мальчиков, так и девочек рассчитаны на два-три-четыре человека. Никто не проверяет комнаты, и никто за детьми не прибирает. Их оставляют в покое. Никто не говорит им, что надевать: они носят что хотят.

Школу с таким порядком газеты называют школой «делай-что-хочешь», журналисты считают, что у нас тут сборище примитивных дикарей, не признающих никаких правил и не умеющих себя вести. Поэтому мне придется рассказать о Саммерхилле настолько честно, насколько я вообще могу это сделать. Понятно, что я пристрастен, когда пишу о своей школе, но все-таки я постараюсь показать не только ее заслуги, но и упущения. Заслуга — здоровые и свободные дети, чья жизнь не испорчена страхом и ненавистью.

Очевидно, что школа, которая заставляет детей, активных по своей природе, все время сидеть за партами, изучая по большей части бесполезные предметы, — это плохая школа. Она хороша лишь для тех, кто верит именно в *такую* школу, для людей, которые лишены творческой жилки, стремящихся и детей привести не к творчеству, а к послушанию, к полному соответствию цивилизации, где единственный критерий успеха — деньги.

Саммерхилл начинался как экспериментальная школа. Теперь это скорее показательная школа, а показывает она, что свобода делает свое дело. Когда мы с моей первой женой создавали эту школу, у нас была одна ведущая идея: *школа должна подходить детям*, а не наоборот — дети школе.

Я много лет преподавал в обычных школах. Я хорошо знал другой способ организации школьной жизни и понимал, что он никуда не годится. Не годится потому, что он основывается на представлениях взрослых о том, каким ребенок должен быть и как учиться. Этот другой способ ведет отсчет своего существования с тех времен, когда психология как наука была еще неизвестна.

Так вот, мы взялись создать школу, в которой детям предоставлялась бы свобода быть самими собой. Для этого мы должны были отказаться от всякой дисциплины, всякого управления, всякого внушения, всяких моральных поучений, всякого религиозного наставления.

Нас называли храбрецами, но это вовсе не требовало храбрости. Все, что требовалось, — это вера: в ребенка, в то, что он по природе своей существо доброе, а не злое. Более чем за 40 лет вера в добрую природу ребенка ни разу не поколебалась и, скорее, превратилась в окончательную уверенность.

Я полагаю, что ребенок внутренне мудр и реалистичен. Если его оставить в покое, без всяких внушений со стороны взрослых, он сам разовьется настолько, насколько способен развиваться. Поэтому Саммерхилл — это такое место, где имеющие способности и желание заниматься наукой станут учеными, а желающие мести улицы будут их мести. Мы, правда, до сих пор не вырастили ни одного дворника. Я пишу это без всякого снобизма, потому что мне приятнее школа, выпускающая счастливых дворников, чем та, из которой выходят ученые-невротики.

Так что же это за школа, Саммерхилл? Во-первых, уроки необязательны. Дети вольны посещать их, если хотят, но могут и игнорировать — годами, если пожелают. Расписание существует, но только для учителей.

Дети обычно ходят на те занятия, которые соответствуют их возрасту, а иногда — интересам. У нас нет новых методов преподавания, потому что мы не считаем преподавание само по себе очень важным. Есть у школы особые способы обучения делению в столбик или их нет — не имеет никакого значения, потому что сам навык деления в столбик важен только для тех, кто хочет его освоить. А ребенок, который действительно *хочет* научиться делить в столбик, непременно *будет* уметь это делать независимо от того, каким способом его обучают.

Дети, которые поступили в Саммерхилл в дошкольном возрасте, ходят на уроки с самого начала своего пребывания у нас, но дети, поучившиеся прежде в других школах, заявляют, что они больше никогда в жизни не пойдут ни на один идиотский урок. Это продолжается порой несколько месяцев. Они играют, катаются на велосипедах, мешают другим, но уроков избегают. Время выздоровления от этой болезни пропорционально ненависти, порожденной у них их прошлой школой. Рекорд поставила одна девочка, пришедшая из монастырской школы. Она пробездельничала три года. Вообще, средний срок выздоровления от отвращения к урокам — три месяца.

Люди, не разделяющие нашей концепции свободы, подумают: что же это должен быть за сумасшедший дом, в котором дети, если хотят, могут играть целыми днями. Одни взрослые говорят: «Если бы меня отправили в такую школу, я бы вообще никогда ничего не делал». Другие говорят: «Такие дети будут чувствовать себя неполноценными, когда им придется состязаться с детьми, которых заставляли учиться».

Я же думаю о Джеке, который ушел от нас, когда ему было семнадцать, чтобы поступить на механический завод. Однажды его вызвал к себе управляющий.

— Ты — парень из Саммерхилла, — сказал он. — Вот мне интересно, что ты думаешь об этом обучении теперь, когда ты встретился с ребятами из обычных школ. Если бы сейчас тебе снова пришлось выбирать, ты предпочел бы Итон или Саммерхилл?

— Конечно, Саммерхилл, — ответил Джек.

— Но что дает эта школа, чего не дают в других?

Джек поскреб затылок.

— Не знаю, — ответил он задумчиво. — Я думаю, что она дает чувство полной уверенности в себе.

— Да уж, — сухо констатировал управляющий, — я это заметил, когда ты вошел в мой кабинет.

— О, боже, — рассмеялся Джек, — жаль, если я произвел на вас такое впечатление.

— Мне это понравилось, — сказал управляющий. — Большинство людей, когда я вызываю их к себе в кабинет, ерзают на стуле и смущаются. Ты же вошел как равный. Между прочим, в какой отдел, ты сказал, ты хотел бы перейти?

Эта история показывает, что само по себе учение не так важно, как личность и характер. Джек провалился на экзаменах в университет, потому что ненавидел книжную премудрость. Но недостаток знаний об «Эссе» Лэма или незнание французского языка не сделали его не приспособленным к жизни. Сейчас он успешно работает механиком.

Между прочим, в Саммерхилле довольно много учатся. Возможно, группа наших двенадцатилетних и не сможет конкурировать с обычным классом такого же возраста в чистописании, орфографии или дробях. Но в ответах на вопросы, требующих сообразительности, наши разбили бы их в пух и прах. Новички здесь, как правило, не поднимаются до уровня ребят, уже пообвыкшихся в школе. И не из-за слабости интеллекта, а скорее из-за укоренившейся привычки ходить проторенными дорожками, а свобода передвижения их озадачивает.

Мы говорили об игровом аспекте учения, но на всех занятиях проводится и большая работа. Если учитель почему-либо не может провести занятие, назначенное на данный день, то это обычно вызывает у детей большое разочарование.

Дэвида, 9 лет, пришлось изолировать из-за коклюша. Он горько плакал и протестовал: «Я же пропущу урок мисс Роджер по географии». Дэвид находился в школе практически с рождения, и у него были вполне определенные и окончательные представления о необходимости ходить на уроки. Сейчас Дэвид — профессор математики в Лондонском университете.

Несколько лет назад на общем собрании школы (где каждое из Правил для учащихся принимается всей школой, а каждый ученик и каждый сотрудник имеют при этом по одному голосу) кто-то предложил, чтобы определенные проступки наказывались отлучением от уроков на неделю. Дети запротестовали — это чересчур суровое наказание.

И я, и мои сотрудники до глубины души ненавидим экзамены. Для нас университетские экзамены — проклятье. Но мы не можем не учить наших ребят обязательным предметам. Пока экзамены существуют, нам приходится с этим считаться.

Немногие дети хотят сдавать эти экзамены, к ним стремятся лишь те, кто собирается поступать в университет. Они обычно начинают серьезно готовиться к экзаменам лет с 14 и года за три осваивают все необходимое. Конечно, не всегда наши выпускники поступают с первой попытки. Важно, что они пробуют поступать снова.

Принятие и справедливость против страха и агрессии

Саммерхилл, вероятно, самая счастливая школа в мире. У нас нет прогульщиков и редко случается, чтобы дети тосковали по дому. У нас почти никогда не бывает драк — ссоры, конечно, неизбежны, но мне редко доводилось видеть кулачные бои вроде тех, в которых я участвовал мальчиком. Также редко я слышу, чтобы дети кричали, потому что у свободных детей, в отличие от подавленных, нет ненависти, которая требует выражения. Ненависть вскармливается ненавистью, а любовь — любовью. Любовь означает принятие детей, и это существенно для любой школы. Вы не можете быть на стороне детей, если наказываете или браните их. Саммерхилл — это школа, где ребенок знает, что его принимают.

Я для детей не начальник, которого надо бояться.

Кое-кто скажет: «Это все одни разговоры. Никакого равенства тут не может быть. Нилл — главный, он старше и мудрее». И это правда. Я — главный, и, если бы случился пожар, дети побежали бы ко мне. Они знают, что я старше и опытнее, но, когда я встречаюсь с ними на их территории, на картофельной грядке, так сказать, это не имеет значения.

Когда пятилетний Билли велел мне убираться с его дня рождения, потому что меня туда не приглашали, я сразу ушел, нимало не колеблясь, — точно так же Билли убегает из моей комнаты, когда я не желаю его общества.

В Саммерхилле у всех равные права. Никому не позволено брэнчать на моем рояле, но и мне не позволено брать без спроса чей-либо велосипед. На общих собраниях школы голос шестилетнего ребенка значит столько же, сколько мой.

Наши дети не боятся наших сотрудников. Одно из школьных правил состоит в том, что после десяти часов вечера в коридоре верхнего этажа должно быть тихо. Однажды вечером, около одиннадцати, разгорелась подушечная баталия, и я поднялся из-за стола, за которым писал, чтобы выразить протест по поводу шума. Когда я поднимался вверх, в коридоре поначалу раздался топот, а затем стало тихо и пусто. И тут я услышал как бы даже разочарованный возглас: «Да это же Нилл», — и веселье возобновилось. Когда я объяснил, что сижу внизу и пытаюсь писать книгу, они проявили сочувствие и сразу согласились прекратить шум. А разбежались они, подумав, что их застукал дежурный, обязанный следить за соблюдением времени отбоя (их ровесник).

Я хочу подчеркнуть важность отсутствия страха перед взрослыми. Девятилетний ребенок, разбив окно мячом, придет и скажет мне об этом. Скажет, потому что не боится, что я разозлюсь и начну читать мораль. Ему, возможно, придется заплатить за окно, но он не опасается нотации или наказания.

Дети возмутились бы, если бы персоналу были предоставлены какие-либо привилегии.

Когда я стал проводить с персоналом еженедельные беседы по психологии, поднялся ропот — это показалось несправедливым. Я изменил свой план и сделал беседы открытыми для всех, кто старше 12 лет. И так каждый вторник вечером моя комната набита подростками, которые не только слушают, но и свободно высказывают свои мнения. Вот некоторые темы, которые дети просили меня обсудить: комплекс неполноценности, психология воровства, психология гангстера, психология юмора, почему человек изобрел мораль, мастурбация, психология толпы. Очевидно, что такие дети выйдут в жизнь с довольно широким и ясным представлением о себе и других.

Постоянные опасения

Вопрос, который чаще всего задают посетители Саммерхилла, таков: «Не осудит ли ребенок, оглядываясь назад, школу за то, что она не заставляла его заниматься арифметикой или музыкой?» Ответ состоит в том, что юный Фредди-Бетховен или Томми-Эйнштейн все равно не позволят удержать их в стороне от соответствующих занятий.

Задача ребенка состоит в том, чтобы прожить свою собственную жизнь, а не ту, которую выбрали ему беспокойные родители. Разумеется, и не ту, которая соответствовала бы целям педагога, полагающего, что уж он-то знает, как лучше. Вмешательство и руководство со стороны взрослых превращают детей в роботов.

Вы не можете заставлять ребенка учиться музыке или чему-нибудь еще, не подавляя его волю и тем самым, хотя бы в некоторой степени, не превращая его в безвольного взрослого. Вы делаете из них людей, безропотно принимающих status quo, удобных для общества, которому нужны люди, послушно сидящие за скучными столами, толкущиеся в магазинах, автоматически вскакивающие в пригородную электричку в 8:30, — короче говоря, для общества, сидящего на хилых плечах маленького дрожащего человека — до смерти напуганного конформиста.

Страх родителей перед будущим часто заставляет их действовать в ущерб здоровью своих детей. Страх этот, как ни странно, проявляется в желании родителя, чтобы ребенок научился большему, чем он сам. Такой родитель не в состоянии ждать, чтобы его Вилли научился читать, когда сам того захочет, он нервничает и боится, что Вилли вообще ничего не добьется в жизни, если его не подталкивать. Такому родителю не хватает терпения, чтобы позволить ребенку двигаться со своей собственной скоростью. Они спрашивают: «Если мой сын не умеет читать в 12 лет, какие у него шансы добиться успеха в жизни? Если в 18 он не сможет сдать вступительные экзамены в колледж, что ему останется, кроме неквалифицированного труда?»

Но я научился ждать, наблюдая, как ребенок продвигается понемногу или не продвигается вовсе. Я не сомневаюсь, что, в конце концов, если не приставать к нему и не вредить ему, он добьется успеха в жизни.

Конечно, обыватель может сказать: «Хм, по-вашему, значит, стать водителем грузовика — успех в жизни!» Мой собственный критерий успеха — способность радостно работать и уверенно жить. При таком определении большинство учеников Саммерхилла преуспели в жизни.

Том поступил в Саммерхилл в 5 лет. Он ушел от нас в 17, так и не посетив ни одного урока. Он проводил большую часть времени в мастерской, делая самые разные вещи. Его отец и мать не могли без содрогания подумать о будущем сына. Он никогда не проявлял

ни малейшего желания научиться читать. Но однажды вечером (ему тогда было 9 лет) я обнаружил его в постели за чтением «Давида Копперфильда».

— Привет, — сказал я, — кто научил тебя читать?

— Я сам научился.

Еще через несколько лет он пришел ко мне, чтобы спросить: «Как сложить половину и две пятых?» Я объяснил и спросил, не хочет ли он узнать что-нибудь еще. «Нет, спасибо», — ответил он.

Позднее он получил место ассистента оператора на киностудии. Когда он еще только осваивал эту работу, я случайно встретился с его начальником на одном званом обеде и, конечно, спросил, как там Том.

— Лучшего парня у нас не было, — ответил его босс. — Он никогда не ходит — он бежит. А в выходные с ним просто беда, потому что он торчит на студии и в субботу, и в воскресенье.

Уинифрид, 13 лет, новая ученица, заявила мне, что ненавидит все школьные предметы, и завопила от радости, когда я сказал ей, что она вольна делать только то, что хочет. «Ты не должна даже приходить в класс, если не хочешь», — сказал я. Она решила наслаждаться вольной жизнью и делала это в течение нескольких недель. Потом я заметил, что она заскучала.

— Поучи меня чему-нибудь, — попросила она меня однажды, — мне скучно так болтаться.

— Здорово! Чему ты хочешь научиться?

— Не знаю, — ответила она.

— А я тоже не знаю, — сказал я и ушел от нее.

Шли месяцы. Потом она пришла ко мне снова. «Я собираюсь сдавать вступительные экзамены в колледж и хочу, чтобы ты давал мне уроки».

Каждое утро она занималась со мной и с другими учителями, и занималась хорошо. Она признавала, что предметы ее не слишком интересовали, но у нее появилась *цель*. Уинифрид нашла себя, когда ей позволили быть собой.

Интересно отметить, что свободные дети берутся за математику. Они получают удовольствие от географии и истории. Свободные дети отбирают из предлагаемых предметов только те, что им интересны. Свободные дети посвящают большую часть времени другим интересным занятиям — работе по дереву или металлу, рисованию, чтению художественной литературы, занятиям в любительском или импровизационном театре, слушанию джазовых пластинок.

Том — ему было 8 лет — имел обыкновение заглядывать ко мне и спрашивать: «Слушай, чем бы мне заняться?». Никто не советовал, что ему делать.

Шесть месяцев спустя Тома всегда можно было найти в его комнате — среди разложенных на полу листов бумаги. Он часами чертил географические карты. Однажды в Саммерхилл приехал профессор из Венского университета. Он случайно столкнулся с Томом и задал ему кучу вопросов. Позже этот профессор пришел ко мне и сказал: «Я попробовал проэкзаменовать этого паренька по географии, и он говорил о таких местах, о которых я никогда не слышал».

Если обобщить, то метод свободы срабатывает практически наверняка с детьми до 12 лет, но детям постарше нужно слишком много времени, чтобы оправиться от кормления знаниями с ложечки.

В семье ребенка тоже постоянно учат. Почти в каждом доме всегда найдется по крайней мере один великовозрастный недоросль, который кинется показывать Томми, как работает его новая машинка. Всегда есть кто-нибудь, готовый поднять малыша на стул, когда тот хочет рассмотреть что-то на стене. Всякий раз, показывая Томми, как работает его новая машинка, мы крадем у ребенка радости жизни: открытия, преодоления трудностей. Хуже того! Мы заставляем ребенка поверить, что он маленький, слабый и зависит от

посторонней помощи.

Родители не спешат понять, насколько неважна учебная сторона школы. Дети, как и взрослые, научаются только тому, чему хотят научиться. Все награды, оценки и экзамены лишь отвлекают от подлинного развития личности. И одни лишь доктринеры могут утверждать, что учение по книжкам и есть образование.

Книги — наименее важный инструмент школы. Все, что действительно нужно каждому ребенку, — это чтение, письмо и арифметика; остальное надо предоставить инструментам и глине, спорту и театру, краскам и свободе.

Большая часть школьной учебы, которую выполняют подростки, — простая растрата времени, сил, терпения. Она отбирает у детства право играть, играть и играть; она водружает старческие головы на юные плечи.

Настало время бросить вызов существующим представлениям о работе школы. Считается само собой разумеющимся, что каждый ребенок должен изучать математику, историю, немного естественных наук, чуть-чуть искусства и, уж конечно, литературу. Пришло время понять, что обычный ребенок толком не интересуется ни одним из этих предметов.

Подтверждение этому я нахожу в каждом новом ученике. Узнав, что учеба — дело добровольное, он кричит: «Ура! Теперь уж никто не застанет меня за арифметикой или еще какой-нибудь скучной ерундой!»

Я вовсе не пытаюсь умалить значение учебы. Однако она по важности должна идти после игры.

Учеба важна, но не для каждого. Нижинский не мог сдать школьные экзамены в Санкт-Петербурге, а без этого его не могли принять в Государственный балет. Он просто не мог выучить школьные предметы — его мысли были далеко от них. Как рассказывает его биограф, экзаменаторы смошенничали, выдав ему тексты ответов вместе с бумагой для подготовки. Как велика была бы потеря для мира, если бы Нижинскому пришлось сдавать экзамены по-настоящему!

Творческие люди изучают то, что хотят знать, чтобы обрести орудия, которых требуют их индивидуальность и талант. Нам никогда не узнать, сколько творчества убивается в школьных классах из-за того, что школа придает такое значение учебе.

Свобода — не вседозволенность

Саморегуляция⁴³ означает право ребенка жить свободно, без внешнего давления — физического или психологического. Следовательно, ребенок ест, когда голоден, приобретает привычки чистоплотности, когда захочет, на него никогда не кричат и не поднимают руки, он всегда любим и защищен. Сказанное звучит легко, естественно и прекрасно, однако поразительно, как много молодых родителей, ревностно отстаивающих эту идею, умудряются понимать ее превратно.

Например, четырехлетний Томми лупит по клавишам соседского пианино деревянным молотком. Любящие родители оглядываются с торжествующей улыбкой, которая означает: разве не удивительна саморегуляция этого ребенка?

Другие родители считают, что их полуторагодовалого ребенка никогда не следует укладывать спать, поскольку это было бы насилием над природой. Пусть он бодрствует, сколько хочет, а когда рухнет, мать отнесет его в постель. На самом деле ребенок все больше устает и возбуждается. Он не может сказать, что хочет спать, ибо еще не умеет выражать свою потребность словами. В конце концов усталая и разочарованная мать хватается за него на

⁴³ Нилл связывает понятие «саморегуляции» с воспитанием в условиях свободы. Он противопоставляет саморегуляцию внешней регуляции.

руки и тащит плачущего в постель. Одна молодая пара, считающая себя адептом моего учения, пришла ко мне с вопросом, хорошо ли будет, если они установят в детской пожарную сигнализацию. Приведенные примеры показывают, что любая идея, будь она старой или новой, опасна, если не сочетается со здравым смыслом.

Только полный идиот, если ему поручить маленьких детей, позволит оставить незарешеченными окна в спальне или открытым огонь в детской. И все же довольно часто молодые поборники саморегуляции, посещая мою школу, возмущаются недостаточной свободой у нас, потому что мы запираем ядовитые вещества в шкафах или запрещаем игры с огнем. Все движение за свободу детей омрачается и дискредитируется тем, что слишком многие поборники свободы витают в облаках.

Один такой адепт выразил мне недавно свое возмущение тем, что я накричал на трудного семилетнего мальчика, который стучал по двери моего кабинета. По мнению возмущавшегося, я должен улыбаться и терпеть шум, пока ребенок не изживет свое желание барабанить по дверям. Я действительно провел немало лет, терпеливо снося деструктивное поведение трудных детей, но делал это в качестве их психотерапевта, а не просто человека. Если молодая мать считает, что ее трехлетнему ребенку следует позволить разрисовать входную дверь красными чернилами на том основании, что таким образом он свободно самовыражается, значит, она не способна ухватить самый смысл саморегуляции.

Помню, мы с другом были в театре Ковент-Гарден. Во время первого отделения девочка, сидевшая перед нами, громко говорила что-то отцу. В антракте я нашел другие места. Друг спросил меня: «А что бы ты сделал, если бы так вел себя один из учеников Саммерхилла?» — «Велел бы ему заткнуться», — ответил я. «Тебе не пришлось бы этого делать, — сказал мой друг, — потому что они не стали бы так себя вести». И я думаю, что никто из них действительно не повел бы себя так.

Как-то одна женщина привела ко мне свою семилетнюю дочь. «Мистер Нилл, — сказала она, — я прочла каждую написанную вами строку, и еще до того, как Дафна родилась, я решила вырастить ее в точности по вашим идеям». Я взглянул на Дафну, которая стояла на моем рояле в грязных ботинках. Оттуда она совершила прыжок на софу и чуть не пробила ее насквозь. «Вы видите, как она естественна, — восхищенно прокомментировала мать. — Настоящий ребенок, воспитанный по Ниллу». Боюсь, я покраснел.

Именно различие между свободой и вседозволенностью и не могут ухватить многие родители. В строгой, суровой семье у детей нет никаких прав, в испорченной семье у них есть права на все. Хороша та семья, в которой у детей и взрослых равные права. Это справедливо и для школы. Еще и еще раз следует подчеркнуть, что предоставить ребенку свободу и портить ребенка — разные вещи. Если трехлетний ребенок хочет пройти по обеденному столу, вы просто говорите ему, что он не должен этого делать. Он обязан подчиниться, это верно, но и вам следует подчиниться ему, когда это необходимо. Я ухожу из комнат малышей, если меня об этом просят.

Для того чтобы дети могли жить в согласии со своей внутренней природой, от взрослых требуется определенное самопожертвование. Здоровые родители находят какой-то компромисс. Вздорные родители либо лютуют, либо портят детей, отдавая им все права. На практике расхождение интересов между родителями и детьми может быть смягчено, если не вполне разрешено, честным обменом. Зоя⁴⁴ уважала мой стол и не проявляла никаких поползновений поиграть с моей пишущей машинкой или бумагами. В ответ я уважал ее детскую и игрушки.

Дети очень мудры и рано принимают социальные правила. Их не следует эксплуатировать, как это часто делается, когда один из родителей кричит: «Джимми, принеси мне стакан воды!» — в тот момент, когда ребенок находится в самом разгаре увлекательной игры. Непослушание в большой мере связано с тем, что родители сами

⁴⁴ Дочь А. Нилла.

неправильно обращаются с детьми.

Зоя, когда ей было чуть больше года, прошла через период огромного интереса к моим очкам — она постоянно стаскивала их с моего носа, чтобы посмотреть, что это такое. Я не возражал, ни взглядом, ни голосом не показывал никакого беспокойства. Вскоре она потеряла всякий интерес к моим очкам и больше никогда их не трогала. Несомненно, прикажи я не трогать очки или, еще хуже, ударь по маленькой ручонке, ее интерес к очкам сохранился бы, смешавшись со страхом передо мной и протестом против меня. Моя жена позволяла брать свои хрупкие украшения. Девочка играла с ними осторожно и редко что-нибудь ломала. Она постепенно сама выясняла, как следует обращаться с вещами. Конечно, саморегуляция имеет пределы. Мы не можем позволить шестимесячному ребенку обнаружить на собственном опыте, что горящая сигарета больно жжется. Не нужно и предупреждающе кричать в подобном случае. Здравое — без шума устранить опасность.

Обычный аргумент против свободы для детей таков: *жизнь сурова, и мы обязаны так воспитать детей, чтобы они впоследствии к ней приспособились, — стало быть, должны их вышколить. Если мы позволим им делать все, что они хотят, как же дети когда-нибудь смогут работать под чьим-то началом? По силам ли им будет конкуренция с теми, кто приучен к дисциплине, в состоянии ли они когда-нибудь выработать самодисциплину?*

Возражающие против предоставления детям свободы используют этот аргумент и не понимают, что исходят из ничем не обоснованного и никак не доказанного допущения: что ребенок не будет ни расти, ни развиваться, если только не заставлять его это делать. В то же время все 39 лет моего опыта в Саммерхилле опровергают данное допущение.

Свобода необходима ребенку потому, что только тогда он может расти естественным образом, т. е. хорошо. Я вижу плоды несвободы и подавления в тех новых учениках, которых ко мне переводят из приготовительных и монастырских школ. Эти дети — смесь неискренности с невероятной вежливостью и фальшивыми манерами.

Их реакция на свободу стремительна и предсказуема. Первую пару недель они открывают дверь перед учителями, обращаются ко мне «сэр» и тщательно умываются. Они смотрят на меня с «уважением», в котором прочитывается страх. Через несколько недель свободы они показывают себя истинных: становятся грубыми, неумытыми, утрачивают все свои манеры. Они делают все то, что раньше им запрещали: сквернословят, курят, ломают вещи, при этом сохраняют неискреннюю вежливость в глазах и в голосе.

На то, чтобы расстаться с неискренностью, у них уходит, по крайней мере, полгода. По истечении этого срока они утрачивают и притворную почтительность обращения к тем, кого считали властью. Всего через 6 месяцев они становятся естественными здоровыми детьми, которые говорят то, что думают, без смущения или грубости. Когда ребенок достаточно рано обретает свободу, ему не приходится проживать эту стадию неискренности или притворства. Именно абсолютная искренность учеников больше всего поражает посетителей Саммерхилла.

Возможно, самое большое открытие, которое мы сделали в Саммерхилле, — ребенок рождается искренним существом. Мы решили у себя в школе предоставить детей самим себе, чтобы узнать, каковы они на самом деле, — это единственно возможный способ обращения с детьми. Новаторская школа будущего должна будет двигаться именно таким путем, если захочет внести свой вклад в знание о детях и, что гораздо важнее, в счастье детей.

Я понимаю и принимаю как должное, что искренность порой создает неловкие ситуации. Например, недавно трехлетняя девчушка, посмотрев на нашего бородатого посетителя, сказала: «Что-то мне не нравится твое лицо». Посетитель оказался на высоте. «А мне твое нравится», — отпарировал он, и Мэри улыбнулась.

Я не стану агитировать за предоставление свободы детям. Полчаса, проведенные со свободным ребенком, убеждают лучше, чем целая книга аргументов. Увидеть — значит

поверить.

Дать свободу — значит позволить ребенку жить своей собственной жизнью. Только и всего! Но убийственная привычка поучать, формировать, читать нотации и попрекать лишает нас способности осознать простоту истинной свободы.

Как ребенок реагирует на свободу? И смысленные, и не слишком сообразительные дети приобретают кое-что почти неуловимое, чего у них не было прежде. Это выражается в том, что они становятся все более искренними и доброжелательными и все менее агрессивными. Когда отсутствует давление страха и дисциплины, дети не проявляют агрессии. Лишь один раз за 39 лет я видел в Саммерхилле драку, завершившуюся разбитыми носами. А ведь у нас всегда есть какой-нибудь маленький задира, потому что, какой бы свободной ни была школа, она не в силах полностью преодолеть влияние плохой семьи. Характер, приобретенный в первые месяцы или годы жизни, способен смягчиться в условиях свободы, но он никогда не изменится на противоположный. Главный враг свободы — страх. Если мы расскажем детям о сексе, не вырастут ли они распушенными? Если мы не будем подвергать пьесы цензуре, не восторжествует ли безнравственность?

Взрослые, которые боятся, что дети станут испорченными, на самом деле испорчены сами, аналогично тому, что именно люди с грязными мыслями требуют закрытых купальных костюмов. Если человека что-нибудь постоянно шокирует, то именно оно больше всего его интересует. Ханжа — это распутник, не имеющий мужества посмотреть в лицо своей обнаженной душе.

Учеников Саммерхилла нельзя шокировать не потому, что они погрязли в грехе. Они изжили свой интерес к шокирующим вещам и больше не нуждаются в них ни как в предметах для разговора, ни как в поводах для юмора.

О воспитании детей: ответы на вопросы родителей

Почему вы так много говорите о том, что ребенок должен быть счастливым? Разве кто-нибудь вообще счастлив?

Это нелегкий вопрос, потому что каждый понимает счастье по-своему! Конечно, никто не бывает постоянно счастлив. У всех случаются зубная боль, неудачные романы, скучная работа.

Если слово «счастье» вообще что-нибудь означает, то, скорее всего, это — внутреннее чувство благополучия, равновесия, удовлетворенности жизнью. Все они могут существовать только в том случае, если человек чувствует себя свободным. Дети, которых наказывают, выглядят запуганными, несчастными.

Счастье можно было бы определить как отсутствие подавленности. В доме, где живет счастливая семья, правит любовь, а несчастливая семья постоянно живет в напряжении.

Я отдаю счастью первое место, потому что на то же первое место я ставлю личностный рост. Лучше не иметь никакого представления о том, что такое десятичная дробь, но быть свободным и довольным, чем успешно сдать школьные экзамены и ходить с лицом, покрытым прыщами. Я никогда не видел прыщей на лице счастливого и свободного подростка.

Вы действительно искренне считаете правильным позволять мальчику, по природе ленивому, идти по легкому пути — делать то, что он хочет, напрасно теряя при этом время? Как вы усадите его за работу, если она ему неприятна?

Лени вообще не существует. Ленивый мальчик либо физически болен, либо не имеет интереса к тому, что, как полагают взрослые, он должен делать.

Среди детей, поступивших в Саммерхилл в возрасте до 12 лет, я не видел ни одного ленивого ребенка. Многие якобы ленивые ребята были отправлены в Саммерхилл из строгих школ. Такой мальчик остается «ленивым» довольно долгое время, пока не излечится от

своего предыдущего образования. И я не принуждаю его делать работу, которая ему не нравится, потому что он еще не готов к этому. Как вам и мне, позднее ему в жизни придется делать многое такое, что ему ненавистно, но он будет готов встретиться с любой трудностью, если сейчас оставить его в покое и дать прожить свой игровой период. Насколько мне известно, ни одного бывшего саммерхиллца никогда не обвиняли в лени.

Что вы думаете о телесных наказаниях?

Телесные наказания — это зло, потому что они жестоки и продиктованы ненавистью. Они вызывают ненависть у обоих: и у наказывающего, и у наказываемого.

Телесное наказание всегда акт проекции: наказывающий ненавидит себя и проецирует отношение к себе на ребенка. Мать, шлепающая ребенка, ненавидит себя и, как следствие этого, ненавидит своего ребенка.

На днях я видел, как мать выпустила гулять мальчугана лет трех во двор собственного дома. Его наряд был безупречен. Он начал возиться с глиной и слегка испачкал одежду. Мамаша вылетела из дома, отшлепала его, потащила внутрь и чуть позже снова отослала его во двор, плачущего, но в новой чистой одежде. Через 10 минут он испачкал и этот костюмчик, и все повторилось сначала. Я подумал было сказать этой женщине, что ее сын будет ненавидеть ее всю жизнь и, хуже того, ненавидеть жизнь как таковую. Но я понимал: что бы я ни сказал, она меня не услышит.

Чуть ли не каждый раз, когда мне приходится бывать в городе, я наблюдаю, как какой-нибудь малыш лет трех спотыкается и падает, и содрогаюсь, видя, как мать шлепает малыша за падение.

Что бы вы стали делать с ребенком, который ничем всерьез не интересуется? Вот он ненадолго заинтересовался музыкой, потом танцами и т. д.

Я бы ничего не стал делать. Такова жизнь. Я в свое время перешел от фотографии к переплетному делу, затем к работе по дереву, потом к чеканке. Жизнь полна осколков прежних интересов. Многие годы я рисовал пером. Когда я понял, что художник из меня — неважный, я бросил это.

Вкусы ребенка всегда эклектичны. Он пробует все — так он учится. Наши мальчики проводят целые дни, мастеря лодки, но, если случится, что к нам заедет летчик, эти самые мальчишки бросят свои недоделанные лодки и примутся за самолеты. Мы никогда не считаем, что ребенок обязан непременно доделать начатое. Если его интерес прошел, не следует заставлять его непременно доводить дело до конца.

Можно ли позволять себе сарказм по отношению к детям? Не считаете ли вы, что это помогло бы развить у ребенка чувство юмора?

Нет. Сарказм и юмор не связаны между собой. Юмор — проявление любви, а сарказм — ненависти. Быть саркастичным с ребенком значит заставлять его чувствовать себя неполноценным и униженным. Только скверный учитель или родитель позволяет себе сарказм по отношению к ребенку.

Мой ребенок все время спрашивает меня, что делать и во что играть. Как мне отвечать? Правильно ли подавать ребенку игровые идеи?

Ребенку полезно находиться рядом с кем-то, кто может посоветовать ему, что делать, но это вовсе не обязательно. Те занятия, которые ребенок находит себе сам, для него лучше всего. Так что ни один учитель в Саммерхилле никогда не будет советовать ребенку, что делать. Учитель только поможет ребенку найти необходимую техническую информацию о том, как сделать какую-то вещь.

Мой сын прогуливает школу. Что я могу с этим поделать?

Осмелюсь предположить, что школа скучна, а ваш мальчик активен.

Вообще говоря, прогуливание означает, что школа недостаточно хороша. Если возможно, попробуйте перевести своего мальчика в такую школу, где больше свободы, творчества, любви.

Следует ли мне начать приучать мою дочь к бережливости, подарив ей копилку?

Нет. Ребенок не в состоянии видеть дальше сегодняшнего дня. Позднее, если она

искренне захочет купить что-нибудь дорогое, она накопит деньги без всякой предварительной тренировки.

Позвольте мне еще раз подчеркнуть, что ребенку следует предоставить возможность расти со своей собственной скоростью. Многие родители делают ужасные ошибки, пытаясь ускорить процесс роста.

Никогда не помогайте ребенку, если ему по силам сделать что-то самому. Когда ребенок пытается вскарабкаться на стул, любвеобильные родители подсаживают его, тем самым отравляя величайшую радость детства — победу над трудностью.

Что вы делаете с ребенком, который вечно упрям и угрюм?

Не знаю. Мне, пожалуй, не приходилось видеть таких детей в Саммерхилле. Когда ребенок свободен, у него просто нет повода для упрямства. Вызывающее поведение ребенка — всегда вина взрослых. Если вы относитесь к ребенку с любовью, вы не сделаете ничего такого, что заставило бы его упрямиться. У упрямого ребенка есть какая-то печаль. Мое дело — выяснить, что лежит в основании этой печали. Я бы предположил, что за ней скрывается чувство, что с ним обошлись несправедливо.

Что мне делать с моим шестилетним ребенком, который рисует непристойные картинки?

Поощрить его, конечно. Но одновременно оглянуться на себя, потому что всякая непристойность в семье исходит от вас, у шестилетнего ребенка нет естественной непристойности.

Вы видите непристойность в его рисунках, потому что у вас у самого именно такое отношение к жизни. Я полагаю, что непристойность его рисунков связана с туалетом и половыми органами. Отнеситесь к этим вещам естественно, без всяких идей о добре и зле, и ребенок переживет свой временный детский интерес к ним точно так же, как со временем он вырастет и из других детских интересов.

Почему мой маленький сын так много врет?

Возможно, он подражает родителям.

Если двое детей, брат и сестра 5 и 7 лет, постоянно ссорятся, каким методом я могу воспользоваться, чтобы они прекратили это? Они так любят друг друга.

Разве? А не получает ли один из них больше материнской любви, чем другой? Не подражают ли они папе и маме? Не внушали ли им чувство вины в отношении тела? Наказывают ли их? Если ответ на все эти вопросы — «нет», тогда их ссоры просто нормальное желание поупражняться во властвовании.

Однако брату и сестре обязательно нужно общаться с другими детьми, не имеющими к ним эмоциональной привязанности. Ребенок должен сравнивать себя с остальными детьми. Он не может сравнивать себя с родными братьями и сестрами, потому что здесь замешаны всевозможные эмоциональные факторы — ревность, фаворитизм и прочие.

Почему мой двухлетний ребенок всегда ломает игрушки?

Скорее всего, потому что он — мудрый ребенок. Игрушки обычно бывают абсолютно не творческими. Когда он их ломает, он хочет узнать, что там внутри.

Однако я не знаю всех обстоятельств дела. Если шлепками и нотациями ребенка заставляют ненавидеть себя, он, естественно, будет ломать все, что попадется на пути.

Как заставить пятнадцатимесячного ребенка не подходить к плите?

Установите защитный экран. Но лучше предоставьте ребенку возможность узнать правду о плите. Дайте ему чуть-чуть обжечься.

Я придираюсь к маленькой дочери по пустякам, и вы можете сказать, что я ее ненавижу, но это неправда.

Но тогда, должно быть, вы ненавидите себя. Пустяки выступают символами чего-то важного. Если вы действительно придираетесь по пустякам, вы — несчастная женщина.

Что делать с ребенком, который плохо ест?

Не знаю. У нас в Саммерхилле таких не было никогда. Если бы такое случилось, я бы сразу заподозрил, что ребенок устраивает демонстрацию своим родителям. У нас была пара детей, которых отправили в Саммерхилл, потому что они отказывались есть, но у нас они никогда не голодали.

В тяжелых случаях я бы рассмотрел и возможность того, что ребенок эмоционально остался на грудной стадии, и попробовал бы кормление из бутылки. Я также подумал бы, что родители придавали кормлению слишком большое значение и настаивали, чтобы ребенок ел то, чего он не хотел.

Мы познакомились со взглядами, идеями и практикой А. Нилла. Они касаются устройства общества, школы и семейного воспитания. Какую бы из этих обширных тем он ни затронул, всюду его исходной точкой и центром внимания оказываются личность ребенка, его благополучие и счастье.

Для Нилла трудный ребенок — это несчастливый ребенок, и таким «трудным» и несчастливым его делает сначала неправильное обращение в семье, а затем в школе. К сожалению, школа, по мысли Нилла, обслуживает интересы не ребенка, а общества, а современному обществу нужны люди, *«послушно сидящие за скучными столами, толкущиеся в магазинах, автоматически вскакивающие в пригородную электричку в 8:30»*.

Обязательность предметов, принуждение, жесткая дисциплина, система отметок и экзаменов в сочетании с неучетом природы ребенка, его интересов, стремлениями играть, познавать и попробовать приводят к «отравлению» ребенка школой, а заодно и желания учиться. Трудно не согласиться со словами автора: *«Нам никогда не узнать, сколько творчества убивается в школьных классах!»*

К сожалению, большинство родителей сами воспитаны в таких условиях, и поэтому не могут встать на сторону ребенка. Они приняли такое устройство общества, и согласились с ним. В результате они требуют, наказывают, подгоняют. Ими руководит страх за судьбу ребенка. А о какой его судьбе идет речь? Этот вопрос Нилл ставит очень остро, и его ответы заставляют задуматься: *«Мой собственный критерий успеха — способность радостно работать и уверенно жить»*, — пишет он. И в другом месте его слова звучат почти как вызов: *«...мне приятнее школа, выпускающая счастливых дворников, чем та, из которой выходят ученые-невротики»*.

Правда, оговаривается Нилл, никто из выпускников школы пока не стал дворником, а от невротизма многие излечились.

Итак, Нилл настаивает на **психологическом** критерии успеха и счастья, кстати, не только для ребенка, но и взрослого, а не на успехе, который определяется карьерой и материальными благами. Положение и зарплата важны, но давайте зададим себе вопрос: приходят ли они (иногда или часто) в противоречие с жизненной удовлетворенностью? И если да, то чем мы за это платим? И — еще более важно — **чем заставляем платить ребенка?** Нилл показывает, что ребенок платит несчастливостью, «трудностью», агрессивностью, неискренностью, отвращением к учебе!

Привычные «лекарства» от всех этих бед в семье и школе — наказание, ужесточения, принуждение, усиление контроля не работают, они только усугубляют положение.

И Нилл пошел в противоположном направлении. Ключевым понятием для всей системы его взглядов и практических действий стала **«свобода»**.

«Свобода» для него — это отнюдь не политический лозунг. За ним стоит очень многое: и жизненная философия, и убеждения, и взаимоотношения.

Это, прежде всего, **вера в ребенка**. Вера в то, что он по природе своей существо доброе и доброкачественное, что он стремится к росту и развитию.

Доверие к природе ребенка проявляется, в частности, в умении наблюдать и ждать, а не подгонять его в развитии. (В этом месте приходит на ум абсурдная современная «мода» обучать чтению младенцев чуть ли не с пеленок!) Ребенок обязательно будет развиваться в том направлении, в котором ему

естественно по складу и возрасту. Важно ему не мешать!

Нилл поясняет: *«Дать свободу — значит позволить ребенку жить своей собственной жизнью. Только и всего! Но убийственная привычка поучать, формировать, читать нотации и попрекать лишает нас способности осознать простоту истинной свободы».*

Родители хорошо знают, что «простота» идеи свободы не так уж проста. Очень трудно отказаться от привычных «рефлексов» поучать, формировать, толкать. За этим стоит убеждение или страх, что если не заставлять ребенка учиться, то он ничего не будет делать и вообще остановится в развитии.

Открытие Нилла состоит в том, что это ложное мнение! Оно ничем не доказано. А противоположная истина, согласно которой свободный ребенок успешно развивается и хочет учиться, ***проверена его сорокалетней практикой!***

По существу, в традиционных взглядах на воспитание и обучение произошла подмена причины следствием: упрямство, «лень», агрессивность ребенка рассматриваются как первопричина и используются как основание для введения строгих мер. Нилл своей практикой показал, что дело обстоит ровно наоборот: стоит снять строгие меры и принуждение (действительные причины), как постепенно исчезают «отрицательные наклонности» ребенка.

«В условиях свободы, — пишет он, — дети приобретают кое-что почти неуловимое, чего у них не было прежде... они становятся все более искренними и доброжелательными и все менее агрессивными».

Так, А. Нилл не только предвосхитил почти за полвека многие идеи гуманистической психологии. Он был среди первых, кто в работе с детьми нашел целый ряд замечательных практических путей и методов общения, которые продолжали разрабатываться в психологии и психотерапии. Теперь они известны под различными названиями, такими как принцип безусловного принятия, эмпатическое (активное) слушание, эмоциональная открытость (Я-сообщение), искренность и конгруэнтность, техники конструктивного разрешения конфликтов, «зона ближайшего развития» ребенка и другие.

А. Ниллу по праву принадлежит место среди тех гуманистов, которые во весь голос сказали и продолжают говорить людям, что ***Человечность спасет мир!***

Вместо послесловия

Мы познакомились с живыми голосами талантливых взрослых, которые в своих воспоминаниях и размышлениях открыли для нас многогранный мир ребенка. Оживляя память детства, они помогают лучше и глубже почувствовать детей с их радостями и трудностями, сложными отношениями и переживаниями на пути взросления. Это дает возможность с большим пониманием отнестись к воспитанию детей, к повседневным проблемам жизни с ними и, конечно, иначе взглянуть на себя.

Позволю себе от имени читателей низко поклониться всем авторам повествований — уже ушедшим от нас и ныне живущим — за бесценный подарок детям, родителям и всем, кто мечтает о сохранении и передаче новым поколениям высокой культуры и духа человечности.